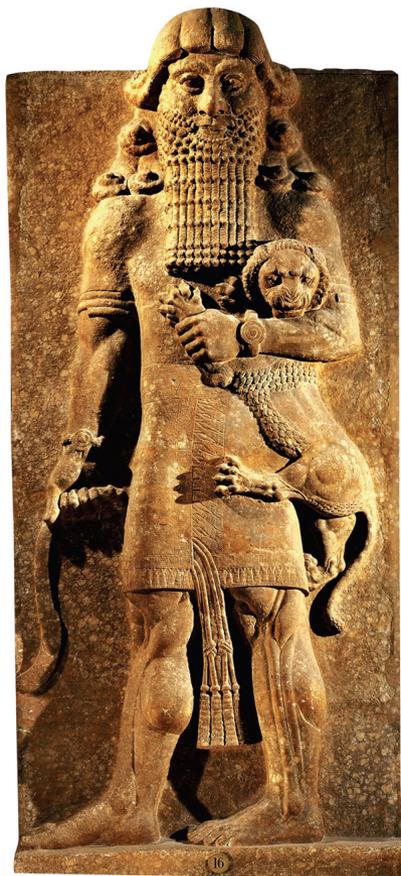




НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ



НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ



№ 6 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
2026 АЛЬМАНАХ

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПОЭЗИЯ, ПРОЗА, ЭССЕИСТИКА

lulu

НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ

**Литературно-художественный
альманах
№6**

**Berlin
2026**

Главный редактор

Андрей Гущин
korypheusb@gmail.com

Зам. главного редактора

Елена Мордовина

Редакционная коллегия

Дмитрий Бобышев,
Наум Вайман,
Олег Федоров,
Александр Моцар,
Ирина Машинская,
Александр Спренцис,
Татьяна Ретивова,
Борис Марковский

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

ISBN 978-1-326-12129-7

© Новый Гильгамеш, 2026

© Лулу, 2026



СОДЕРЖАНИЕ

От редактора 7

ПОЭЗИЯ

Катя Капович (<i>Бостон</i>). «Ещё один идёт на убыль год...»	11
Наум Вайман (<i>Тель-Авив</i>). Из книги «Разбег для взлета».....	15
Матвей Смирнов (<i>Лондон</i>). Спасатель.....	22
Феликс Чечик (<i>Натания</i>). Кёльн — Амстердам	27
Марина Палей (<i>Роттердам</i>). Веранда.....	34
Григорий Марговский (<i>Бостон</i>). Плимут.....	45
Артур Новиков (<i>Киев — Шербур</i>). «Сместилось время...».....	53
Екатерина Аюбова (<i>Бремен</i>). «Расскажи мне сказку...».....	61
Нина Косман (<i>Нью-Йорк</i>). Плач по ушедшей Афродите... ..	64
Олег Федоров (<i>Киев</i>). Предчувствие невозможного	72
Лали Ципи Михаэли. (<i>Тель-Авив</i>). Газа (Пер. с англ. Е. Мордовиной)	77
Джеффри Хилл (<i>1932–2016</i>). Бытие Предисловие и перевод Яна Пробштейна.....	80
Александр Фейгин (<i>Филадельфия</i>) Переводы итальянской поэзии XX и XXI веков.....	97

ПРОЗА

Марина Палей (<i>Роттердам</i>). Счастливая Деревня.....	113
Алла Дубровская (<i>Нью-Йорк</i>). Цыпленок пришел в Куд-кудаки	186
Руслан Омаров (<i>Париж</i>). Луна и Гертруда	198
Мирон Карыбаев (<i>Алматы</i>). В степи пусто. Роман	203
Владимир Порудоминский (<i>Кёльн</i>). Странники	239
Александр Айзенберг (<i>Одесса</i>). Credo	261
Андрей Гуцин (<i>Киев</i>). Герой без романа	298

ЭССЕИСТИКА

Дмитрий Бобышев (<i>Шампейн, Иллинойс</i>). Эзра Паунд	337
Борис Марковский (<i>Бремен</i>). Черное солнце	347

IN MEMORIAM

Денис Новиков (1967–2004) «Слепок с дождя»	375
--	-----

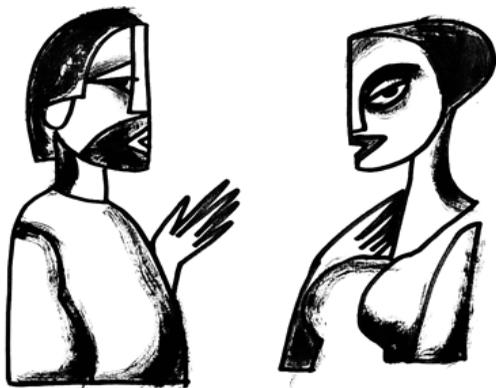
ИЗО

Давид Дектор (<i>Иерусалим</i>) Неба круг	387
---	-----

ОТ РЕДАКТОРА

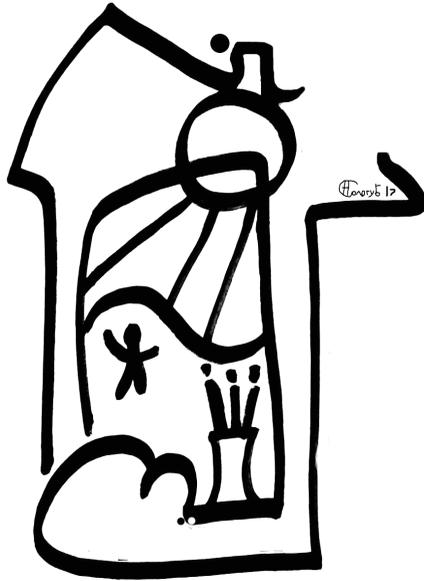
«Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце», — сказал поэт. Что ж, согласимся с ним. Ведь мы УЖЕ в раю! изнашивая некогда бодрые тела, мы проливаем горькие слезы по утраченному, кажется, навсегда. Но настанет день — и, сбросив ветхие одежды, мы вновь нарождаемся в мир к бесконечным радостям жизни, входим в пресловутую реку трижды. Земля с ее благоуханными садами и пением птиц — для нас. Зачем же мечтать о лучшем, всё получив сполна еще вчера? Будем же веселы и наивны. Проходя, ничего не проходит. «Вечное возвращение» — загадочная идея, родившаяся на заре времен, и доселе служит верой и правдой ее апологетам и сынам.

Андрей Гуцин





ПОЭЗИЯ



Катя КАПОВИЧ

(Бостон)

* * *

Ещё один идёт на убыль год,
зелёнка лета переходит в йод,
и, соблюдая прежние устои,
мы переводим стрелку на часах,
утиный клин находим в небесах
и в серых камышах гнездо пустое.

Мы рады забываться ранним сном,
у нас не слышно взрывов за окном,
к нам в стены не врубается ракета,
и если нас разбудит крик совы,
на бок другой перевернемся мы
до светлого холодного рассвета.

Про что вся жизнь? Про этот свет в лицо,
про остров, где колдует Калипсо,
дни набегают волнами на отмель,
спроси нас, что мы делали вчера,
и замаячит чёрная дыра,
вода, звезда, луны корявый профиль.

Спроси нас, что в конце у этих дней,
и замаячит сад камней, теней
и под бегущим небом древний город,
туда мы возвратимся в свой черёд,
и свистнет рак, и рыба запоёт,
и в сердце острая игла уколет.

* * *

Мама, не беспокойся,
я теперь экономлю,
не останусь я вовсе
перекатною голью.

Не останусь я нищей,
я богаче всех прочих,
у меня теперь тыщи
удивительных строчек.

Нынче осень в разгуле,
в палых листьях дорога,
в сквере голуби гулят,
жизнь идёт понемногу.

До реки доберусь я,
укачу на тот берег,
посмотри: ходят гуси
и в росе можжевельник.

Посмотри, моя мама,
как на велосипеде
я гоняю упрямо
на пустом этом свете.

* * *

Красный лист даёт отмашку,
облака бегут вперёд,
по двору многоэтажки
спать домой спешит енот.
Ночью в поисках добычи
мусорные баки тряс,
а потом бродил тут нищий,
рылся в баках, щурил глаз.

Стеклотару из-под пива
он потом пойдет сдавать,
лает бобик шелудивый,
воскресенье, твою мать.
Падалица валит оземь,
ветер с океана, осень,
нищий спит средь двора,
всем хорошего утра!

* * *

Спасибо, что есть вы, спасибо, что есть,
родные мои, я без вас бы погибла,
родные мои, что мне выпала честь
шептать вам «спасибо», как ветер осиплый.

Нам дали под занавес с кровью зарю,
большую войну развели на дорогу,
как бабочки насмерть летят к фонарю,
летят где-то жизни, мерцая немного.

Земля почернела, но в небе светло.
Родные мои, мы всё тише и глуше,
прощальнее в мире, где нам повезло
друг друга любить без обиды, без чуши.

Родные мои, не в небесной глуши,
а здесь, на земной неуютной таможне,
спасибо навек вам за свет не по лжи,
за красную ветку в траве придорожной.

* * *

Укрылась пледом до бровей,
упавши на кровать,
но пел в окошке соловей
и расхотелось спать.

Их нет в Америке, постой,
никто их не видал,
перелегла на бок другой,
и сон совсем пропал.

Но кто-то пел, но кто-то пел
над тёмною листвою,
звенел, морочил, свиристел,
живой, такой живой.

Ах, мало ли в миру чудес!
Пел кто-то. Помнишь? Нет?
Мешал уснуть, потом исчез,
не выдавши секрет.

* * *

Поднимешь оконную раму
и чёрного кофе попьёшь,
чтоб утром восставить упрямо
знакомых деревьев чертёж.

Твой дом возле голого леса
в долине над мутной рекой,
и нет в твоей жизни прогресса,
и ясности нет никакой.

Ничем больше мозг твой не занят,
подолгу сидишь в тишине,
но лес, словно что-то он знает,
стоит обречённо в окне.

Все птицы пустились в кочевья,
сухая листва улеглась,
на свете лишь мы и деревья,
как с миром последняя связь.

Наум ВАЙМАН

(Тель-Авив)

Из книги

«Разбег для взлета»

* * *

Точила осень третий Рим.
Листва кружила. Выли ветры.
А мы на дачах пили в дым
И распевали песни ретро.

Уже предчувствуя беду,
Предвидя время разрушений.
Мы все бродили, как в бреду,
Ища спасительных решений.

Но что могли мы предложить,
Какие прочные основы?
Только кружить, кружить, кружить,
И уноситься ветром снова.

* * *

Тает лес в тумане.
Ветерок с болот
Раздувает пламень
Тусклых позолот.

В опустевшей роще
Тихо и светло.
Голых веток росчерк
Теребит стекло.

От росы осенней
Тяжелы кусты.
На погосте временем
Скошены кресты.

Редко крики птичьи.
Воздух сыр и свеж.
Кто мне шепчет притчи
Утренних надежд?

* * *

Стояла осень. Утром ранним,
Забыв накинуть дождевик,
Как на последнее свиданье
Я выбегал на птичий крик.

Хрустела лужа у порога.
Слепая даль была светла.
Окаменевшая дорога
К забытой пристани вела.

Погост, забытый у дороги.
Звенит фарфоровый венок.
*Лишь тот божественно свободен,
кто бесконечно одинок, —*

Глаголет надпись. И осока
Танцует с ветром у реки,
А небо долго и высоко
Переплывают косяки.

* * *

Такого лета не бывало!
Листовою ржавою мело,
Земля от зноя изнывала,
И солнце красное цвело.

Степная сушь, как вражья сила,
Летела с юга. Город чах.
Жара, как ненависть, душила,
Песком скрипела на зубах.

Как в кольцах сытого удава
Лежала родина в пыли,
И от заставы до заставы
Рвались и выли кобели.

Горело где-то мелколосье,
Стекала брага по усам,
Давно заезженная песня
Бросала вызов небесам.

И были женщины доступны,
Как перед долгою войной,
И сладок был, как запах трупный,
Дымок отечества родной.

* * *

Увы, как быстро отлетает
Дыханье наше на ветру.
Я, призадумавшись, срезаю
Ножом древесную кору.

В лесу дымит осенний ладан,
Струится утреннею мглой.

Какая странная отрада
Шуршать опавшею листвою...

Проковылял старик-лесничий.
За лесом вдруг — разбег полей.
И пролетает угол птичий
Над караулом тополей.

На неба сереньком подоле
Заметен долго птичий лёт.
И сердце бьется поневоле,
Как рыба глупая об лёд.

СТРАШНЫЕ ДНИ

Октябрь уж наступил. Начало Страшных Дней.
Тем, кто не молится, должно быть одиноко.
Горячий воздух. Марево. Сирокко.
Скучает Рок. Балует суховей.

Толпа мужчин, все с книгами в руках,
Укрытых с головой в молитвенные шали,
Как поле спелое волнуется в печали,
Взорвавшись песней, кается в грехах.

Бессмертный хор, тоскующая рать
Всех под знамена вставших поколений,
Гудит во мне набат твоих молений.
Но я один. И братства мне не знать.

Скорее в горы. В этот сад камней.
Наедине судьбину подытожить.
Витают пух вдоль хлопковых полей
И сердце вьюгой белою тревожит.

Вся жизнь — побег. Душа — дорожный прах.
Заблудший сын, бреду по бездорожью.
Любовь — предубеждение. Совесть — страх.
А жалость — неразрывна с ложью.

Таков багаж. И мгла, куда ни кинь.
Песка и пыли гибельные сонмы.
Наполни грудь дыханием пустынь,
Ленивым, рыжим воздухом бездомным.

ЗАХВАТ АЭРОДРОМА В ПУСТЫНЕ ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

Как перед смертью, словно черти,
Пьяны от лезвия косы,
Плясали вычурные смерчи
Вдоль новой лётной полосы.

И черной смертью неминучей,
В цветных прожекторных лучах,
Сошла грохочущею тучей
С небес стальная саранча.

Л. З. Н.

Выйдем к морю, как держава
После длительной войны —
Взвился парус гривы ржавой,
Ноги медные стройны.

Солнце — вдребезги. Заколка,
Словно мачта. Стрелы брызг.
Яхты пляшут на осколках,
Корпуса тугие — в визг.

Волны встряхивают гордо
Белоснежные чубы,
Лижут каменные морды
И осклизлые столбы.

А над гаванью веселой
Чаек праздничный угар:
Бестолковый, местечковый,
Оглушительный базар.

* * *

Отравой осени пируют витражи.
Из рваных ртов химер
зеленым ядом вечность истекает
на кружева соборов.

На всех углах поют аккордеоны
из довоенных песен попурри —
толпа пьяна предчувствием упадка.

Вдруг родиной пахнет: дымком из подворотни,
гнильем с реки, беспечностью к судьбе.
Грядущей жатвы нет, шепчу.
Печальная свобода.

Сентябрь 1989, Париж

* * *

Какие-то блаженные пространства,
где времена кругами ходят,
где ты гуляешь одиноко,
а я кричу издалека,
зову —
разлук здесь не бывает.

Ты в забытьи
бормочешь, улыбаясь,
мои стихи из прошлой скудной жизни.
А то, что я писал их, будто зная,
что речь мертва, история свершилась,
придает
особый, ядовитый колорит
наставшей безмятежности.

* * *

Когда получается
стихотворение,
радуешься,
как победе в арьергардном бою
своей обреченной,
вечно отступающей,
но все еще злой
армии.

* * *

Садится солнце.
Ветер утешает.
Струится степь.
Вдруг в молодой тоске
Почудится
Что жизнь — разбег для взлета.

Кциот, май 1990

Матвей СМИРНОВ

(Лондон)

СПАСАТЕЛЬ

Нам было больше некуда пойти,
Мы день навывлет прожили почти,
Сидели сбившись. Пахло мокрой шерстью,
Над зимним пляжем горизонт дрожал
И у причала ржавая баржа
Гремела жостью.

Волна качала выцветший буёк,
Был заколочен досками ларёк,
На дюнах было ветрено и голо,
Вдоль берега тащили донный трал,
В курортном городке стоял февраль
Уже полгода.

Курортный город — мертвый осьминог,
Банальный и простой как ля минор,
Как мокрый холст на ощупь, цвет и запах.
Восток был пуст, а север был далёк,
Был юг закрыт, тем более ларёк,
Тем паче запад.

Залив ворчал, накатывал волной,
Мы ощущали мозгом и спиной
Отсутствие спасателя на вышке.
Купаться в море было не резон
В такой сезон, и потому надзор
Казался лишним.

На пирсах догорали маяки,
Стояли штабелями лежаки,
Прикрытые брезентом или толем.
Никто давно не приезжал сюда —
Зачем нужны спасатели, когда
Никто не тонет?
И мы сидели, трезвы и легки,
И души всех заплывших за буйки
Кричали альбатросами над нами,
И мы смотрели, как навстречу нам
Идёт спасатель прямо по волнам,
Но не узнали.

ФЕВРАЛЬ

Зимнее солнце в тёплой воде Гольфстрима,
Как аспирин, шипуче и растворимо,
Сохнут чернила объемом в шестнадцать строк
И января наконец истекает срок.
Выходцы юга, изгои райского сада —
Выгнали, исключили, так нам и надо.
Биться в истерике поздно — закрылась дверь,
Сели гурьбой у порога, плачем теперь.
Плачет слепой тоскуя о чем-то зримом,
Плачет Стамбул — когда-то и он был Римом,
Плачет сухой асфальт по зелёной траве,
Плачет профессор Доуэль по голове,
Пьяница плачет, что не дают напиться,
Плачет по снегу юг, а по югу — птица,
Снявшие голову плачут по волосам,
А иногда, признаться, плачу я сам,
Громко сморкаюсь в бумажные полотенца
И понимаю, что никуда не деться,

Девочка Таня плакать имеет резон —
Мяч по волнам уплывает за горизонт.
Даже паяц, надевая костюм паяца,
Должен смеяться, но не желает смеяться,
В зеркало пялясь, обсыпав лицо мукой.
Кончился год високосный, за ним другой
В чёрном авто с голубым огоньком несётся,
Жмётся к бордюру белое зимнее солнце,
Пересекая небесную магистраль.
Сохнут чернила. С утра предстоит февраль.

2023

ВНИЗ

В волосах застревают листья и колоски,
Между рамами моль роняет свои хитины,
Возле кромки воды остывающие пески,
Лепестки, моллюски, йодистый запах тины.

Это осень — время, когда переводить дух
И не можешь вспомнить прошедшие две недели.
Подоконник усеян телами погибших мух,
Потерялся август, который мы проглядели,

Возвратившись в город и сбросив с себя загар,
Шелуху июля, пустые надежды мая,
Заплатив за солнце, как платишь за свет и газ,
Через грязные рамы пялишься не мигая —

От вольфрамовой сферы не отвести глаза,
Предзакатный блеск меняет картину мира.
Мама мыла раму лет сорок тому назад,
В букваре не врут — раз сказано, значит, мыла.

И когда сентябрь, то на серый асфальт двора
Не упасть не штука, как говорил Конфуций.
Мама мыла раму буквально позавчера.
Подоконник узок — хоть бы не поскользнуться.

РИСУЙ, РИСУЙ, ФОНАРИК ТЕЛЕФОНА...

Рисуй, рисуй, фонарик телефона
В ночной пещере тени на стене.
Всё, что со школы помню про Платона:
Что он мне друг, но истина в вине.

Мы пьём вино. Мы пьём его как воду,
Вода из крана выпита давно
Собратьями из моего народа
(Как вариант: превращена в вино).

Читаю книгу за полночь. А толку?
На белом фоне буковки дрожат,
Ну что ж — закрою и верну на полку,
Талмуд, увы, не мой, пожалуй, жанр.

Зато прочесть полсотни прочих книжек —
Похвальный результат для дурака.
В них правды нет, но нет её и ниже,
А выше мне неведомо пока.

Там выше — тоже ночь. И звезды тоже
В ночной переключаются режим,
Венера пастухам готовит ложе,
А Марс, как и положено, дрожит.

На море штиль. И полумёртвый ветер
Запутался в обвисших парусах.
На суше малярийно-душный вечер,
Торжественно и чудно в небесах.

Глаза слезятся. Это пахнет дымом
Отечества в украинской ночи.
Но Южный Крест, как Южный Берег Крыма,
В широтах этих слабо различим.

Всё, что читал и слушал этим летом,
Понять несложно, сложно не забыть.
Я слишком счастлив, чтобы быть поэтом,
И слишком очарован, чтоб не быть.

Феликс ЧЕЧИК

(Натания)

КЁЛЬН — АМСТЕРДАМ

Памяти И. Баумгертнер

Три часа туда и три обратно:
время пролетает виноградно.
Долгожданно, дымно и громадно
вдалеке нарисовался Кёльн.
Передам от Юдиной поклон.
Это лишь прелюдия, а fuga —
торжеством любви и смертью друга:
то ли дуб склонился, то ли клён
над её могилой. Время праха —
Иоганна Себастьяна Баха,
триста лет звучавшее тому,
освещает будущего тьму.
Друг любимый, помнишь? Не забуду:
«Мозельское», кухня и гашиш.
Причащенье к таинству и к чуду
рейнских вод и черепичных крыш.
Тридцать лет не триста... Обещаю:
рано или поздно, навсегда
встретиться за третьей чашкой чаю,
где кипит летейская вода.
Почитаем Бродского, как прежде,
поглядим в глаза друг друга вновь,
позабыв о вере и надежде
и символизируя любовь.

* * *

Это ты на снимке? — Да.
Кто ещё с тобой? — Не знаю.
Было времечко, когда
мы драчили на «Данаю».
Потому что — чистота!
Потому что — безнадёга!
Потому что лет до ста
будем жить, не зная Бога.
Не беда, что век остёр
и безвременье кислотно,
но горит любви костёр
и любовь пьянее Лота.
Не беда, что однокла-
снится долгими ночами,
и мочало без кола
в безутешности печали.
Бесконечная страда!
Время Анджели и Чили...
Было времечко, когда
на «Данаю» мы драчили.
Что осталось? Пустота.
Небеса чернее сажи.
Свет и золото холста
в опустевшем Эрмитаже.

* * *

А. Ф.

Знание — бессилье. Старость.
Близость гор. Пора и честь.
Сколько раз ещё осталось
Льва Толстого перечесть?

Юность. Отрочество. Детство.
Бесконечный эмбрион.
Возвратились, наконец-то,
сосчитали всех ворон.
Красоты прекрасным лицам
добавляет смерть б/у:
вот Андрей под Аустерлицем,
вот Наташа на балу.
Снова летоисчисленье,
но за вычетом зимы:
слышишь, как трещат поленья,
видишь, как спокойны мы.
И правдивее, чем правда,
и прекрасней, чёрт возьми,
голова Хаджи-Мурата
под колёсами любви.

* * *

Виолончели
женское тело.
Гия Канчели —
жизнь пролетела?
Жизнь промелькнула?
Белые нитки?
Музыкой гула
облако-Шнитке.
Музыка бреда,
музыка страха —
вместо Альфреда,
Моцарта, Баха?
Будут другие
дали и выси.
Плачет по Гие
небо Тбилиси.

Нету, конечно,
рая и ада.
И безутешна
Данелиада.
Память бессмертна.
Утренно. Росно.
Неба concerto
tabula crosso.

* * *

Убив и воскрешая вновь,
чтобы века летели мимо,
мумифицирую любовь,
как Ленина и Хо Ши Мина.
Пускай во мраморном ларце
она лежит живой живого,
не помышляя о конце
и ночью воскресая снова.
И ненавидя, и любя,
и облаком июльским тая,
она лежит вся из себя —
красивая и молодая.

* * *

Сидя в сквере и водку пия,
в полной мере был счастлив и я.
Кто ещё? На берёзе ворона.
Кто ещё? На лету стрекоза.
И осенний прикид монохрома,
только радующий глаза.
И река, отразившая небо,
и над ней силуэт рыбака,
вместо закуси — запах хлеба,
долетающий издалека.

Кто ещё? Перечисленных кроме —
никого у реки на виду...
Посижу, поправляя здоровье,
и обратно домой побреду.
Не спеша, вспоминая о маме
и отце, как снегирь о весне,
растворяясь в полночном тумане,
существующий только во сне.

* * *

Не моё собачье дело
и не ваше, а её,
что она, оставив тело,
предпочла небытиё.
Лает, рыщет в райских куцах,
мокрый нос во всё сую.
И заботится о сущих
и печалится, как я.
Без неё — почти что десять
лет не спится по ночам.
И никто не может взвесить
на весах мою печаль.
Без неё — такая скука,
без неё — одни коты...
В райских куцах рыщет сука
с бесконечностью на ты.
Не оближет, не утешит
и не скажет: — Здравствуй, сын!
Десять лет живу не взвешен
и, конечно, упарсин.
Где бы ни был, кем бы не был,
погружаясь в забытьё,
я храним не просто небом,
а созвездием её.

* * *

Завидую тому, кто мало
и долго пишет день за днём,
кого, как будто глину, мяла
и обжигала смерть огнём.
Завидую тому, кто снова
вымучивает, как в бреду,
непозволительное слово
у очевидных на виду.
И до того ему нет дела,
что происходит во дворе
и для чего опять запела
метель в июньском январе.
А я живу и в ус не дую,
а дую в старую дуду,
влюбившись в деву молодую,
себе и деде на беду.

ГАМЛЕТ

Смывая сон с лица,
вернулись в реку капли,
став призраком отца
в любимовском спектакле.
Светло и высоко
глядят из ниоткуда:
Офелия Сайко,
Демидовой Гертруда.
В пожар чужих осин
и неземной юдоли —
подбрасывает сын
слова сердечной боли.

До самого конца —
с любовью к человеку...
Смывая сон с лица,
вернулись капли в реку.

* * *

Гаэтано Доницетти...
Это музыка без нот,
это пойманная в сети
птица плачет и поёт.
Предпочёл бергамским вязам
паутинную тюрьму,
или реквием заказан
не кому-то, а ему?
Обречённая попытка —
жить в раю, забыть про ад,
и любовного напитка
выдыхающийся яд.

Марина ПАЛЕЙ

(Роттердам)

ВЕРАНДА

(ингрийский цикл)

* * *

благоденствие — это отсутствие лиц,
а только твоё лицо,
французский говор листьев и птиц,
дверь веранды, распахнутая на крыльцо,

кружева, кружева, кружева теней,
у колодца — клён застенчивый мой,
а с другого крыльца — ласковый сумрак сеней,
ведро, полное ртутной медузой-водой,

котёнок, шаткий на лапках своих,
когда кошка, яростно лижет его,
лушко яичек — не золотых, простых,
хроменькой гаммы детское торжество

благоденствие — это там, за полями, вдали
еловник, а дальше — смешанный лес,
и сползают подушки на край земли
с разворошённой любовью постели небес

тень удлиняется при ходьбе,
сквозь поленницу пробивается световой колос
а рядом, только не знаю где, твой голос:
я соскучился по тебе

2014

Свидание

накину шаль, но сброшу каблуки —
и мой побег на пруд благополучен
и прогибаются рыбацкие мостки,
и так ритмичен скрип уключин

а после — пышной юбочки шифон,
как ветер, ножки овеваает
а на веранде дедов граммофон
«Вечерний звон... вечерний звон...» играет

но вот умолк — и сразу громче хруст
включает гравий на дорожках лунных...
и счастье предвещает каждый куст!
оркестр птиц ведёт настройку струнных

2014

* * *

рассказать о потерянном царстве,
где веранда была мне дворцом?
где молила сирень о лекарстве —
столь обильно цвела над крыльцом?

свежим снегом сияли кувшинки
на пруду, что считался без дна

и глаза у молочницы-финки
были выплаканы добела

пёстрым строем анютины глазки
излучали свой сладостный дух
и качели, сородичи сказки,
превращали меня в прах и пух

тени сосен и лапищи елей
создавали укромный уют
и скворцы оглашенные пели
да и нынче, наверно, поют

только я в странной зоне беззвучья,
где ни запахов и ни цветов,
где царит паутина паучья,
оказалась, как предок Иов

сжав немые, поблекшие губы,
я не вижу слепую зарю
и скворцов я ловлю на ютубе,
и леса через гугл смотрю

2015

Веранда

на веранде царят иные градусы — божоле,
кривизны пространства, температуры
там прохладней, чем в погребе, тем более, на жаре,
где жалобно квохчут в пыли пёстрые куры

но вот наступает вечер, и белый рояль
резко вызывает на злой поединок чести

новые струны дождя, и мне чуточку жаль,
что завтра мы уже не сможем быть вместе

...ты возвращаешься в полночь, говоря, что вот, опоздал
на самую последнюю электричку
и я почти верю, хотя наш пригородный вокзал
работает поздно, до часу ночи; но эту отмычку,

точнее, лазейку не принимаю, прости,
и вот уже нетерпеливо жду, когда ты уйдешь, уйдёшь
и говорю, что утренняя электричка будет к шести —
и ты уходишь под дождь

2016

Тысяча девятьсот четырнадцатый

июньские дни предвоенного лета
веранда, сирень, на веранде — рояль
стареющей женщины кольца, браслеты...
в муаровых складках белеет печаль

она не по возрасту юно одета
трепещет романс про звенящую даль
и манит, и мучает взгляды кадета
её бирюзовая шаль

проходят в гостиную... чай? сигареты?
на волны залива чарующий вид
и нежно взирают красавиц портреты...
он будет под Гродно убит

2018

* * *

когда играешь ты на шестиструнке
и шёлков голубой на грифе бант,
с умелой лентой ласкают руки
то этот, то другой гитарный лад, —

я вижу ад, какой не видят люди,
и звуки музыки мне внятно говорят,
что есть сейчас, того уже не будет,
как не было и миллиарды лет назад

но витражами светится веранда,
шумит сирень, и дух обманут мой...
а ты погибнешь в чине лейтенанта
на Первой мировой

2019

Усадьба. Куоккала

сначала лягут пятна света
на рамы, стены, на паркет...
и, в бязевый наряд одета,
она сбежит играть в крокет

качели, мяч, гамак, шезлонги
и трости лёгкой вензеля...
и полдень будет долгий, долгий —
как будто замерла земля

но вот — балкончик и веранда
и шаль трепещет на ветру
и серенада, серенада
в сирени свежей ввечеру

а ночь в саду ещё прекрасней,
чем утро, день и чем закат
...платочек белый, кровью красный,
забыт в траве... как сердце, смят

2019

Старинный альбом

тончайшая талия, пышный шифон,
и вновь на веранде поёт граммофон,
и трепетен воздух заката...
и так же он веет, как сто лет назад,
когда привела в этот яблочный сад
прабабка-врачиха — солдата

он был одноногим, но сердцем хорош
он правила мира не ставил ни в грош
зато обожал он прабабку
она танцевала с ним медленный вальс
а как? а вот так — коль не видела вас,
кружила, сгребая в охапку

и так они жили, Исаак и Рахиль,
в библейский мотив превратившие быть,
под кронами щедрого сада,
пока не качнулся наш сказочный дом
у всех покачнулся он в тридцать седьмом
а там уж добила блокада

но — тонкая талия, пышный шифон,
и вновь на веранде поёт граммофон,
и трепетен воздух заката...

помедли... пусть покой продлится...
душа не делится на части...
и белая, как скатерть, птица
стоит в дверях, нема от счастья

2022

Этюд первый

...как проститутка тоскует о девстве,
я — о классическом плачу наследстве —
книги, пластинки, рэбятка цветов...
папа за маму стреляться готов

и ни одной пролетарской нет хари —
разве соседка, но та — Мата Хари
(так мы её называем тайком:
в скважины эковским зырит зрачком)

первая рифма ко слову «веранда»?
«банда»... «баланда»... но также «лаванда» —
пахнет, проклятая так, что живьём —

нет, не отпустит... играет гармошка...
видно, в ударе художник Антошка...
гроздь сирени дрожат под дождём

2022

* * *

«накинув кофточку»... небрежное — «накинув» —
предполагает сад, черёмуху, закат

и сумерки, что, память с места сдвинув,
откручивают видео назад

«накинув кофточку»! о позабытость жеста!
калитка и крыльцо... веранда и сирень...
хрупка деталь вечернего блаженства —
«накинув кофточку»! лесистой дачи лень

о промежуточность отрадных состояний!
нет, не надев её, не застегнув, не сняв —
«накинув»! о незавершённость дланей,
протянутых с пучком цветов и трав,

но не обнявших плечи... плечи эти
прикрыты кофточкою, девичьим щитом...
его слегка колышет нежный ветер...
сколь грозен щит — и ныне, и потом!

меж домиком дощатым, миром внешним,
так, мимолётно, между делом, вот...
неспешно есть из пригоршни черешню...
эх, кабы шаль! — но кофточка сойдёт

вести со спутником небрежно разговоры,
где говорится словно не о том
(о том, о том!)... и — миновать заборы,
и — выйти к лесу с пересохшим ртом

и вот — когда ты обнажила плечи...
вдруг, примостив стопу на самокат,
и, срифмовав небрежно — «вечер, вечер»,
накинув кофточку, жизнь катится в закат

2022

* * *

день тихо уходит из дедова сада...
цыганской приманкою — майские ночи
и пахнет широким покосом левада,
и речка размашистый делает росчерк

и месяца стёршаяся подковка
сулит откровения снова и снова —
когда разрастётся его окантовка
и станет большой золотая подкова

тогда, на веранде с молочным роялем,
увидим мы тех, кто прикинулись нами,
и тоже под этой подковой играли —
в сандаликах дырчатых, в белой панаме

и скрипнет та дверь, что сама отворилась,
зажётся витраж на отшторенных рамах...
и слёзы, что в детстве ещё не излились,
не солью, но сахаром вспыхнут на ранах

сверчки ниспошлют нам печальные знаки —
но мы не заплачем, живые мишени...
и реквием грянут в посёлке собаки
и дождь вековым прошумит утешеньем

2018

Vintage

смотри: абажура густой абрикосовый сок,
и складки на маминой скатерти — снежной, крахмальной...
в углу — граммофона златой изобилия рог,
из коего хлещет фокстрот — разбитной, привокзальный

петуны — до самого сердца — распахнутый рот
похож, ты же видишь, на хищный раструб граммофона...

но хлещет и хлещет ломающий сердце фокстрот...
а ты — успокойся, не надо нам танцев... ты дома

и — ромбами — старой веранды идут витражи...
и солнце, совсем, как в романсе, клонится к закату...
но, может, хотел бы ты вальс? ты мне только скажи —
я очень богата... я всем, чем захочешь, богата —

всё это — тебе... ты не знаешь, как сильно люблю
тебя — или знаешь — ничто не меняет картины...
всё это — тебе... но не бойся — я, видимо, сплю...
рубином в осеннем предместье горят георгины

2020

* * *

о чухонский мой лес, колдовской мой Серебряный век,
ты искришься — как будто чумацкою крупной солью...
здесь не выжил ни эллин бы, ни отуреченный грек,
Эпикур, отморозив бы длани, поручался с болью

чтоб любить этот лес, что разросся в Серебряный век,
надо с детства познать — в витражах, в абажурах — веранды...
там рояль-искуситель, магистр томительных нег,
и плетёные кресла, и шаль, и в ночи серенады

и ещё — тех студентиков (косоворотки, ремень),
их листовки, прыщи, из-под чубчиков тайные взгляды...
и букет колокольчиков, что собирали весь день —
этой цели, как будто бы важной, стеснительно рады

ну, так это всё летом... зимою же, сторож Кондрат
(был он княжеским ловчим, а нынче — лишь спившийся егерь),
фляжку пряча за пазухой, птичкам балтийским рад,
что, как в море Эгейском, в ингрийском купаются снеге

2024

Григорий МАРГОВСКИЙ

(Бостон)

ПОЧЕРК

Шлифовал я с детства почерк,
Хрупких глаз не поберёг,
Как там правильнее: «кочерг»
Или всё же «кочерёг»?
Знал я суффиксы, приставки,
Иностранных уйму слов,
На какой встречался явке
С Достоевским Гумилёв.
Рассуждал про чью-то запись
В позабытом дневнике,
Что вредит нам бог Серапис,
Хоть и правил вдалеке.
Рифм гремучая копилка,
Парадоксов и острот,
Мысль, танцующая пылко
Сократический фокстрот.
Столько в клеточку тетрадок
На заметки я извёл,
Что сегодня буду краток,
Наработавшись как вол.
Мир прекрасен и без Джойса,
К чёрту душное снобье,
Жизнь цени, шагай, не бойся,
Всеми тропами её!
Наши страстные любви,

Драки, слёзы и хайвей
Поважней конвульсий в слове
Схоластических червей.
И узор твоих скитаний
По диковинным местам —
Он и есть твой почерк тайный,
Да и явный, что уж там.

РИМ

По Риму праздному бродя
Без устали и вот, расслабься,
Антонио курнул каннабис
Под тарантеллу от дождя.
Рабы еврейские, галдя,
Встречали на руинах шабес.

Все итальянцы как один
В его роду, но пьёт он виски
И сочиняет по-английски,
Неблагодарный сукин сын.
В краю родился мокасин,
Не знал, где холм Капитолийский.

Из Цинциннати он, сражён
Базилик поступью небрежной,
Латынью горестной и нежной,
Гравюрными бровями жён.
Впивался в каждый портик он,
Душой блаженствуя мятежной.

Так возвращение к корням
Поэтов окрыляет. В убер
Пошёл работать, в зной и дубарь

Вози к детишкам жирных мам.
И пиццу доставляй, ням-ням.
От этого и впал он в ступор.

Лишился стольких он друзей
И столько напророчил строк он,
Что заворачивался в кокон,
С окном почти на Колизей.
И той же травкою, ей-ей,
Тянуло из соседних окон.

Антонио мечтал весь год
Попасть на Апеннины, в этом
И смысл, чтобы тебя поэтом
Признал однажды твой народ.
Да кто ж его переведёт?
Он безымянен и с приветом.

Короче, мафия кругом,
В литературе, как в Палермо,
С дебютом помогает сперма,
Гигантов назначает гном.
Жюри их конкурса притом
Воняет, будто свиноферма.

Шустри, нахваливая треш,
Задабривая горлохватов,
А там и, премию сосватав,
На шару трюфелей поешь.
Пора забить на эту плешь
И поскорей валить из Штатов.

Мечи короткие под ним
Сверкали, бесновался Форум,
Патриций вопрошал с укором,

За что он шлюхой нелюбим.
«Так вот какой ты, Вечный Рим!» —
Всплеснули херувимы хором.

Авгуров мелочных грызня,
Историков продажных тёрки,
Точь-в-точь как в городе Нью-Йорке,
Везде такая же фигня.
Внизу колокола, звоня,
Будили сонные задворки.

На иудеев Ватикан
Обрушивал за буллой буллу.
Поминки справив по Катуллу,
Резвился эпигон, румян.
Антонио, вдыхая план,
Тайком прислушивался к гулу.

Обдолбанный, пославший нах
Истеблишмент и всё такое,
Он в дивном пребывал покое,
Повышен в ангельских чинах.
И лунный обелиск впотьмах
Наследье воплощал людское.

КНИГИ

Книги, тысячи заглавий,
А по ним ли ты узнал
Как выравнивают гравий
На болоте между шпал?
Возопит ли эта драма,
Даже если потрясён,
Что такое из Бат-Яма
Переехать на Гудзон?

Ни трактаты, ни поэмы,
Увлекая ширью тем,
Пояснить не могут, где мы
Оказались и зачем.
Всё безбрежие страданий,
Ближних искренность и ложь,
Ливий ты или Павсаний,
В корешок не запихнёшь.
И трещит от ноши полка,
И ветшает мир, пока
Волчьё имя Святополка
Славят тёмные века!

ШТОРМ

Люблю я дюны Массачусетса,
Где благодать не первый век
И, за ветвями прячась, устьяца
Посверкивают блеклых рек.
Отсюда волны переливчатей,
Игривей небосвода прядь,
И если вы блаженства ищите,
Вам этой мглы не миновать.
Здесь от индейского восстания
Спасалась честная вдова,
Оставив нам свои писания,
В суровых выводах права.
Но глупые чертовки выросли
Из пуританского чепца,
И клевер зацветает, ирис ли,
Никто не в курсе до конца.
Читай ты или разговаривай
На темы, что всегда остры,
Цикадное вскипает варево
В котле полуденной жары.

И заглушает гул политику,
И все прогнозы нипочём,
И я навстречу шторму вытеку
Журчащим радостно ручьём.

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ

Львиный зев на мшистом валуне,
Вздрагивая неприкосновенно,
О, как больно ты напомнил мне
Безысходность ласкового плена!
Или так метемпсихоз лукав,
Что душа колышется на склонах,
В давнем поцелуйном заблукав
Лабиринте вздохов обреченных?
Там, на сестрорецком берегу,
Затаенным дюнам уподоблюсь:
С амфорой пустой подстерегу
Пену, где она купалась топлес...
Каждый всплеск с собою унесу!
Светится стигийская аллея,
Я крадусь — предсмертную росу
В лепестках оскаленных лелея.

ПЛИМУТ

Пилигримы плыли в Плимут
На пузатом тесном барке
И гадали, как их примут,
В сундуке везя подарки.

А сошли — тут горы клюквы,
Всюду шастают индейки,
Не останетесь без брюк вы,
Коли есть две-три идейки.

И взялись они за косы,
За мотыги, за лопаты,
Непреклонны и белёсы,
А порой и конопаты.

Их мушкетов, астроябий
Захотелось местным тоже,
Мельниц шум и хохот бабий
Наполняли день погожий.

Приглянулся мягкий климат
Предприимчивым изгоям,
И расцвёл чудесный Плимут,
Убаюканный покоем.

Промелькнёт скворец-балакарь
Над дымком индейских хижин,
Но «Мэйфлауэра» якорь
Остаётся неподвижен.

Эх, люблю я даль морскую,
Часовую мастерскую,
Забегаловку пустую,
Где я столько лет тоскую!

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ

Весной зацветают каштаны,
В театрах заполнены залы,
Так счастливы и голоштаны
В Москве только провинциалы.
Из Вятки, Ижевска, Тольятти
Отъявленные самородки,
На струнах бряцают собратья,
И главный свистун посередке.

Чекушками «Экстры», ваганты,
Мы зычно гремим на Твербуле
И клеимся, экстравагантны,
К какой-то прохожей бабule.
Она говорит, что и прежде
Знавала богемных подонков,
Но дату забыла, хоть режьте,
Когда её сватал Конёнков.
Что были к столу расстегаи,
Витийствовал гений, неистов,
Сотворчество звёзд постигая
В истериках имажинистов.
И мы в мастерскую по-русски
Заходим, что стала музеем,
Хлеща из горла, без закуски,
На статуи молча глазеем.
Все эти Жар-птицы, Стрибоги
Застыли вокруг незнакомо
Предвестием дальней дороги
К воротам казённого дома.
И горцу любовные письма
Ваятель строчит из Нью-Йорка
Про яростный пир коммунизма,
Где чёрная блещет икорка.
И кличет Алёнушка братца,
И лают за вышкой собаки,
И дольше нельзя оставаться
В языческом том полумраке.

Артур НОВИКОВ

(Киев — Шербур)

«СМЕСТИЛОСЬ ВРЕМЯ...»

* * *

клошар изящный как тренога
геодезический разлет
а рядом плещется пирога
что в неизвестный путь зовет
пусть паруса свернули в трюме
и на снастях вечерний звон
за нами ветер! он безумен
и сам — неписанный закон!
куда свистит туда и время
где прозвенело — там земля
номаду мачта то же стремя
пора на вахту у руля!

* * *

Она на даче я в Шербуре
И часовые пояса
Рисуют странные фигуры
Меридианов к полюсам
Сместилось время
По Эйнштейну
А может виноват Ферми
Connection lost всё неизменный
Лоскутный вальс на до-ре-ми

Что изменилось от Петрарки
И от Гринёва в наши дни
Смеясь беззубо вяжут Парки
Носки и варежки в тени...

* * *

Сладко во сне
Вкус ванили и тмина
Розовый пух опадает с гардин
Ангел шепнет мне на ухо
«Амина»
И белым облаком в небо
Один
Снова лежу в неизвестной постели
Где-то она тоже дремлет одна
А между нами не дни а метели
Сыплется время до черного дна
Иль как сомнамбула встану с кровати
Выйду в окно при неясной Луне
Ангелы вышили белое платье
Красные маки по синей волне
Золото неба и жемчуг играет
Колокол бьётся как птица в стекло
Мы не одни
Ты ведь знаешь родная
Нам повезло
Навсегда повезло

* * *

а может взять бутылку керуака
и к ней берроуза так скажем банки три
и тем принять нелепость зодиака
предвечностью доутренней зари

символика дороги и монады
все знаки слов все замки на песках
у керуака текст забытым садом
на тех безвестных дальних островах
и не прельстись реальностью сюжета
сюжета нет есть имена без лиц
пусть кажется знакомою планета:
иллюзия пространства без границ
бибоп и свинг архангельские трубы
пятидесятые нечитанный завет
пускай английский емкий чистый грубый
в нем речь самары
без эпох и лет

* * *

Я в будущей жизни тебя не увижу
На облако сяду всплакну и пойдет
В ночи барабаня по сумрачным крышам
Гроза в блесках молний шальной небосвод
Исчертится словно петроглифы в камень
Символика сердца на знаках имён
И пьяные искры в распахнутый ставень
И гром колокольный в ночной перезвон
Гипербола? Может
Но там за дверями
Вся мелочь летит в придорожную пыль
А детские чувства бегут вслед за нами
Иди разбери там что сказка что быть

* * *

шотландцы шампанское глушат с утра
на завтрак в Шербуре
mon Dieu dissonance
и дождь поливает. наверно пора

куда-то в Палермо
здесь все декаданс
холодные тучи и пальмы скрипят
бакланы вдоль улиц как белые сны
и сизое море
ну что же я рад
погоде такой бесконечной весны
пускай не уходит! в ней все как-то вновь
суровая кладка нормандских шале
и красным вином загустевшая кровь
бежит поживее всех дней на Земле

* * *

Без нужды не предавай
Ещё может пригодиться
На полуденный трамвай
Что нам завтра садиться

Проще ближнему соврать
Ложь не соль забытым ранам
И конечно слово «мать»
Лучше реже.
Без изъяна

Сбереги
А что беречь
Дно бутылки путь в блаженство
Голове ли тяжесть плеч
Жизни что ли совершенство

Раз ромашка два роса
За порогом муть шальная
Та дорога в небеса
Вся до чёртиков кривая

Вышел босым не дошел
А обулся так не вышел
На погост возьму рассол
Да ворону с ближней крыши

Там на холмике вдвоем
Выпьем чтобы все забылось
Сыт ли был упавшим днём
Да иль нет все Божья милость

* * *

подари мне что дарить
ожидание а может
ветра северного прыть
да мешок воловьей кожи
чтоб несло с пустой сумой
мимо роц садов и пашен
чтобы сдуло весь покой
ну а там хоть черти пляшут
подари-ка мне Ничто
что Нигде в заветном месте
как забытый лепесток
розы призрачной невесте
а потом сорви глаза
поменяй зрачки на вишни
слышишь — дольняя гроза
значит мы
за небо вышли

* * *

закрой глаза целую вдох
на выдохе усну
любви достаточно и крох
на целую весну

ты скажешь мне
«давно прошла»
а я скажу
«не верь»
нет отражений в зеркалах
без выхода и дверь
дом растащили по камням
нет улиц и мостов
нам ночь зашла на смену дня
в забытый часослов
и все пронизано опять
как в повести Эсфирь
что реки хлынут в горы вспять
а степь раздастся вширь
и грянут орды
слышишь звон? — запела тетива
твой сон мой сон не сон а стон
а впрочем так

* * *

я собираю в кошелек ненужные приметы
зачем? неведомо кому? восьмое чувство лета
наверно скоро мне лететь там демоны подсказут
где бродят девушка и смерть на незнакомом пляже
они смеются а песок прядет свои узоры
и прибывают точно в срок полуденные воры
что собирают по часам утерянных в пространстве
где нет давно календарей но правит постоянство
а их мешки не знают дна там нет и горловины
давно забыты имена и поводы с причиной
кто появился для чего куда лететь собрался
была страна Манчжоу Го
и там конец всех странствий

* * *

Бутылка вина и бутылка воды
Французский табак для комплекта
Но скромность моя что фонарь для звезды
В ней сущности нет и субъекта

Гораздо важнее здесь вид из окна
На скалы и зелень ущелья
А сбоку ещё притаилась сосна
И вот
Не квартира но келья

Монах и вино несомненный союз
Не святость но путь ойкумены
Ведь инок не ищет естественно муз
Пускай они тоже нетленны

И он не парит
Для него облака
Что компас и карты да Гамы
За ними иные уже берега
Комедии нет там и драмы

И слово «покой» дилетантам оставь
Пространство для духа не в этом
А строчка бежит от пера как и встарь
Волною
От света за светом

* * *

Осенней бабочкой
Вдруг замирает время
Дни падают
Непрошеным дождем

Глаза окон
Бесчисленное племя
Все на меня глядит со всех сторон
Жаль имя города из памяти теряю
Название страны? — не записал
И звон в ушах прощального трамвая
Ушедшего куда-то на вокзал
Срываю лист
Вдыхаю запах влаги
Прошла гроза как детство
Не вернуть
Вот облаков темнеющие флаги
Зовут опять
Куда?
Наверно в путь

Екатерина АЮБОВА

(Бремен)

* * *

Расскажи мне сказку,
Расскажи мне анекдот,
Расскажи мне что-нибудь,
Чего я еще не знаю,
Скажи мне, кто ты,
Скажи мне, кто я,
Скажи мне, что такое любовь?
Расскажи, что такое Бог.

ВРЕМЯ ПРИШЛО

Только для меня одной все это происходит здесь,
Я пассажир этого поезда,
Я наблюдаю за тем, как вращается мир,
Молчу и надеюсь, что он меня понимает.

Я вижу, как продолжается история,
Как она повторяется снова и снова,
Пышное красивое убранство —
Как будто из сна поднимается высокий купол.

Море, звезды, горы... всё мое,
Когда я вижу их, я становлюсь с ними одним целым.
Стою позади разрушенной стены старого дома
И медленно отсчитываю минуты, часы, дни.

Идущий навстречу человек смотрит на меня,
Он ждет меня, говорит: «Теперь твоя очередь».
Час истории становится светом,
В котором через меня говорит голос Бога.

* * *

Прошлое неукротимо, оно всегда со мной.
Оно шепчет: «Ты не должна больше так жить,
Ты должна вернуться к истокам».
Тогда я погружаюсь в воспоминания,
Меняю закаты и рассветы, города и страны.
Теперь я знаю, что́ нужно делать,
Чтобы больше никогда ни о чем не жалеть.
Теперь я пишу свою историю заново!

* * *

Что-то внезапно происходит здесь...
В этом мире и во мне...
Магия витает в воздухе...
Как будто кто-то зовет меня...

Скоро ли я проснусь?
Передо мной волшебный лес...
Тихо дует ветер...
Он шепчет: «Мое дорогое дитя...»

Он шепчет: «Я с тобой!
Я всегда был здесь...»
Он шепчет: «Не бойся,
В тебе звучит мой голос».

* * *

Почему ты так печален, мой милый друг?
Посмотри, как спит кошка.
На обед у нас драники с яблочным пюре.
Вспомни свой первый поцелуй.

Небо такое тихое и мирное,
Под столом прячется мышь.
Лето еще не закончилось,
А из двух любящих возникают трое.

Не будь печален, пройди со мной немного.
Смотри: сад украшен цветами.
Ничего не поделать, после лета приходит осень.
Просто не воспринимай эту жизнь слишком серьезно.

Нина КОСМАН

(Нью-Йорк)

**ПЛАЧ ПО УШЕДШЕЙ
АФРОДИТЕ**

Из пены вышла она
из пены морской

как в зеркало
в души глядела

в темноте ваших душ
бродила

тонкие руки
простирала вам
недостойным и взгляда её

взгляда

и ранили вы её —
кто взглядом
кто делом
кто словом

словом

а кто и без взгляда
без слов и без дел
умудрялся ранить

но тем не менее
каждый день
на заре
выходила она из пены

из пены морской

и дарила вам любовь,
которой вы недостойны

недостойны

и могилы зацветали
от взгляда её

от одного лишь взгляда

и вы не понимали
отчего
и зачем
могилы цветут

и почему они увядают
каждый раз
когда вы захлопывали

дверь
в которую стучалась
вышедшая из пены морской

пены морской

так вините теперь
только себя

в том, что все могилы засохли
без ушедшей навсегда
в пену морскую

пену

* * *

Когда красную деву в жертву прочили
и глядел на неё стоглазый народ,
глазной хрусталик её вмещал
весь сверкающий небосклон.
И когда, умирая, дева молила
чтобы ангелов стая слетела к ней
ворковать вокруг её тела,
народ кричал «Ведьма, скверна!»
и страшный конец давно прочил ей старец,
тот самый, что в Вавилоне торговал сглазом;
умеющий видеть, он знал, как полыхает твердь.
— Чтоб из толщи иудейских смертей воскресала дева,
чтоб славянская муть полыхала в её очах,
к тому ж добавь ей горсть иноземного гнева,
а потом, чтоб по крохам душу из тела добыть,
об иноземном иге скормим народу сказку.
Горела она так ярко, что, запрокинув головы,
народ долго стоял и смотрел, как огонь поглощает плоть.
И душа её видела берег пустынный,
столь огромный, он не вмещался в размер зрчков
и, когда расходился народ, довольный
зрелищем, то пепел её ангел унес
на берег реки, где лёд никогда не таял.

* * *

В городе Дельфы,
где кровавые игры

вместо пророчеств
и мирных игр,
движутся тени
жрецов и пифий
и тех, кто за пророчества
платил кто чем мог —
рабом, петухом, конём, монетой;
в городе Дельфы
жизнь, как старые сети,
в них только туристы и гиды,
и я в эти рваные сети
попалась, не могу распутать,
понять — где я,
где пифия,
где жрец,
где петух,
где конь,
где монета,
и чей голос мне шепчет:
«Останься,
ты и есть та самая пифия,
а о монете и коне забудь».

* * *

Ворвался вдруг и как слепой,
Спотыкаясь, пошёл по вагону.
«Эй куда ты! Пстой!» —
Кричали с перрона.
А он говорит сам с собой,
Палкой куда-то тычет,
Будто и впрямь слепой,
К темноте привычен.
Так кто он? Как его звать?
Чем он тоску побеждает?

Застыл у окна, как ять;
Себя вспоминает.
Кто он? Откуда пришёл?
Как он при свете тает!
А ведь никто, никогда
Не исчезает.

* * *

Девочка с веткой сирени.
Тёмная кровь из руки
капает так медленно,
что кажется, это не кровь,
а так, что-то древнее;
древнее сказок о змее,
древнее любых наук.
Стоит у входа в музей,
крылья сложил, ждёт,
Горе-Горыныч наш Змей.
— Куда прикажешь?
На Афон, на Олимп?
— Хочу поклониться Бесстрашной,
той, что сожгли на костре
за то, что была всех мудрей
и птичий язык понимала,
на закате кормила зверей,
за то её и забрала
тайная полиция тёмного века,
ты помнишь, Змей?
— Как же не помнить?
На костре так ярко горела,
что искра попала
в мой единственный глаз.
Садись мне на спину.

Кровь девственниц, говорят,
лечит от любого недуга.
Закапай мне в невидящий глаз.
Ночь — светла. Сирень — помело.
Летим, подруга!
Змей Горыныч расправляет крыло,
летит над городом и над лесом,
девочке на нём светло,
в руке у неё факел —
сирени.
Так летят к горе, где давно
ждёт сожженная,
от которой осталось одно —
нет, не пепел,
лишь тень тени.

* * *

Всем нищим — по дому,
всем домам — по нищему,
нищие приносят счастье в дом —
вы разве не знали?
Счастья-то каждый хочет,
а вот кто хочет нищего?
Только знайте, не будет в доме
счастья без нищего.
Однажды пустила я нищего в дом,
не для того, чтобы он принес мне счастье,
просто ему, как любому из нас,
нужен был кров,
ведь человек — не собака,
да и собаке нужна хоть какая-то крыша.
Не принёс мне тот нищий счастья.
Но не думай, что из этого следует,
что, мол, нельзя пускать нищих в дом;

забудь о моём примере
немедленно, слышишь? —
сейчас же пусти в дом нищего,
авось за это тебя пустят на небеса,
отпустят тебе все грехи
и скажут: «Добро пожаловать,
человек хороший!»
И ты зардеешься от этого слова «хороший»,
и сам в него поверишь,
будто и впрямь ты такой.
А если нищий просится в дом,
а ты не пускаешь,
мол, грязный ты какой
да и плохо пахнешь,
и вообще, иди ты отсюда,
сам мастери свой кров...
А он — тебе: не пустишь —
лишишься собственной крыши...
Всё это присказки или даже сказки.
Тот, кто не пустил нищего в дом,
оказался счастливей всех.

* * *

Прошлое — хватать!
за самое сердце;
поворачивай вспять
в далёкое детство,
и пока не дойдёшь,
не поймёшь ни слова,
ни отца, ни мать
не видать, но снова
увидишь свой дом,
в нём и после тебя
жили вдвоём

счастливо ль, грустно ль,
о том мне не знать,
вслух ли, устно ль
мне б лишь повторять:
отец и мать,
отец, мать.

* * *

Сейчас откроется дверь,
и тот, кто умер, войдёт.
— Вот и я! Верь-не верь! —
и всю ночь напролёт —

Не верю! — кричу в темноту.
— Не верить легче, чем верить.
Я: — Не пори ерунду.
Труднее не верить.

Олег ФЕДОРОВ

(Киев)

**ПРЕДЧУВСТВИЕ
НЕВОЗМОЖНОГО**

*Только тишина знает,
какой звук был последним...*

* * *

Мы идём по мосту,
который строится из нашего дыхания.
Каждый шаг добавляет доску,
каждый вздох снимает её сзади.
И потому мост никогда не становится длиннее,
чем один шаг.
Нам кажется,
что за горизонтом кто-то ждёт,
но там лишь туман,
который подстраивается под взгляд.
В этом и есть истина:
не дорога ведёт нас,
а пустота толкает спину.
Мы движемся,
чтобы не остаться в воздухе,
но воздух и есть наша почва.
Так падает птица,
уверенная, что летит.

* * *

В комнате без окон
я слышу, как капает вода.

Капля падает не вниз,
она падает в саму себя.
Время,
которое мы зовём будущим,
просто другой изгиб настоящего.
Как ветка,
которая делает вид,
что тянется к солнцу,
а на самом деле
давно сломана.
И если прислушаться,
обречённость звучит
как тихая музыка,
в которой нет начала
и нет конца,
только один и тот же аккорд,
вечно повторяющийся,
чтобы никто не догадался,
что он последний.

* * *

Зеркало треснуло,
но продолжает
отражать трещину.

* * *

Тишина —
как натянутая тетива,
где каждая искра ветра
становится стрелой.
Вчерашние улицы
сегодня пахнут железом,
и солнце, прячущееся за дым,
подобно монаху,

который отрёкся от молитвы.
Мы идём —
не зная, кто из нас
отражение, а кто — меч.
Вздохи становятся стенами,
слова — расколотыми зёрнами,
а память течёт
как река,
которая не различает
берегов.
Всё сводится к мгновению:
птица падает на землю,
чтобы показать
небу —
оно пустое.

* * *

Ветер рассеял пепел.
На ладони —
зерно тишины.

* * *

Гул неба
сжимается в кулак,
и каждая тень
становится врагом.
Но в траве
всё так же медленно
ползёт улитка —
несёт на себе дом,
который не разрушить
ни криком,
ни пламенем.

* * *

Капля на камне
дрожит,
как будто мир ещё жив.
Трава растёт
даже сквозь металл.
Это её единственная месть.
Облако
распадается на осколки —
каждый из них режет глаза.
На земле
лежит тишина.
Её не поднять руками.

* * *

Сквозь камень
пробивается корень —
он не знает, что путь закрыт,
он просто идёт,
слушая зов воды.
Ветер ломает ветви,
но в каждой трещине
открывается место
для нового роста.
И даже тьма,
собравшая все звёзды в кулак,
не может удержать
их сияние.
Так и мы:
шагаем в пустоту,
но пустота
каждый раз превращается
в дорогу.

* * *

Есть мгновения,
когда всё обрывается.
И кажется —
ни дыхания, ни смысла.
Но ребёнок
рисует солнце на стене,
и этого достаточно,
чтобы ночь отступила.
В старой лампе
дрожит слабый огонь —
он горит не ради себя,
он горит для тех,
кто ищет свет.
И надежда
не громкая музыка,
а тонкая нить,
которая спасает.

* * *

Семя спит в земле,
но уже знает
цвет своей будущей травы.

Сломанная ветка
выпускает почку,
как будто не слышала
про осень.

На берегу
ребёнок строит замок из песка,
и волна —
тоже становится его строителем.

Лали Ципи МИХАЭЛИ

(Тель-Авив)

(Перевод с англ. Елены Мордовиной)

ГАЗА

В километре от моего рта голос лежал в руинах.

Здесь выгорело все. Небо. Земля. Слова, что
приходят ко мне, обуглены.

Кофе — словно пепел во рту.

Там — черная дыра. В том месте, где по ночам
я слышу туннели, которые дышат.

Тяжело.

Металлически.

Радостное оружие — в этих туннелях-артериях Бога Смерти,
Несущих застывшую кровь от сердца, которое остановилось,

К сердцу, которое отказывается

Остановиться.

Нижняя Газа свищет верхней. И поглощает ее.

Я израильтянка после 7 октября.

Я больше не пишу стихов.

Я пью кофе и —

мои дети спят под звуки

сирен.

Я боюсь заснуть,

чтобы не забыть. Чтобы помнить мертвых.

Чтобы не забыть. Чтобы помнить похищенных,

Которые все еще разлагаются в туннелях.

Семена, которые не
прорастут. Там.
Никогда.
Двойная печаль быть жертвой и палачом. Одновременно.
Быть преследуемым и преследователем —

Руины по телевизору. В новостях — статистика.
В моей голове —
испуганный израильский ребенок. Бегущий.
Голодный ребенок из Газы. Бегущий.
Они бегут в противоположных направлениях.
Они касаются стены. Они.

Как бы это назвать? Апо... подходит к — концу —
здесь, в этой кофейне,
в этом городе,
который выглядит так, будто в нем ничего не произошло.
Ничего —
даже здесь есть туннели.
Туннели тишины.
Туннели вины.
Каждый день мы закапываемся в них все глубже. И глубже.
Мы сидим в них и
едим наш хлеб,
пьем наше кошерное вино
и не забываем, что над нашими головами
кто-то
Кричит:
Помогите!

Здесь смерть — это не просто смерть. Это смерть,
которая дает рождение.

Похищенные вышли на свет.
Свет их был бледен. Свет.
Свет, что освещает рану, которая никогда не заживет.

Джеффри ХИЛЛ

(1932–2016)

Предисловие и перевод Яна Пробштейна

Джеффри Хилла считают одним из лучших современных английских поэтов, причем это мнение искусственных критиков по обе стороны океана: так полагал и нобелевский лауреат Шеймас Хини, так считал и известный американский критик Гарольд Блум.

Надо заметить, что поэзия Хилла сложна, насыщена аллюзиями, а смысл нередко затемнен — таково, например, большое стихотворение «Tenebrae» (что и переводится с латыни как «сумерки») — о сумеречных состояниях души, написанное в изощренной форме и с беспощадным психологизмом. Занятие это опасное: быть может, из-за подобного беспощадного взглядывания в себя Хилл заплатил долгими годами молчания и серьезной депрессией. После окончания Оксфорда он преподавал в ряде английских университетов, но после 5 книг Хилл 13 лет хранил молчание. Затем — одна за другой появились новые книги стихов. Возможно, помогла смена обстановки — Хилл переехал в США, где в течение 18 лет преподавал в Бостонском университете не только литературу, но и сравнительную религию. И об этом следует сказать особо, так как Хилл — человек глубоко верующий, но стихи его не столько религиозны, сколько нацелены на духовный и нравственный поиск. Так, стихотворение «Сентябрьская песня», вошедшее во множество антологий, является своего рода автоэпитафией (в подзаголовке указана дата рождения: 19.6.32, причем сам автор родился на день раньше) — поэт, сам наблюдавший в десятилетнем возрасте за бомбардировкой Англии, ставит себя на место сгинувших в лагерях смерти. О том же — стихотворение «Общественное достояние», посвященное памяти Робера Десноса (ум. в Терезинском концлагере в 1945 г., как указано в подзаголовке). Вообще, Джеффри Хилл — поэт элегический, что выражается не только в многочисленных стихотворениях памяти

ушедших, будь то его современники или исторические персонажи, но в умении возвысится над горем и смертью и осмыслить глубинные вопросы бытия. Временные рамки стихотворений Хилла раздвигаются, вбирая в себя историю, как в цикле «Погребальная музыка», посвященном памяти казненных в XV веке в Англии, войне Алой и Белой Роз, а если шире — гражданской войне, конфликту между исполнением долга и участием в братоубийственной войне. Нравственный поиск ведет поэта и в недавнее прошлое. Так стихотворение с эпиграфом из Овидия, озаглавленное «Овидий в третьем рейхе» — имеет отношение не к самому Овидию, а эпиграфу из XIV элегии третьей книги «Любовных элегий» — о тех немецких писателях и деятелях культуры, которые сотрудничали с Гитлером.

Хилл к тому же — поэт мифологический, но его стихотворения не являются иллюстрациями к мифам, скорее миф транспонирован в современную поэту реальность, как в стихотворении «Бытие», которым открывается эта подборка, в стихотворениях «Три медитации в стиле барокко» или «Доктор Фауст». В 2010 г. Хилл вернулся в Англию, где стал профессором поэзии в Оксфордском университете, своей «альма-матер». Победивший молчание и депрессию, Хилл удостоен множества литературных наград, являлся членом американской и английской академий, а в 2012 г. был посвящен в рыцари за заслуги перед английской словесностью.

БЫТИЕ

I

Туда сквозь плотный воздух рвусь,
Где океан влачит свой груз,
О Божьих чудесах молюсь.

И внял моим молитвам Бог:
На массу мертвую земли
Вначале морю я помог
Там опереться — расцвели

Морские волны, и лосось
Стремился свинойрылый сквозь
Прибой в соленой крутизне
К холмам в надежной глубине.

II

Я видел в день второй: когтил
Добычу ястреб, полный сил,
Он кровью берег обагрил
И мощь живую обнажил.

Вскричал я в третий день: «Увы,
Хорька улыбки берегись,
Пусть вкрадчив голос у совы,
И ястреб камнем рухнул вниз,
Глаза, как лед, а сила, стать
Даны им, чтобы убивать».

III

В четвертый день отверг я плоть,
Которой грех не побороть,
Для человека сотворив
Левиафана, словно миф,
И пепел моря вдаль унес
Перчаткокрылый альбатрос,
Где Нулевую Козерог
Отметку мира пересек, —
Сие бессмертья зарожденье,
Как феникса самосожженье,
На вечном древе возрожденье.

IV

Но пламя феникса, как лед,
Бесцелен, яростен полет —
Легендой призрачной мелькнет
Над хаотичной бездной вод.

И я на пятый день к заботе
Вернулся о болезной плоти.

V

Когда к концу шестого дня,
С заданьем Бог послал меня,
Я в кровь содрал бока коня.

Мы живы кровью — весь наш род,
Он губит мир, но и спасет,
Ведь миф без крови не живет,

И кровь Христа людей спасла,
Хоть в саванах лежат тела,
Их шкурой океан покрыл,

Земля ж всей массой налегла
На кости, коим свет не мил.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ЖИЗНИ

I

«Покой души»¹ заданьем трудным был
домашним, как ты знаешь. Стиль, казалось,

¹ Труд Плутарха «О душевном покое» (De tranquillitate animi), переведенный на английский как «The Quiete Mynde» Томасом Уайеттом (1503?–1542), незаурядным поэтом и переводчиком поэзии, в частности, Петрарки.

был создан из заброшенных, как мы,
и вопиющих — хрупкие созданыя
у Данте и Вергилия — чуть схватишь,
зальют и воздух кровью, гнев и плач
смешав: свои сердца растратив яро,
без милости, приюта — пища гарпий.

II

Усильем крыльев кожаных меня
уносит прочь. Плутарх же пишет, что
уносят страсти. И «Покой ума»,
как У́йетт перевел, — отнюдь не дрёма
и не апатия. Здесь разделенье,
как пишет У́йетт, *воздержанье нрава*,
что может быть двусмысленно, — прими
и рассеки, найдя кольцо златое
в нем истины, историей хранимой.

КОМЕДИИ МАСОК

Работал также Джонсон¹ превосходно
в воздвигнутых особняках ума.

¹ Бенджамин (Бен) Джонсон (1572–1637) — выдающийся драматург, поэт, ученый современник Шекспира. В русской Википедии почему-то сказано, что Джонсон — фигура столь же загадочная, как и Шекспир, и неизвестно, где учился Джонсон, который славился своей ученостью, хотя общеизвестно, что Джонсон окончил Вестминстерскую школу, где его наставником был Уильям Кэмден (1551–1623), один из образованнейших людей своего времени, впоследствии ставший другом Джонсона, прославившегося уже одной из первых своих комедий «Всяк в своём настроении» («Every Man in His Humour», что можно также перевести как «На всякого мудреца довольно простоты»). Джонсон известен также как автор «масок», то есть придворных балов-маскарадов: писал к ним тексты и создавал сюжеты, в большинстве случаев с установкой на аллегорию и классические мифы. Этот жанр он довёл почти до оперы-балета.

Считал он это вызовом толпе,
противники лишь раскрывали рты;
то было формою вещей, присущих миру,
в колонках с завитками на латыни
и броских, как фронтиспис Рэли¹.
Аркады вижу я Иниго Джонса²,
чернильно-водяные тучи
и декорации придворных «масок»;
дерьмо, обломки, сор безумных улиц,
и экипажи цугом, дыбясь, краем
колдобины и ямы объезжают,
пожарники, мальчишки, с ветром дождь.

ОТДАЛЕННАЯ ЯРОСТЬ БИТВЫ

Возрождается для маскировки трава,
Чтоб задушить выбитые на камне слова,
Сбросить ангелов, но мертвые готовы насмерть стоять —
Защищая каждую пядь —

Те, кто покоятся живо,
Поименованы, безымянны; кропотливо

¹ Сэр Уолтер Рэли (1552 или 1554 — казнен 29 октября 1618 по приказу Якова I) — английский придворный, государственный деятель, поэт и писатель, историк, мореплаватель, фаворит королевы Елизаветы I. Он дружил с лучшими поэтами своей эпохи — Томасом Кидом, Кристофером Марло, Филипом Сидни, Уильямом Шекспиром.

² Иниго Джонс (1573–1652) — первый выдающийся английский архитектор нового времени, применивший правила и пропорции Палладио и Витрувия в таких постройках, как Дом королевы в Гринвиче, дом банкетов, спланировал площадь Ковент-Гарден, а кроме того, как сценограф создал около 500 декораций к театральным представлениям — «маскам».

Испытать на прочность всякий стремится,
Лавры, лунный свет, камень, материю, тисы;

С кем по договору и принуждёнью кумир
Заключил перемирие, если не мир.
С мертвыми, одетыми в камень — союз,
Требую прирожденных вождей, для уз,

Пожирателей тощих, кто ко всему готовы,
Некоторые научились, как всё начать снова.
Другие хранят верность любви (или верней,
Подобной любви вере), где множество вещей

Двигутся к выгоде под опекой вождей,
Объединяя свидетелей и голубей,
Вырыли из могил нагими одних,
Думавших не о прошлом, но о заботах былых.

МАЛЕНЬКИЙ АПОКАЛИПСИС

Гёльдерлин: 1770–1843

Внезапный искуситель; вынести он готов
Обновлений солнца первобытную ярость;
По выжженной земле ползёт рой раненых и храбрецов:
Этот стоит, храним от их ран: осталось

Великих солнц герметическое сиянье все же:
Обычная природа человека редкостью стала вдруг:
Гляди, ради блестящего холода его кожи
Переплавлен, став в огне совершенным, Бог.

ПОСЛЕ КУМ¹

Солнце выползло вновь, свежи цвета
Вечнозеленых и моющихся листьев лавров,
Которые не погибают, кажется, никогда,
Заслоня собой зевы пещер и немые гроты.

С начала времен в известном мире, шелуха
Скользит, множа эхо, трутся оси, и волны
Складывают на мелководных кромках обломки
Морской гнили и мусора, принесенного ветром;

А боги, о которых иногда забывают, путают
Бессмертье свое и краткий век смертных,
Навещая благочестивых и беззащитных — тех,
Кто странствует средь опасностей, им предначертанных,

¹ Кумы (греч. *Κύμη*, лат. *Cumaе*, также *Cyme*) — древнегреческая колония в Италии на побережье Кампании. Основана в середине 8 в. до н. э. колонистами с острова Эвбея. Кумы были главным центром распространения греческой культуры среди этрусков, римлян и др. италийских народностей. Значительного процветания и могущества достигли в начале 5 в. до н. э. Вблизи Кумы находился знаменитый грот, развалины которого сохранились, с оракулом прорицательницы Сивиллы. Кумы были главным центром греческого культурного влияния на Рим. Храм Аполлона со знаменитой кумской Сивиллой поддерживал связи с Дельфийским храмом. Известен тиран Кум Аристомед, современник Тарквиния Гордого. В 474 г. до н. э. Возможно, Хилл подразумевает эпизод истории, о котором повествует Аполлодор во II книге, описывая, как Гиерон I, придя на помощь Кумам, одержал под Кумами решающую победу над этрусками. В 421 г. до н. э. был захвачен самнитами и стал кампанским городом, в 338 г. до н. э. жители Кум получили статус римских граждан (без права участия в выборах), в 215 г. до н. э. город стал римской муниципией, а с эпохи Августа — колонией. В 338 до н. э. Кумы были завоёваны римлянами, получив позднее статус римского *муниципия*. В эпоху империи с расцветом гавани Путеол Кумы утратили своё значение. При императоре Августе (27 до н. э. — 14 н. э.) Кумы — Колония Юлия. Разрушены в 6 в. н. э. в войнах Византии с остготами (Словарь Брокгауза и Эфрона, Википедия).

Чья судьба проста: рисковать без нужды
Лишь бы не замерзнуть или сгорать,
Их след на простынях океанов — зарубцевавшийся шрам —
Являет им любопытнейшее из странствий.

ОДА НА ГИБЕЛЬ «ТИТАНИКА»

Процветая за фасадами, невежественное море
Затопляет бани, статуи, пустыри —
Древний сотрясатель земли, новый враг:
(«Опрокинуты столы менял»), смотри.

Тонет Вавилон в потрясении и напоказ;
Как толпы почитателей испокон веков
Заставляли его взмахи замолкнуть враз.
Все же ублажим немногословных богов.

ДОКТОР ФАУСТ

*Ибо нужно, чтобы преступления эти совершались,
но горе тому, кто совершит такое преступление.*

1. Наряд императора

Вот путь один из многих: божество
Дымящейся обвило крови ствол.
Как люди, боги восстают из гроба
Под рокот мелкой барабанной дроби.

Здесь непорочный лебеда наряд —
Обычная одежда. Не следят
Здесь ни за кем. Никто не уstraшен.
Не слышно крика (пусть невинен он).

2. Гарпии

Коварнейший покинут пир богов
Голодной стаей ненасытных ртов —
Меж всех псевдобогов мне эти тени
Милее тем, что нет в них вожделья;

На мертвые объедки наступив
Своих пиров, застынут вдруг в прилив
Пред сорванным Пловцам Предупрежденьем
И бурных вод теченьем.

3. Иная версия сказки

Не накроет невинных волной —
Как легенда, они живут,
Но волк, страшен и лют,
Дом их сравнял с землей.

Зверь убит, но восстать он смог,
От жирной крови окреп,
Ослепленный верует бог,
Что он вовсе не слеп.

ВОЗВЕЩЕНИЯ

1

Вернулось Слово из-за рубежа,
Где загорело средь глухих болот.
Когда убийством стало очищенье,
Награда ощутима и чиста
На ощупь, и вдали от грязных оргий,
От буйных тварей да икрометанья

(Полны пробирки нежною икрой)
Ищейки и целители довольны,
Вкушая мясо. Отложив такие
Сокровища, страстями плоть уняв,
Красуется душа; глаза влажны,
А те, кто совершенствуют себя
На арфе или скрипке, сладость жертвы
Вкушают благородными устами.

2

Любовь, ты в ежедневной мясорубке,
Ты отдана в залог для искупленья,
К благотворительности обратись,
Пойми, что плоть — лишь прах да нечистоты.
Распутницы и сыновья порока,
Умрите, как велит закон! Попрала
Обеты наши похоть чужаков.
Шатается по свету солдатня
И мрет в избытке. Избранные звери
Канавы сочной кровью наполняют.
Господь разит порок. Под властный зов
Священников и мучеников сонм
Идет: «Любовь, ты знаешь боль, будь зоркой,
Чтоб разглядеть порок в своих друзьях».

ЛЮДИ — ИЗДЕВКА НАД АНГЕЛАМИ

*Памяти Томмазо Кампанеллы,
священника и поэта*

Однажды из высокого окна
Тень в камеру падёт, чтоб разделить
Её со мной. Я вижу, как слизняк
От собственной же слизи очищает

Мерцающую впадину. Я слышу
Свои же собственные вопли, после
Они восходят к Богу — боль моя,
Любовь и правда, едкий свет и грязь.

Томиться, лежа в этой странной плоти,
Пока Мученье алчное заснуло,
Нажравшись столь легко доступной пищи, —
Есть временная радость, что превыше
Мирских забот. Однако нам
Приказано восстать, чтоб из безмолвья
Свой голос в тишине я мог создать.

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ»

*Памяти Робера Десноса,
ум. в Терезинском концлагере в 1945 г.*

Для чтения могу порекомендовать
Отцов Церкви. Как они
обуздывали грешную плоть:

приятное размышление: черви
аккуратно взбивают кровь
в молоко. Для упражнений — длительное

подавление весьма неправедных
речей из праведных могил.
Если земля разверзнется, рты

Разверзнутся ли также? «Я ничто,
если не буду спасён ныне же!» или:
«Христос, ну и пантомима!» Дни

недели — семь бездн. Гляди,
Господь, мы опять
возрождаемся, и судьи грядут.

МОЛИТВА СОЛНЦУ

Памяти Мигеля Эрнандеса

(1)
Мрак
надо всем
начинает
солнце
восход

(2)
Стервятники
приветствуют мясо
в полдень
(Ад
безмолвен)

(3)
Слепое Солнце
наш губитель
благословляет
наш сон.

ОВИДИЙ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ

non peccat, quaecumque potent peccasse negare,
solque famosam culpa professa facit.
(*Amores*, III, xiv)¹

Люблю свою работу и детей.
Далёк и сложен Бог. Случается любое.

¹ Тот не порочен, кто свою отрицает порочность, —
только признанием вины пятнается честь.
Ср.: Та не порочна еще, кто свою отрицает порочность, —
Только признанием вины женщин пятнается честь.
(*Овидий*, «*Любовные элегии*», III, XIV; пер. С. Шервинского).

Кровь древняя ещё на дне траншей.
Невинность — ведь оружие неземное.

Я научился одному: смотрю я с давних пор
На проклятых не слишком. Их слиться вере
С божественной любовью в высшей сфере.
Земной любви я прославляю хор.

ПАСТОРАЛЬ

Подвижны, непорочны, аскетичны
Все Милосердья, сунув пальцы в раны,
Осматривают раненых на смутном пограничье;
Искусно устранив Войны изъяны,
И в новых языках языковеды
Открыли, что синонимичны беды.

Мы празднуем открыто и легко.
Здесь Фурии, низринувшись, парят,
Над миром Мир храня, невысоко.
Нагие мертвецы за рядом ряд
Теперь зарыты. Выжившие бродят,
Любимых перекрашенных находят —

Знакомы, странны, идеальных черт основы
Бесценные прививкой возвращены!
И снова люди с целью двигаться готовы
Иль по течению плыть. Омрачены
Здесь лавром статуи; неувядающими именами,
Покровом скорби скрытых и гробами.

МОНОЛОГИ

1. Каменный человек, 1878

Чарльзу Козли¹

Припомни сейчас приметы детства:
Крапиву или чином старше бузину;
Камни, ожидающие на складе каменщика:

Полуузнанное царство мертвых:
Более глубинный пейзаж освещен
Дальними отблесками их странствий.

Ночью отец приносил на обуви глину в дом.
Он ставил ботинки на холодное железо
Камина; ел, пил, раздевался, спал.

Я наклонялся к лампе: бледные мошки
Бились о стекло, издавая осенние звуки.
Слова когтили мой ум, словно они пахли

Плотью откровения... Так с легкостью.
Которая страшна, я вызываю все.
Солнце ревет над опаленными роями.

2. Старый поэт с дальними почитателями

То, что я утратил, не было частью этого.
Темно-вспученные наперстянки, влажные ягоды
Мерцавшие в тени, маленькие папоротники и камни,

¹ Чарльз Козли (1917–2003) — известный английский поэт и писатель.

Кажущиеся фрагменты для наблюдательного ума
С ритуальной мощью. Старость
Выделяет их, словно впервые высвечивая,

Словно натюрморт, сохраняя какую-то часть
Пиршества души, сопровождал меня
Везде, чтобы висеть в странных комнатах,

Одиночество как оно есть. Если бы
Я знал точную цену воздаяния,
Можно было бы купить поражение,

Обрядовый безмолвный жест его знаков земли
У моего рта: как в великих песнях смерти
Проперция (хотя он умер молодым).

ВООБРАЖАЕМАЯ ЖИЗНЬ

Теряют мудрецы след скользких душ,
Что умирают еженощно — днём
Посасывают манну или кровь:

Те полуварвары, полуволхвы,
Их демоны или мороз пустынь
Ущербным видом бога соблазнили,

Заменой серафимов настоящих.
Змеится похоть, как тупой дикарь
И как природный яд самой земли.

И доблести жиреют на костях;
Гаргантюанских милосердий нюх
Учуял запах пота смертных, в страхе

Возлюбленную фуриями плоть
Здесь тащат к очищению и усладе.
Как будто *Finis*¹ — на челах у мертвых.

ТРИСТИЯ 1891–1938

Прощальное напутствие Осипу Мандельштаму

Мой сложный друг, им предпочел бы вас.
Но запечатав жизни, мертвецы
Таят от нас. Я опоздал. Сейчас
Для пыли туч, салютов, наглой меди

Уж поздно. Образы от запустенья
И горя пятятся... Руины на равнине.
Кто злобно смотрит на руки, кто рыщет,
Ища во поле придорожном пищу.

Трагедии подвластно все. Она
Нас не коснется, но всегда на страже —
Как безупречна, так и ненасытна, —
Идя к концу, пирует небо лета.

¹ Конец (*лат.*).

Александр ФЕЙГИН

(Филадельфия)

Переводы итальянской поэзии

XX и XXI веков

Карло Бордини

(1938–2020)

Жил в Риме. Автор многочисленных поэтических книг. Преподавал современную историю на кафедре исторических исследований Римского университета Ла Сапиенца, где специализировался на истории Корсики XVIII века и истории семьи и любви. Участвовал во многих поэтических фестивалях по всему миру. Его произведения переведены на несколько языков. На русский язык ранее практически не переводился.

ДЕВУШКА...

В моём доме живёт девушка и говорит, что она моя жена,
она и ведёт себя как жена, обнимает меня,

говорит, что любит меня,

и выглядит как жена,

она похожа на тех милых жён из телевизионной рекламы,

которые ходят по подиуму в разных платьях,

а еще она всегда улыбается,

говорит, что мы женаты

и целует меня.

[она очень добрая].

Я и в самом деле помню, что мы были женаты когда-то,
но тогда я не знал, что это будет надолго.

Порой я думаю, что мы когда-нибудь поженимся,
но тут выясняется, что мы уже женаты,
и я вспоминаю, что мы и вправду знакомы около двух лет,
она говорит, что влюблена, что мы влюблены.

ОЖИДАНИЕ

Не могу спать, ем мало,
начинаю разговаривать сам с собой,
не решаюсь пойти туда,
где мы ходили вдвоём,
возвращаюсь домой в надежде найти
записку от тебя,
при каждом шорохе на лестнице
представляю, что это ты,
думаю о тебе весь день
и часть ночи,
стискиваю челюсти уже
больше месяца,
ловлю себя на том, что улыбаюсь по ночам,
говоря с тобой, которой
здесь больше нет.

СОН ЕЛЕНА

Мне снилось, что я умерла, но всё еще хожу
по комнате, по дому,
гадая, не началось ли уже моё разложение,
и заметят ли его другие.

Потом меня начало беспокоить,
чувствуется ли уже запах или пока нет;
еще я боялась, что обвиню кого-нибудь
в своей смерти.

МЫ, ПОКА НАШ ДОМ РУШИТСЯ

Мы, переживающие начало краха человеческой
цивилизации,
мы беспокоимся о смене обоев
и полировке мебели,
пока наш дом рушится, мы вступаем в нелепые споры
с портье
и строим планы по замене замков в наших домах,
наши дома разваливаются, но мы стараемся
их украсить,
потому что домашним животным нужна уютная
обстановка.

МАРИНА

Море каждый день заходит в мой сад.
Оно окружает камни и заодно, одним махом
омывает ещё зелёные апельсины.
Много лет я видел, как оно рыдает и,
воздев свои гребни, обрушивается на песок,
раскрываясь крыльями пурпурного и алого цвета,
суровое и роскошное в своём далёком шепоте.
Солнце убаюкивает цикад.
Белые и наивные, блуждают облака.
Вот что я думаю, когда созерцаю
сияющие образы полудня:
пчела над прибрежным виноградом
в экстазе всасывает его пурпурный нектар,
опьянённая сладким небесным сном.

САМОУБИЙСТВО

Ничто живое больше меня не заинтересует.
Будет так, как будто я никогда не родился —
именно то, о чём я всегда мечтал.
Я ничего не вспомню.
Я даже не вспомню, как умирал.
Я никогда не узнаю, что был когда-то жив.
И я не узнаю,
что любил тебя.
Другие будут поражены.
Они не смогут этого понять
и будут спрашивать, почему.
Если я буду хорошим,
то просто не замечу, как ушел.
Я даже не вспомню, как написал это стихотворение.

ШЕСТВИЕ

Они возвращаются домой,
слегка прихрамывая, грустные,
и к концу шествия действительно очень усталые,
с царственной, печальной походкой,
полной аристократизма, потому что
даже если шествие уже мертво,
их походка всё ещё волшебна.
В тишине и
одиночестве,
плача,
слегка прихрамывая, уже тёмным вечером,
но их аристократизм виден,
даже если нет зрителей.

Фабио Пустерла (Лугано)

Фабио Пустерла (род. 1957) — поэт, пишущий по-итальянски в Швейцарии. Окончил университет в Павии, защитив дипломную работу по итальянской диалектологии. Преподает в Лугано, в Итальянском швейцарском университете и в лицее. Автор многих поэтических книг.

ПЕСОК

Ты не знаешь, но по ночам я часто просыпаюсь,
долго лежу в темноте
и слушаю, как ты спишь рядом, будто собака,
на берегу, у медленной воды,
из которой тенями и отражениями
вылетают тихие бабочки.
Прошлой ночью ты говорила во сне,
почти стонала, упоминая о какой-то стене,
слишком высокой, чтобы спуститься к морю.
Эту стену, сияющую вдалеке, могла увидеть только ты.
Я в шутку прошептал тебе, не волнуйся,
не больно она высокая, мы запросто сумеем это сделать.
Ты спросила,
внизу нас ждет что,
песок или черная скала?
Песок, ответил я, песок и,
наверное, в твоём сне
мы спрыгнули.

С БЕРЕГА VIII

Тех, кто смотрит на море,
с каждым днем становится больше,
они вечно куда-то несутся и даже у моря
частенько остаются сидеть в машине,
едва приоткрыв окна.

Кое-кто из них всё-таки выходит,
медленно курит, облокотившись на перила.
Полчаса, час. Когда как. Потом снова отправляется в путь,
аккуратно стряхнув песок с одежды.
И всегда остается какой-то след
в самом неожиданном месте — под воротником,
за ушами, иногда на веках.
Случается, что некоторые потом не знают,
куда они ездили, и еще меньше, зачем.

ИСКУССТВО ПОБЕГА

Сопrotивляйся всему, беги. Делай это не во имя
чего-то. Имена оставь
очередным создателям флагов.
Давай, мышонок: пора.
Смотри: это лес, а это
банка консервная. Это река.
С моста ты видишь очень белый город
и лужу запекшейся крови. И годы,
годы на черных своих конях. Город
создан из извести и гипса, из молчания.
Осторожней, здесь ступенька,
побег — другой дорогой.

* * *

Счета с прошлым? Наверное, уже слишком поздно.
Всё: переломы, раны, сожаления,
сгорело на берегу той последней реки
перед бродом, где заканчиваются дороги.
Последняя река, последний огонь —
и в пламени пляшут
удостоверения личности, лица друзей и врагов.
Простив протистительное, человек идет налегке.

Гвидо Каталано

(Турин)

Гвидо Каталано (род. 1971) родился и всегда жил в Турине, городе, к которому сильно привязан. Писать он начал еще в школьные годы. После окончания средней школы он поступил в университет на факультет современной литературы. В 2000 году опубликовал свой первый сборник «I cani hanno sempre ragione» («Собаки всегда правы»); В 2016 году он опубликовал свой первый роман «D'amore si morì ma io no» («Ты умираешь от любви, а я нет»), частично автобиографический. Ниже представлены переводы его стихов из сборника «Piuttosto che morire m'ammazzo, Mondadori», 2024 («Скорее я убью себя, чем умру»).

SBR¹

что мне нравится,
так это вкус поцелуя молодой девушки,
почти всегда вкус поцелуя молодой девушки —
это одна из самых прекрасных вещей,
вкус поцелуя молодой девушки
сделан из тумана и цветка,
я не знаю, какого цветка,
может быть, этого цветка и вовсе не существует,
он, поцелуй, влажный, мягкий и сладкий,
он — дикий,
да,
есть что-то дикое, туманное и сладкое
во вкусе поцелуя молодой девушки,
а еще есть аромат духов,
и конфетный аромат,
но не конфет, которые продаются в кондитерской,
это аромат конфет, который ты можешь найти
только на губах целующей девушки,

¹ SBR — sapore di bacio di ragazza, вкус поцелуя молодой девушки.

тебе придется закрыть глаза,
чтобы хорошо распознать
вкус девичьего поцелуя,
ты должен закрыть глаза
и ты почувствуешь его,
вкус девичьего поцелуя не похож на вкус ни мёда,
ни сахара, ни молока,
если что-нибудь из фруктов, то это
фрукт, состоящий сразу из множества фруктов,
фрукт,
который тебе не найти на рынке
виноград? — спрашивал бы тебя зеленщик,
гранат? — спрашивал бы он тебя,
яблоко?
нет, фрукт на вкус, как поцелуй молодой девушки,
но фрукт, который ты, зеленщик, не можешь найти,
вкус девичьего поцелуя,
он и потом остается на губах,
даже спустя много минут,
даже спустя много часов,
дней, если тебе повезёт,
вкус девичьего поцелуя,
он тебе никогда не надоест,
лучшего вкуса нет на свете.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

дерево смотрит на меня и
смеётся,
река смотрит на меня и
смеётся,
небо смеётся, глядя на меня,
а ещё гора
и лошадь,
они смеются,

прислоняюсь к стене —
она смеётся,
вилка смеётся, когда я накручиваю на нее спагетти,
и даже спагетти смеётся,
я смотрю на солнце,
солнце смеётся и облака смеются,
птицы смеются,
хлеб смеётся, когда я отламываю кусок,
смеётся бездомная собака,
смеётся собака на поводке,
смеётся охотничья собака,
кот смеётся, когда я глажу ему спину,
я завязываю шнурок, и тот смеётся,
смеётся туфля,
сигарета смеётся, когда я зажигаю её спичкой,
и спичка тоже смеётся,
мои очки смеются,
мои зубы смеются, пока я их чищу,
зеркало смеётся, когда я смотрю в него,
твои глаза смеются,
улица смотрит на меня,
смеётся,
светофор смотрит на меня,
смеётся,
смеётся по ночам, глядя на меня,
тоска
и стакан,
он тоже смеётся,
я не смеюсь.

ИДУ, ИДУ

Ночью мне не уснуть, я смотрю, как ты спишь,
и думаю, какой я везучий, ведь дано же мне,

чтобы ты лежала в постели, такая белая,
голая, пахнущая фруктами, хлебом и мылом,
с черными волосами, которые, если я придвигаюсь,
щекочут мне нос, а волосы твои тоже
так замечательно пахнут.
И пока спишь, ты говоришь во сне,
но я не понимаю, что тебе снится, потому что
шепчешь ты на языке лесных эльфов.
Я смотрю на тебя, свернувшуюся калачиком в постели.
Мне кажется, ты видишь хороший сон,
если он станет хуже, я разбужу тебя поцелуями,
не волнуйся, я караюлю тебя и спать не хочу,
мне так нравится смотреть на тебя между этими
красными простынями, контрастирующими
с твоим белым обнаженным телом ночью в постели.
А вот и свет,
свет начинающегося дня,
свет и птицы,
птицы, что воспевают день приходящий,
и прощаются с уходящей ночью.
Ранним утром день входит в нашу постель,
освещая нас своим светом,
ослепляя меня
белизной твоей кожи.
Во сне ты переворачиваешься.
Краями губ я легко касаюсь кончика твоего носа
и тихо тихо встаю,
тихо тихо иду,
иду, прихожу на кухню
и варю нам
кофе.

БЬЯНКА

Она любила спать допоздна,
ей нравились стихи о любви,

особенно поэтов девятнадцатого века,
умерших молодыми, возможно,
из-за болезни легких,
а еще хрустящая еда,
кладбища,
устрицы,
короткие платья,
моя борода,
мой живот,
изготовление сигарет вручную,
а когда я спросил её:
Хочешь быть моей маленькой рыжеволосой девочкой?
она ответила:

Сначала мне нужно покраситься в рыжий цвет, а потом
тебе нужно стать более застенчивым со мной.

А что, я не кажусь тебе достаточно застенчивым?
спросил я,

совсем не кажешься,
но ведь у меня круглая голова, сказал я,
правда, признала она, но в тебе не хватает бешеной
собаки.

Мы много болтали,
особенно в ночное время.

Она терпеть не могла сахара в кофе и
отсутствия доброты в людях,
она всегда хотела играть в настольный футбол,
хотя играла очень плохо и сердилась на меня.

Она говорила, что я ей нравлюсь, потому что я забавный
парень.

Я притворялся злым, но был счастлив.

Она любила спать допоздна,
ей нравились стихи о любви,
особенно, когда в стихах говорилось о ней.

Габриэле Галлони (1995–2020)

Молодой поэт Габриэле Галлони ушел из жизни в возрасте двадцати пяти лет. Он был провозглашен в Интернете одним из «лучших поэтов своего поколения», несколько писателей и коллег, близко его знавших, помнят его замкнутый образ жизни, его тягу к теме смерти и «хроникам конца».

* * *

Я знал человека, который гадал
по руке мертвым. Он предпочитал тех
кому меньше двадцати лет:
каждое воскресенье в морге
он предсказывал им
координаты другой жизни.

* * *

У мертвецов носы становятся тоньше
Когда мертвецы тебе снятся,
носы они прикрывают.
Увидеть, как они проходят мимо с закрытыми лицами
из коридора в ванную или на кухню — это нормально.

* * *

Мертвые пытаются нас утешить
но их попытки непонятны:
это промахи, спотыкания, невнятные
разговоры. Они знают, как одной рукой любить Нас,
а другой — Невидимое.

* * *

Мертвые пишут
бесконечные любовные письма.
Они посылают их ранним утром.

* * *

Мертвые верят в судьбу
Глубокой ночью они взбираются на деревья
твоего сада; ты находишь их на рассвете
не знающих, как слезть с ветвей.
Ты их видишь; они тебя — нет. Ты их зовешь —
они тебя не слышат. Ты им помогаешь — они спускаются.
Каждую ночь они возвращаются и всё забывают.

Дария Мениканти **(1914–1995)**

Дария Мениканти, одна из забытых итальянских поэтесс, достойных того, чтобы её имя было открыто вновь. Дария Мениканти окончила классическую школу Джованни Беркета в Милане в 1932 году и поступила на факультет литературы и философии, окончила его в 1937 году, защитив диссертацию по анализу поэтики и поэзии Джона Китса. В 1964 году она опубликовала свой первый сборник стихов «Città come» («Город как»), за который в 1965 году получила премию Кардуччи. За ним последовали «Un nero d'ombra» («Чёрная тень») (1969) и «Poesie per un passante» («Стихи для прохожего») (1978). Умерла от рака горла в доме престарелых в Моццате, провинция Комо, в 1995 году.

КРЫША

На рассвете — уже ноябрь — а я всё ещё слышу
маленьких синих голубков, кричащих из своих гнёзд
тонкими голосками,
и их пылких отцов, шныряющих
на пурпурных когтях вверх и вниз
по цинку выпуклых карнизов,
и любовные поединки,
и изощренные мучения,
и неустанное воркование.

* * *

После долгого молчания
он приходит ко мне издалека,
праздничный, громкий оркестр
из рифм и созвучий.
И я бегу ему навстречу,
счастливая,
до следующего поворота.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА ДЛЯ ДЖУЛИО

Я пишу тебе не поэтому. Я хорошо
понимаю, как это бывает, я тоже пишу
тебе только сегодня с пожеланиями по случаю
и не спрашиваю, почему ты не отвечал
до сих пор на мои письма. Я знаю,
как это происходит: откладывается,
откладывается на неопределенный срок,
пока человек перед тем, как умереть самому,
не умрет в других.

ПОЧТИ

Я почти затаила на него обиду.
За его уход украдкой,
за затуманенный взгляд,
я его уже ненавижу.
Не убегай от меня, умоляю,
не уходи так из своего дома,
не уходи из моих воспоминаний.
Дорогой, если ты меня покинешь,
где ты будешь жить?
Кто тебя согреет?



ПРОЗА



Марина ПАЛЕЙ

(Роттердам)

СЧАСТЛИВАЯ ДЕРЕВНЯ

(цикл рассказов)

Солнечное сплетение

1

— У меня в июле был отпуск. Я ездил в Румынию. О-о-очень красивая страна. Но люди немножечко бедные.

Наша встреча называется «бизнес-ланч». Что немного странно, ибо никакого бизнеса у меня нет и быть не может. У меня даже гульдена за душой нет. Но зато мой визави — бизнесмен. Он регулярно даёт деньги некоему некоммерческому Фонду, который должен помогать «свободным художникам». Вот на террасе того Фонда мы и сидим.

— У меня в июле был отпуск. Я ездил в Румынию. Люди немножечко бедные. Но о-о-очень красивая страна.

Я только киваю, ибо не знаю, как мне реагировать на столь ошеломительные сведения.

— Может быть, по-английски?

Он полагает, что я не понимаю на голландском всех оттенков его искромётной речи. Наверное, вид у меня неприговорно тупой.

— Нет-нет, — выдавливаю «улыбку». (Дескать, не беспокойте себя, не стоит напрягаться.)

Но он говорит по-английски (с сильным голландским акцентом):

— У меня. В июле. Был. Отпуск. Я. Ездил. В Румынию. О-о-очень. Красивая. Страна. Но! Люди. Немножечко. Бедные.

На этих словах я давлуюсь мятным чаем. Рукой показываю: ничего страшного! Да, это, конечно, великое умение — проговорить полчаса ни о чём. Мне это умение не даётся. А у него — как будто курсы с отличием окончил. Да, курсы... Как сказала мне однажды одна американка: «Всем вам, русским, надо проходить за кёрс оф смайлинг». Я ещё подумала тогда: а при чём тут русские? У меня — скорбь иудейская. Накопилось как-то всего... Но сейчас, сидя напротив этого тупого мешка, я думаю, что скорбь у меня вполне вненациональная — она резко классовая, как Маркс учил.

Мешок рассматривает фотографии моих книг, но эти фотографии ему ни о чём не говорят. Да и книги не сказали бы больше. Господи, почему я не умею исполнять танец живота?! Богатый дядя смотрит на меня глазами, похожими на бельевые пуговицы. Сейчас он уже не знает, что сказать. Видимо, с первого же взгляда на меня он решил мне в стипендии отказать. Просто потому что я не совсем такая писательница, какую он предполагал лицезреть. Может, он воображал красотку в духе «маленькая трепетная тростиночка-блондиночка, которую надо защищать своим телом от порывов ветра». Бррр! Где эту галиматью я вычитала?!

Решил-то он сразу, а говорить надо полчаса: так по расписанию.

— О чём же вы пишете? — снова переходит на нидерландский.

Так спрашивают все они. Видимо, считая, что человек пишет исключительно по чьему-то заданию. Причём имеет строго узкую специализацию. Например: только про планктон. Причём только про фитопланктон — и никакой иной. Или, скажем, только про особенности размножения вислouxих черепах. Как ни крути, а какая-то профессия в руках. Они ни за что не могут поверить, что видят перед собой со-

чинителя в чистом виде. Живого, настоящего. Они понимают, что сочинители существуют: ведь лежат же чьи-то книги в магазинах. Но они не могут поверить, что видят идиота-сочинителя собственными глазами. Такая форма авантюризма лежит далеко за пределами их мироздания.

— Наверное, про животных? — подсказывает он. Слово читает мои мысли.

— Что-то в этом роде, — говорю.

Ох, почему бы мне раз навсегда не выучить эту формулу?

— Я подумаю, — говорит он, вручая мне свежий букет разноцветных буклетов.

Встаёт, добавляет:

— Прекрасного вам денёчка!

2

— А вы — куда ездили в отпуск?

— Предпочла остаться в Нидерландах, — важно говорю я. Со смысловым упором на «предпочла».

— Это хорошо. Нидерланды — красивая страна.

Йоланда, сотрудница Фонда, сидит передо мной на террасе Фонда. Точнее, я сижу перед Йоландой. Так требуется по протоколу «бизнес-ланча», который продолжается. У меня уже нет сил, но он продолжается.

— Нидерланды — красивая страна, — повторяет она. — Вы согласны? — она, видимо, считает своё утверждение слишком дерзким.

— Да, конечно.

Обмен «улыбками».

— Но и здесь, я вас уверяю, не рай на земле, — что-то меняется в её лице. Она говорит неожиданно быстро:

— Положение ваше не блестящее. Я бы посоветовала вам вернуться в вашу страну.

— У меня здесь вид на жительство, — тоже быстро говорю я.

— Ну и что? — быстро говорит Йоланда.

— А то, — быстро говорю я, — что иммиграционный адвокат, когда вручала мне вид на жительство, сказала: «Мы даём вам вид на жительство именно как писателю. И не вздумайте наниматься посудомойкой. Посудомоек нам и без вас хватает».

— Так может, — быстро говорит Йоланда, — вам обратиться за стипендией именно к иммиграционному адвокату?

Наступает тишина. Я, мысленно, поздравляю себя с тем, что живу в этой стране достаточно долго: научилась улавливать их специфические регистры хамства.

3

— Да, у вас вид на жительство, — наконец говорит Йоланда, — но я же знаю его условия. Перечислить?

Я молчу.

— Во-первых, он временный. И постоянный вам никто не даст, потому что постоянный — требует постоянного трудового контракта. А какой у вас может быть постоянный трудовой контракт? Смешно. Во-вторых, в бумагах (она достаёт копии моих документов) чётко сказано: у вас нет разрешения на работу в течение трёх лет! Как вы собрались жить? В-третьих, здесь сказано, что вы и за границу-то не имеете права уехать на работу в течение трёх лет! Правильно? Как вы будете жить? В-четвёртых...

— Не надо, — говорю я.

— Надо, — говорит Йоланда. — Вы не имеете права ни на что. Ни на бесплатные курсы нидерландского языка, ни на социальное жильё, ни на один цент в качестве «подъёмных».

— Знаю, — говорю я.

— Нет, я уточню, — говорит Йоланда. — Разумеется, если вы обратитесь за финансовой помощью, вам эту помощь окажут. У нас ещё никто не умирал от голода! Но...

— Но после этого вид на жительство мне не продлят, — чётко говорю я, потому что всегда была отличницей. В обоих институтах.

— Именно! А самый... самый, я бы сказала, пикантный пункт — заключительный, — Йоланда надевает очки. Читает: — «Для ежегодного продления вида на жительство вы обязаны предъявлять финансовые документы, из которых следует, что ваш заработок равен среднестатистическому заработку в Нидерландах». Противоречия с пунктом запрета на работу не видите?

— Они, наверное, думают, — говорю, — что я — коммерциализованный писатель. Ну, всякая чушь для милых дам... Или, может быть, что у меня есть «a family money»...

— Ну, дадим мы вам стипендию на месяц, а что дальше?

Тут внезапно включается отбойный молоток. Рабочие ремонтируют тротуар, прямо перед террасой.

— Как вы могли согласиться на такие условия?! — Йоланда старается перекричать грохот.

— Я согласилась бы и на худшие!!! — кричу я.

— Вы же здесь сойдёте с ума!!! — кричит Йоланда.

— Вы не знаете мою страну!!! — кричу я.

— А я вам говорю: уезжайте назад!!!!!! — орёт Йоланда, и лицо её от натуги делается багровым. — У вас же здесь никого нет!!!!!! Где вы возьмёте деньги????!! Вас всё равно депортируют!!!!!! Уезжайте в свою страну!!!!!!

А потом отбойный молоток подходит совсем близко, и я вынуждена долго смотреть на багровое лицо чиновницы, которая беззвучно открывает рот.

4

Целый день я слоняюсь по Амстердаму. Это страшный город. Хорошо идиотам-туристам видеть его иначе. Наступает ночь, я не знаю, куда идти. Светит реклама «Нарру Chen». Я достаю из кармана глянцевые буклеты, которые мне сунул денежный мешок. Очень красивые разноцвет-

ные буклеты. Похоронный полис. Сезонная скидка на Биг Мак. Десятипроцентная скидка на туалетную бумагу «Лучший друг». Снова похоронный полис, уже другой компании. «Идеал»: чистящее средство для унитазов.

Резкая кинжальная боль в животе сгибает меня пополам. Я не могу разогнуться. Медленно, в пару приёмов, разгибаюсь, чтобы сделать осторожный вдох. И снова — кинжальный удар в солнечное сплетение.

— Передоза, моппи? — говорит афроголландец. А может, просто африканец, что скорее всего. — Пойдёшь со мной в сквот?

— Пойду, — говорю я очень тихо, потому что кинжал сидит там же.

Но африканец слышит. Он даёт мне руку, и я медленно, очень медленно разгибаюсь. Мы медленно идём по окраине. Доходим наконец до заброшенной школы. Входим в пустой класс, где лежит несколько голых матрасов.

— Это всё — моё! — говорит африканец с гордостью. Эхо удваивает его фразу.

— Дай воды, — тихо говорю я.

Он даёт мне стакан воды, я пытаюсь сделать глоток, но дикая боль швыряет меня на пол, стакан вылетает из рук. Я катаюсь по мокрому полу — молча. А он молча смотрит. Может, и с досадою смотрит. Любовница из меня этой ночью — никакая.

07.09.2018

Про медсестру и английского дога

1

— Понимаете, — говорит мне чиновник, — вам надо где-то ночевать! Причём уже этой ночью! А очередь в сквот для художников — восемь месяцев.

— Так это же не очередь, — говорю я, — это ваша Комиссия-по-Искусству определяет восемь месяцев: писатель я или нет.

— Правильно будет назвать эту очередь — «лист ожидания», — говорит другой чиновник, его коллега. При этом он изображает смущение протестанта.

— Но для чего, — говорю я, — вашей Комиссии-по-Искусству нужно целых восемь месяцев?

— Меврау, вы же не можете не понимать, — говорит первый чиновник, — что к нам съезжаются писатели со всего мира! Вон — только сегодня — Гамбия! Мадейра! Свазиленд! Это не считая Китая... А, кроме того, и написали вы, честно говоря, немало.

— Да, — второй чиновник льстиво переводит взгляд с меня на коллегу, — ты подумай, какой у неё список публикаций... невероятно...

— Да дело не в списке! — вдруг свирепеет первый чиновник. — А в том, как отличить искусство от неискусства! Вот вы знаете это, меврау? Скажите — как?

И мне нравится, что он совсем не политкорректен. Что-то человеческое.

2

— Ты знаешь... — робко вмешивается второй чиновник, — я бы сказал...

— Да мне неинтересно, что бы ты сказал! Мне интересно, что скажет она! Она же к нам пришла, а не ты! Ты бы сюда не пришёл... но дело не в этом... Да, так вот эта серия покетбуков «Монашка и английский дог», — это, по-вашему, искусство или нет?!

— Герард, — застенчиво уточняет второй чиновник, — сейчас эта серия называется «Медсестра и английский дог»... Про монашку и дога было лет пять назад... Я ещё в университете читал. (Смущённая улыбка протестанта.)

— Кейс, но ведь это одно и то же, а? — говорит первый чиновник.

— Совсем не одно и то же, Герард, — говорит второй.

Мне кажется, на пару секунд они забывают обо мне. Какое счастье. Можно расслабить правую руку. Которая из всех сил, до боли, сжимает кожу на бедре. Так надо, чтобы не закричать. Только б не закричать! Потом на бедре — синяки. Всё бедро у меня — в красных, зелёных и чёрных синяках. В жёлтых, в лиловых... Много чиновников, много.

3

— Меврау, вы можете ответить на мой вопрос? — первый чиновник.

— Про монашку и английского дога?

— Про медсестру и английского дога, — уточняет первый чиновник.

— Ну, про медсестру и английского дога, — говорю я, — можно написать по-разному...

— То есть?! — вскидывается первый чиновник.

— Вы понимаете, что там про секс?.. — второй чиновник опускает глаза (смущённая гримаса протестанта).

— Да понимаю я, — говорю, — чего уж там не понять...

— Ну — и?

— По-разному можно про секс написать. Особенно, если про монашку... про медсестру и английского дога.

— Я вас спрашиваю, меврау, — напирает первый чиновник, — искусство это или нет?! Как, по каким признакам мы должны определять?!

— И как наша Комиссия-по-Искусству может разобраться с этим быстрее, чем за восемь месяцев? (Второй чиновник, гримаса смущения.)

4

Вот хорошо, что я не отращиваю ногтей. Иначе на моём бедре были бы рваные раны. Впрочем, какая разница?

— Думаю, что про монашку и английского дога, — говорю я, — это искусство. Просто другого направления. Искусство зарабатывать деньги. И к вам эти авторы ведь не ходят, так? Им ведь не нужен сквот! У них — особняки. И ваша Комиссия-по-Искусству ими сроду не занимается. Члены Комиссии знают про монашку, и медсестру, и английского дога только потому, что тайком читали про них в университетах, когда слушали лекции о Канте и всякой прочей лабуде. Слушали как бы про Канта, а мастурбировали про монашку... то есть про дога...

Этот монолог я мысленно произношу на улице. Денег на метро у меня нет. И на трамвай нет. Но какая разница, на какой транспорт их нет, хотя бы и на личный вертолёт. Лететь некуда.

06.07.2018

Отто, бельгийский барон

1

Этот старомодный запах мужской парфюмерии я уловила, лишь только стал слышен скрип лестницы. Я нервничала, обоняние обострилось. Чтобы попасть ко мне на чердак, этот человек должен был преодолеть шесть — практически вертикальных — лестничных маршей. Поскольку моя нога пребывала в гипсе, я спускалась по этой лестнице, сначала сбросив костыли, а потом съехав на чреслах — как с детской горки, только осторожней. Поднималась же я обратным порядком: сначала забрасывала костыли на очередную площадку, а потом ползла. Но это было моим частным делом, я к нему привыкла. Однако появление человека, надушенного сентиментальной парфюмерией, — человека, который направляется на этот чердак, — породило во мне огромное беспокойство — и я бы, что называется, «заметалась», кабы могла сделать это физически.

Меня сбил пьяный водитель, живший до того на Островах Зелёного Мыса. С той самой минуты, когда на место происшествия прибыли полиция и амбуланс, заработала нидерландская бюрократическая машина. Иисус Навин останавливал солнце, но утверждаю, что сделать то же самое с нидерландской бюрократической машиной он бы не мог. Я слышала про голландцев, которые, вступив с этой машиной в искренние отношения, становились невротиками. Вот они возвращаются с работы — и возле почтовых ящиков их швыряет в дрожь. Прямо с порога они кидаются отвечать на опросные анкеты, на предложения альтернативных компаний о сниженной оплате газа, электричества, воды, на извинения коммунального отдела мэрии, где поясняют, что уличный бак для мусора может быть передвинут на полметра — и спрашивают, согласны ли вы с таким неудобством. Машина эта работает словно сама по себе, а людей затягивает в воронку, причём с обеих сторон. Если эту машину подкармливать, то после одного вашего ответа вам придёт уже три письма, а после ваших трёх — придёт уже такая куча писем, что разумней всего её выбросить.

...Когда после больницы я вернулась на чердак, то увидела на полу Джомолунгму разноформатных официальных конвертов; мне даже трудно было пробраться к матрасу.

Кто утверждает, что в Европе можно прожить на английском, те либо не жили в Европе, либо являются сознательными дезинформаторами, либо уж, ненароком, умудряются заключить брак с богатым доверчивым аборигеном. Опираясь на личный опыт, скажу, что прожить на английском неплохо удаётся в Великобритании. К моменту, когда в Роттердаме меня сбил «Мерседес», я знала всего два нидерландских слова: одно было «mierenneuker», второе —

«gerechtsdoorwaarder». И первое означает «ёб@рь муравьёв», то есть педантичный зануда, а второе — «судебный исполнитель». С такими познаниями я не решалась открыть ни один конверт.

4

О бароне заговорила со мной одна из жительниц этого дома, которая для всего подъезда устроила грандиозную пирушку в честь своего развода. Ну, «грандиозная пирушка по-голландски» означает тарелочку с канапе на двадцать человек и пластиковый стаканчик с алкоголем — его надлежит держать в руке, три часа говоря ни о чём. То есть мне не было никакого резона спускаться с моего чердачного Олимпа в эту долину скорби. Однако (описанным выше способом) я это сделала, поскольку отчаянно искала кого-то, кто бы помог мне с письмами. Я надеялась, что в этих письмах не будет рекламы стирального порошка — а будут описаны таинственные механизмы выживания в чужой стране после жестокой физической травмы.

5

Моё появление там на костылях вызвало активную положительную реакцию со стороны новоразведённой, ибо голландцы высоко ценят «социальное поведение». И она рассказала мне, что, работая в больнице волонтером, познакомилась с Отто ван (фамилию опускаю), бароном из Брюсселя, который был сбит на велосипеде и получил, как она выразилась, «те же самые, как ты, повреждения опорно-двигательного аппарата». Также она сказала, что этот человек преисполнен самых добрых помыслов, а времени у него навалом. И обещала ему позвонить. (Как я сейчас понимаю, во всякой разведённой женщине, будь она хоть трижды эмансипированная голландка, просыпается мстительная сваха.)

...Барон оказался среднего возраста, хорошего роста, от- лично сложен; вдобавок на нём были не джинсы и футболка, в каких ходят современные принцы, а самый что ни на есть пиджак — светлый твидовый пиджак в нежно-голубую клетку — под цвет глаз и брюк. Меня добил кружевной голубой платочек в его верхнем кармашке — под цвет глаз, брюк и клетки. Белокурые волосы барона были уложены волнами, как у барашка, — а русые брови стояли удивлёнными доми- ками. В целом, у него был (ненавистный мне) вид человека, постоянно обескураженного каким-то небывалым счастьем. Говоря предметно, барон обладал лицом идиота, который нон-стоп рекламирует на ТВ неведомый доселе соус к котле- те. И этот соус к котлете делает его таким счастливым, как не делало ничего из встреченного им до соуса.

Он вошёл и сказал:

— Я занимаюсь благотворительностью. Как велит мне мой христианский долг.

«Что ж? — подумала я. — Христос входил к прокажённым». Тут надо понять, что ко мне на чердак, где разве что летучие мыши не водились, не входил ни один человек. Даже заказные письма почтальон бросал, не входя, а про- сто зашвыривая через щель. И вот — целый барон. Это бы- ло примерно так же, как если бы ко мне, когда я ещё вери- ла в Деда Мороза, — явился Дед Мороз.

И, видимо, я бы сильно струхнула от ситуации в целом, если б не это дурацкое выражение баронского лица. Кото- рое перечёркивало всё сразу. Новоразведённая сказала мне, что барону будет, наверное, поздно возвращаться в Брюссель, но что он человек демократичный, и потому его можно оставить ночевать у себя. (Не понимая во всей полноте, что значит в моём случае «у себя».)

Я сказала:

— Спать будете вон на том матрасе.

Он сказал:

— Прекрасно! Превосходно! — с неизменным выражением человека, рекламирующего соус.

Мы сели за шаткий столик, и я открыла первое письмо. Там была анкета.

В это время Отто спросил:

— А где я буду спать?

Я повторила:

— Вон на том матрасе.

И он снова сказал:

— Прекрасно! Превосходно!

— Марина, когда вы родились?

Ответила.

— В какой стране, в каком городе?

Сказала.

— Состоите ли в браке, не состоите, вдовствуете или разведены?

Разведена, говорю.

— Есть ли у вас дети?

— Есть.

— Сколько?

— Один.

— Проживает ли ребёнок с вами?

— Нет. Он за границей.

— Какое у вас образование?

— Два высших.

— Какой у вас источник дохода?

- Никакого.
- Номер банковского счёта?
- У меня нет счёта.

10

Я открыла второе письмо, там снова оказалась анкета. Другого цвета, на другой бумаге и с другим типом шрифта. Порядок вопросов был тоже немного другим.

- Какой у вас источник дохода?
- Никакого.
- Есть ли у вас дети?
- Есть.
- Сколько?
- Один.
- Проживает ли ребёнок с вами?
- Нет.

11

Открываю третье письмо. Анкета.

- Марина, когда вы родились?
- Отвечаю.
- В какой стране, в каком городе?
- Говорю.
- Какое у вас образование?
 - Два высших.
 - Какой у вас источник дохода?
 - Никакого.

Тут я начинаю понимать, что у этого человека полностью разрушена оперативная память. Эта новоразведённая женщина не могла знать всей глубины его повреждений. Какой там «опорно-двигательный аппарат»! Я незаметно присматриваюсь — и вижу под его светлыми волосами характерный шрам от трепанации.

Слышу голос Отто:

— Марина, где вы родились?

Тихо задвигаю ногой пластиковый пакет с конвертами под стол. Говорю:

— Ну вот мы и закончили! Спасибо!

Отто говорит:

— Прекрасно! Превосходно!

И смотрит на меня своими счастливыми голубыми глазами. Это глаза существа, которое ежесекундно рождается вновь. Оно не накапливает опыта. Чистые эти глаза смотрят на меня с неземной добротой и нежностью. В их небесах порхают не осознающие времени ангелы, ибо в раю времени нет. Отто излучает радость благодатного узнавания. Отто улыбается. Отто морщит в детской радости свой прямой благородный нос. Отто щурит глаза в предвкушении ещё большего счастья.

— Марина, когда же мы будем отвечать на письма? Мы ещё даже не начинали, а ведь скоро ночь!

08.09.2018

Чемодан без ручки

1

— А теперь, ледиз энд джентльмен, я представлю вашему вниманию главный сюрприз Фестиваля... Конечно, мы приберегли его к самому финалу... Мы надеемся, что каждый из вас не только слышал имя этого лауреата, но получил громадное, ни с чем не сопоставимое наслаждение от её киносценариев... Встречайте... Королева точек и запятых... кавычек и многоточий... На сцене... мисс... Пэлли!!! Ваши аплодисменты!!!

Это про меня. Так американцы произносят мою фамилию: Paley. Дворец находится в горах Италии, но владельцы дворца и менеджеры Фестиваля — американцы. Публика — международная.

Речь держит главный менеджер Фестиваля, мистер Браун. Всех остальных чествовал средний менеджер, мистер Джонсон.

— Я должен сказать, господа, что в лице мисс Пэлли мы видим талант... подлинный бриллиант... который... в то время как...

Он заглядывает в бумажку.

... — который я бы назвал настоящим русским самородком!..

Меня передёргивает. Ещё больше, чем до того. Я стою в круге света. Отдельные люди в первом ряду начинают недоверчиво в меня всматриваться.

... — и этот русский самородок, подлинный русский самородок... который... эээ... уже четверть века работает в литературе... оказал нам честь своим присутствием. И теперь мы... и теперь международное жюри награждает мисс Пэлли... золотой медалью Фестиваля!!! Ваши аплодисменты!!!

2

Младший менеджер идёт сзади меня, с видимым усилием таща гору букетов, которые расползаются в его руках. На локте у него болтается красивая корзина с розами. Мы входим в мой роскошный номер, младший менеджер тут же бросается наполнять вазы водой. Он вдумчиво расставляет их по всему номеру. Почтительно кланяется, исчезает.

Меня в этой ситуации смущает только одно. Разве они не знали, что через час мне надо выезжать в аэропорт?

3

Я не люблю и жалею срезанные цветы. Что станется с этими букетами? Неужели они будут выброшены на по-

мойку? Или смекалистые менеджеры их используют снова? Ведь сейчас начинается киноконференция... Букеты много-разового пользования? Одновременно, возникает сугубо русская мысль: или уж на кладбище?..

Звонит внутренний телефон:

— Мисс Пэлли, говорит младший менеджер, Смит. Ваш шофёр прибудет с минуты на минуту.

Я начинаю собирать чемодан.

4

На высоких тонких каблуках, с крохотной серебристой сумочкой, я медленно спускаюсь по мраморной лестнице. Я отражаюсь во множестве зеркал. Сзади младший менеджер тащит мой чемодан. А я иду перед ним, налегке, небрежно повесив на сгиб локтя красивую корзину с розами. Они посажены в землю, а значит, будут жить. Никогда не ходила я налегке! Сейчас я напоминаю себе молодую французскую женщину из французского фильма. Женщина покидает своего мужа навсегда. Она бросает в плетёную корзинку пачку галет, изящный томик Верлена и любимый розовый шарфик. Белую пушистую собачонку, размером с чайное ситечко, она прихватывает заодно.

5

Мы проходим мимо швейцара, одетого в форму моряка американского военного флота. Швейцар вытягивается и делает под козырёк. Младший менеджер передаёт мой чемодан шофёру, почтительно улыбается, трясёт мне руку и уходит.

Перед воротами дворца стоит белоснежный «Мерседес». Я успеваю с тревогой подумать о «серпантине» дороги, где, я уж себя знаю, мне станет очень плохо, и надо будет как-то сдерживать тошноту, — я успеваю только подумать об этом, как вижу, словно в замедлен-

ной съёмке, что чемодан в руках шофёра отделяется от ручки, грохается оземь, подскакивает, резко раскрывается — и мои пожитки разлетаются.

6

Я не пытаюсь осознать ужас положения. Как раз наоборот: я выключаю чувства. Усилием воли, я выключаю мысль о том, что, когда я пропущу свой самолёт, никто мне второй билет покупать не будет. А в Нидерландах, если я пропущу этот самолёт, в мою глушь меня сможет отвезти только такси. Которое мне не по карману.

Я жестом показываю шофёру, чтобы он садился в машину. Вокруг чемодана разбросаны кружевные бюстгальтеры вперемешку с мочалкой, лекарствами, выходным платьем, феном, страницами доклада.

7

Быстро иду назад, во дворец. Хочу войти, но швейцар, в форме моряка американского военного флота, резко загораживает дверь рукой.

— У меня проблемы, — говорю. (Терпеть не могу этот оборот, он вызывает у меня омерзение. Произношу специально, чтобы отдалиться от себя как можно дальше.) — Пустите меня к младшему менеджеру, у меня сломался чемодан!

— Извините, мэм. Я не имею права.

— То есть? У меня проблемы!

8

Странно выглядят мои пожитки на мраморных плитах сада, особенно издалека. Словно я своим скарбом привнесла в этот рай войну, нищету, погромы.

— Позвольте мне позвонить младшему менеджеру, мистеру Смиту.

Швейцар берёт мобильное переговорное устройство и нажимает кнопку.

— Мистер Смит, говорит Джек. Тут какая-то женщина хочет пройти во дворец.

— Какая женщина? О ком речь?

— Я не знаю, мистер Смит. У неё корзина роз.

— Спросите, как её фамилия.

— Я — мисс Пэлли! — кричу в отчаянии. — Мистер Смит, я — мисс Пэлли!

9

— Джек, передайте ей трубку.

Швейцар передаёт мне трубку.

— Мистер Смит, у меня сломался чемодан!

— Как ваша фамилия, мэм? Ещё раз, пожалуйста.

— Я — мисс Пэлли.

— Чем могу быть полезен, мисс Пэлли?

— У меня сломался чемодан. Сейчас это чемодан без ручки. И, наверное, у него сломан замок. Я не могу ехать в аэропорт!

Молчание.

— Подождите, мисс Пэлидж...

— Мисс Пэлли.

— Мисс Пэлли, у вас сломался чемодан. Почему вы обращаетесь ко мне? У нас сейчас начинается конференция киноведов. Что вы хотите именно от меня?

— Я хотела бы войти и поговорить со средним менеджером, мистером Джонсоном.

— Я очень сожалею, мисс Пэлли, но ваше мероприятие закончилось. Ваше время во дворце истекло.

Вижу издали, как ветер разносит страницы моего доклада. Вот и хорошо.

— Мистер Смит, если мне запрещено войти, тогда я продолжу разговор по телефону. Я требую к телефону среднего менеджера, мистера Джонсона.

Корзина с розами очень мне мешает, но что-то случилось с моим мозгом: я вцепилась в неё, не понимая, что корзину можно поставить на землю. Словно эта корзина — последнее доказательство того, что я — мисс Пэлли. Средний менеджер подходит к телефону на удивление быстро.

— Мистер Джонсон, это мисс Пэлли! У меня сломался чемодан! Я не могу ехать в аэропорт!

— Подождите... это какая мисс Пэлли? Вы из Калифорнии?

— Нет, я из Нидерландов! А сейчас я стою у входа во дворец. Что мне делать?

— Подождите... У вас сломался чемодан? Скажите шофёру, он знает, где у нас в городе магазин кожаных изделий. Там вы сможете купить себе замечательный чемодан, мисс Пэлли! Я это вам гарантирую. Ещё вопросы?

Я вижу, что сейчас пойдёт дождь. Скорее всего, на самолёт я опоздаю. Хотя бы и потому, что в такую погоду машина пойдёт по «серпантину» в два раза медленней. У меня в животе — колотый лёд.

— Мистер Джонсон, дело в том, что вчера... да, вчера... э-э-э... у меня возникла проблема с банковской карточкой. Произошёл какой-то сбой в электронной системе... Я... э-э-э... не могу снять деньги!

— Мисс Пэлли, эти сбои в электронных системах не длятся более нескольких часов. Это я вам гарантирую! Ещё вопросы?

— А не найдётся ли для меня во дворце какая-нибудь сумка?

— Что? Я не понял.

Мне хочется уточнить: ну, что-нибудь вместительное, всё равно что, похожее на сумку «челночников». (Господи, Твоя воля, как некстати меня посещают русские мысли!)

— Мистер Джонсон, я могу произнести для вас по буквам.

— Да я отлично слышу, но сумочка, мэм, скорее всего, при вас! В ваших апартаментах сумочки нет, там уже была уборка! Ещё вопросы?

— Позовите, пожалуйста, к телефону старшего менеджера, мистера Брауна.

— Простите, мисс Пэлли, но он занят.

— Мистер Джонсон, а верёвки у вас бы не нашлось? Крепкой хорошей верёвки?

— Что?..

12

Начинается дождь. Я вижу, что шофёр выскакивает из машины, закидывает мои пожитки в чемодан, обнимает этот чемодан и, прижав к груди, дотаскивает до багажника. Затем он подбегает ко мне — и тащит меня в машину. То есть он хотел бы потащить, но я, вцепившись в корзинку с розами, упираюсь. Что мне крайне непросто на высоких каблуках. Но всё-таки несколько секунд мы не сдвигаемся с места. Нас поливает дождь. Швейцар, забрав у меня телефон, заскакивает в тамбур между дверьми, стоит по струнке и смотрит в никуда. Я как-то некстати вспоминаю, что, когда приехала сюда, тоже был дождь. Этот же швейцар выпорхнул ко мне с большим белым зонтиком — и так, с почтением, вёл меня от машины ко входу. А сейчас мы с шофёром стоим перед дворцом, под дождём, — две вымокшие фигуры итальянского неореализма.

Наконец шофёр побеждает. Подводя меня, безвольную, к автомобилю, он говорит:

— Вы не волнуйтесь, синьора. У меня есть отличная идея!

Мы садимся в машину, пристёгиваемся, выезжаем. Вижу в зеркальце своё отражение: тушь с ресниц превратилась в чёрные, через всю щеку, слёзы. Клоун, клоун. Глазами клоуна.

— Какая же у вас идея, синьор?

Он улыбается мне белозубо. Это очень красивый молодой итальянец, с прекрасной формой головы, с большими мужскими руками. Он смотрит на меня, излучая нескрываемую симпатию, подмигивает и говорит:

— Сейчас я завезу синьору в знаменитый итальянский магазин кожаных изделий! Знаменитый! Это как раз по пути! Там синьора сможет купить себе самый лучший чемодан.

08.09.2018

Изабель в брассери (Isabelle in de brasserie)

1

— Кем вы работали в вашей стране? — спрашивает женщина-менеджер.

— После школы устроилась в районную библиотеку, — вру я.

— После школы, сразу? — удивляется менеджер.

— Сразу, да, — вру я.

— Хм... В Нидерландах для этого нужно специальное образование! — назидательно говорит менеджер.

— Ну, меня, конечно, не допускали до работы с читателями. Моя работа была в подвале... Я подклеивала корешки.

— И больше вы ничем в своей жизни не занимались? — уточняет менеджер.

— И больше — ничем, — вру я.

— И нигде не учились?

— И нигде.

— Хм... — говорит менеджер. — Давайте ваш вид на жительство. Пойду сниму копии.

Господибожемой, господибожемой, господибожемой, — молюсь я. — Распорядись так, добрый Боже, чтобы она сделала копии только с лицевой стороны карточки! Только с лицевой, только с лицевой, только с лицевой!!! Сделай так, добрый Боже, чтобы она не увидела заднюю сторону карточки! Сделай так, чтобы она не увидела заднюю сторону карточки! Сделай так, чтобы она не увидела заднюю сторону карточки, где написано, что я писатель и переводчик!

2

Задолго до того — мне сказали, что в Нидерландах, при поступлении на работу, очень важно быть самой собой. Да уж! Да если бы я была хоть немного «сама собой», меня бы вышибли — ещё на очень дальних подступах — например, к той старинной телефонной компании. А меня не вышибли, и я прошла там целых три тура, а ведь другие претенденты не могли пройти даже одного. И со мной хотели подписать контракт! И, если бы они это сделали — ох, я бы сидела в той телефонной компании с восьми утра до восьми вечера.

С восьми до двенадцати я бы говорила:

— Доброе утро! Меня зовут Марина. Чем могу быть для вас полезной?

С двенадцати до шести я бы говорила:

— Добрый день! Меня зовут Марина. Чем могу быть для вас полезной?

С шести до восьми я бы говорила:

— Добрый вечер! Меня зовут Марина. Чем могу быть для вас полезной?

И так — до Конца Времени. Там отлично платили, мне трудновато было бы уйти. А не писать я не могу, так что я сошла бы с ума. Но эти менеджеры меня и спасли, а именно: открыли моё честное, простодушное, неопытное резюме — и там увидели десятки моих публикаций, и статьи обо мне в Американской энциклопедии, и семинары, и всякое такое. Поднесли изобличающие меня улики к моему носу и возопили:

— А это — что такое?!

Сказала, что это моё хобби. Они, в свою очередь, «обещали мне позвонить». Это был урок: я поняла, что такое — «оставаться самой собой», если ты — чужачка, да вдобавок — нищая. Но я знала также, что отвоюю себе право вернуться к себе. Да и к тому ж — куда я от себя денусь?

3

В brasserie, куда меня, ура, взяли (тётка-менеджер скопировала и заднюю сторону карточки, но, спасибо, Боже, не вчиталась) — я попросила называть меня Isabelle. Почему? — спросили сотрудники. Ну, меня так по-домашнему звали мама и папа, — сочинила я на ходу. На самом-то деле я хотела отделить себя от «Марины». От всех скромных достижений и непрерывного кошмара российской «Марины». Мне было понятно: чтобы развиваться, я должна резко отделить своё настоящее «я» — от прошлого.

Я не делю свой опыт на «плохой» и «хороший». Я делю его только на новый и старый. В стране моего рождения он сделался для меня старым катастрофически быстро. И у меня не было никаких иллюзий насчёт его, в той стране, обновления.

— С вас тридцать гульденов, мсье, — говорю я французу.

Он даёт пятьдесят:

— Сдачи не надо.

Я обескуражена. Мне никогда не давали чаевых. Впрочем, я никогда не работала в brasserie.

— Но почему, мсье, вы даёте мне эти деньги?..

— Потому что ты — красивая девчонка, — говорит француз и уходит.

Ничего себе. Погодите. Мне надо это переварить. Посетителей нет, я сажусь на пустой ящик и думаю. Значит, так. Мне сорок четыре года. После того, как меня сбила машина, у меня изуродована нога. И болит она страшно. Даже сейчас.

Когда мне было в два раза меньше, я стала врачом. В отделении, куда я пришла, работала моя сокурсница. Заведующая запретила нам говорить друг другу «Марина» и «Таня». Надлежало говорить только «Марина Анатольевна» и «Татьяна Юрьевна». Для кого следовало разыгрывать эту кондовую «солидность»? Вокруг нас даже больных не просматривалось — мы должны были корчить «солидность» для лабораторных пробирок и колб. Если мы её не изображали, нас наказывали. Правда, я не ведаю, что это была за «солидность врача» такая, если дополнительно к первой работе, для выживания, я вынуждена была обследовать женщин и детей на гонорею, а по ночам драить полы в парикмахерской. В мои двадцать три года мне сказали, что жизнь моя кончена, ибо я — «одинокая женщина с ребёнком». В тридцать лет, когда я поступила во второй институт, знакомый спросил меня: куда я лезу «на старости лет»? В тридцать пять, когда у меня состоялся литературный дебют, мне сказали, что это смешно, ибо Лермонтов к такому возрасту давно уж гнил в земле. В тридцать шесть, когда я с отличием тот институт окончила, мне сказали, что

это тем паче смешно, ибо Пушкин в тридцать семь умер. В тридцать семь, когда у меня заболела голова, моя мать сказала: «Что делать: возраст!» В тридцать восемь мне сказали, что умственная деятельность человека максимальна до тридцати пяти. В тридцать девять меня спросили: «Есть ли секс у женщин в сорок лет?» В сорок я была в Нидерландах.

6

Я гордилась моей новой работой. До работы в brasserie я вкалывала на конвейере. Это были гигантские цеха, размером в несколько футбольных полей. Там, на движущихся лентах, мы собирали знаменитые голландские букеты. Я клала свой маленький цветок на ленту. И каждый — нигериец, японец, чилиец — клал свой цветок. Каждый — понимаете? — клал свой цветок. Господи, это было красиво.

Я гордилась и той работой, хотя туда направляли, в основном, неграмотных пришельцев из третьего мира. И эта работа считалась, разумеется, нищим социальным дном. Но у меня собственная шкала оценок. Именно там я стала частью страны, которую уважаю. Это был обряд инициации.

Когда я поступила в brasserie, прежняя работа уже не виделась мне такой привлекательной, ибо нас там были тысячи. А в brasserie нас было всего четверо. И я знала, что в конце концов буду работать одна. Книжки требуют одиночества.

7

— Isabelle, пиво на третий столик! Isabelle, вымой котёл! Isabelle, вынеси мусор! Isabelle, на пятый столик — красное домашнее!

Brasserie относилась к системе youthhostel. Соответственно, нашими клиентами были, в основном, иностранные студенты. Иногда меня забавляла мысль, что среди них есть люди из Европы и США, которые изучали и продолжают

изучать мои тексты в университетах. Лекции, дипломы, диссертации. Ведь я, с моими выступлениями, «много во-яжировала», как выражался бесценный Лужин.

8

— Ты знаешь, Isabelle, я был счастливым парнем, когда служил в войсках НАТО, — говорит мне мой собрат по brasserie, Henk. — У меня был контракт в танковых частях... Вот это работёнка!

— А чем хороша была работёнка? — спрашиваю.

— Понимаешь, я люблю танк. Я вообще технику люблю. Ну, это отдельно. Но, вот у нас, скажем учения, да? В Германии, да? И мы выбираем, по договорённости с фермером, его поле. И вот это самое поле мы приводим в полную негодность. А фермеру выплачивают страховку, понимаешь? И он эту страховку делит с нами пополам. Вот была жизнь!

— А это законно?

— Ну, это как посмотреть... А у тебя какие были классные моменты в жизни?

— У меня? Ну, когда меня в Роттердаме переехал «Мерседес» и сломал мне ногу.

— Да ты сумасшедшая, что ли? — Henk хохочет и делает типичный голландский жест: ловит невидимых мух вокруг носа.

— Ну, как посмотреть... — говорю я ему в тон. — Мне ведь тоже выплатили страховку. Я жила на неё целый год — и писала книгу. И сейчас пишу...

— Ты умеешь книжки писать? О чём же ты пишешь?

— О животных, — быстро говорю я. — А кроме того, на эти деньги я устроила международный фестиваль...

— Фестиваль? Какой?

— Понимаешь, в стране моего рождения тоже любят танки. Но, видимо, гораздо больше, чем ты. Они там так страстно любят танки, что портят чужие поля безо всякой

договорённости. Поэтому наша семья в один год оказалась разбита на четыре страны: мама осталась в России, папа оказался в Германии, мой сын — в Израиле, а я — вот здесь. И, когда мне выплатили страховку, я пригласила их всех к себе, потому что мы долго не виделись...

— Isabelle, да ты чумовая девка! — хохочет Henk. — Ты, наверное, сама под тот «Мерседес» бросилась! С тебя станется!

9

— Isabelle, белое вино на восьмой столик! Сосиски с капустой на третий! Кружку пива на пятый!

Возникает стихийный перерыв. Я сажусь в плетёный стул на крыльце. Весна! Господи боже, клёны мои любимые!

— Слушай, Isabelle, — говорит Henk, — мне не даёт покоя, что ты вчера сказала. Такое дурацкое впечатление... Получается, ты действительно рада, что тебе сломали ногу. Так, что ли? Как это может быть?

— Понимаешь, — говорю, — я тебе не всё рассказала. Как объяснить? Вот то место, где мне изуродовали ногу, называется зоной Водолея. Ну, тело ведь тоже делится на астрологические знаки... И я всегда была немного обижена, что мне досталась нога. Я ведь Водолей. То есть: не сердце, не лёгкие, не гортань, не мозг, а какая-то тупая нога... Это я так до аварии думала. А когда меня именно в зоне Водолея подружили, а потом я так долго, непросто срасталась — у меня было шесть операций, — то до меня в конце концов и дошло, что это мне знак от судьбы. Я тогда, в Роттердаме, умерла. И я в Роттердаме родилась заново. И встала на обновлённую опору.

— Д-а-а-а, — качает головой Henk. — Наверное, все русские с приветом.

— Не знаю, Henk. Я давно не там.

В это время я замечаю, что на нас неотрывно смотрит группа из трёх человек: два парня и девушка. Они переговариваются, потом в нерешительности подходят.

— Простите, у нас такой дурацкий вопрос... Мы уже неделю вас видим... Вы очень похожи на женщину, которая нам читала лекции в Финиксе. Три года назад. Ну просто так похожи! Один в один!

— А мне все говорят, что я похож на Алена Делона! — смеётся Ненк и уходит.

— Я из университета Айовы, — говорит девушка. — Ну вы же вылитая Марина Палей! У вас нет сестры-близнеца?

— Нет, — говорю.

— Бывают же такие сходства, — говорит второй парень, — я видел фотографию в Литературной энциклопедии. Вылитая Марина Палей! Вы слышали про такую писательницу?

— Ребята, — смеюсь я. — Мне очень приятно, что я похожа на знакомую вам женщину. Так бывает. Но я — не она. Меня зовут Isabelle.

10.09.2018

Овощ

1

— А почему бы вам не убить себя? Если вам так уж хочется?

Клиентка молчит.

— Назовите, пожалуйста, причины, — повторяет госпожа де Шхунмакер, — по которым вы всё-таки не убиваете себя. Мне необходимо занести сведения в ваше досье.

Молчание.

— Я жду, — госпожа де Шхунмакер легонько постукивает пальцами рядом с клавиатурой.

Молчание.

— Я жду.

— Потому что... потому что мне жаль моего сына!..

Клиентка рыдает.

Госпожа де Шхунмакер, медицинская сестра отделения амбулаторной психиатрической помощи, удовлетворённо кивает и подходит к столику с салфетками. Это салфетки, какие бывают в забегаловках. Теперь становится понятно назначение этих салфеток здесь, в кабинете помощи. Госпожа де Шхунмакер, беззвучно считая губами, вытаскивает из упаковки пять салфеток. Затем она, чётким строевым шагом, подходит к клиентке. Протягивает ей салфетки.

2

— ...Вы говорите, — впечатывает в досье госпожа де Шхунмакер, — что довольно часто не можете встать с постели. Правильно ли я вас понимаю?

— Правильно...

— В прошлую нашу беседу вы сказали, что... однажды (она просматривает прежние записи)... что даже во время пожара, вы не смогли встать. Что вас вынесли пожарные. Так?

— Да, это так...

Госпожа де Шхунмакер смотрит на часы. До конца беседы остаётся пять минут. В соответствии с протоколом, следует дать рекомендации.

— Ну а почему бы вам, однако, не встать и не погулять? — говорит госпожа де Шхунмакер. Она растягивает мимические мышцы в условной улыбке.

— Я настаиваю на встрече с врачом! — внезапно взрывается клиентка. — У меня клиническая депрессия! Вот уже почти тридцать лет!

Госпожа де Шхунмакер просматривает монитор.

— У вас уже была ознакомительная встреча с врачом, — говорит она. — Более одной вам не положено. Теперь вам положено встречаться со мной, по вторникам, — и с господином ван дер Бромом, психотерапевтом, по пятницам. Вопросы?

— Но для чего я хожу на эти приёмы? — спрашивает клиентка.

— Вы ходите для «беханделинг», — отвечает госпожа де Шхунмакер.

— А что такое — «беханделинг»?

— «Беханделинг» — это то, чем я сейчас с вами занимаюсь.

— А чем вы сейчас со мной занимаетесь?..

— Я занимаюсь вашим лечением. Я вам помогаю.

— Но я не получаю никакой помощи... — клиентка растерянно подходит к двери. — Мне уже тридцать лет назад диагностировали клиническую депрессию в... в стране моего происхождения... Потом, пять лет назад, в Израиле, врач прописал мне антидепрессанты...

— Как я погляжу, — с внештатным злорадством говорит госпожа де Шхунмакер, — вы лечитесь во всех странах мира!

3

...Господин ван дер Бром, психотерапевт, похож на верблюда с добрыми еврейскими глазами. Он говорит:

— Я слышал, вы пишете романы? Превосходно! Превосходно! Знаете, я люблю иной разок... да... Бывает, даже специально еду поездом, а не машиной. Чтение художественной литературы — прекрасно расслабляет. Создаёт необходимую зону комфорта. Это очень полезно для нервов, для психики.

— Чтобы продолжать писать романы, мне нужна справка об инвалидности. Иначе меня снова отправят на конвейер. Но вы же знаете, что у меня — действительно клиническая депрессия!

— Это решать будет Комиссия-по-диагностике, — говорит господин ван дер Бром. — А мне нужно — зафиксировать ваше бессознательное. Расскажите, пожалуйста, свой сон сегодня. Снилось вам что-нибудь? Снова кошмары?

— Снова. Можно, я так и продолжу — на английском?

— Нет. У вас — временный вид на жительство, вы претендуете на паспорт. Будьте любезны соответствовать. Так что говорите на нидерландском.

— Хорошо.

Некоторое время клиентка собирается с мыслями.

— Мне сон. Видеть сегодня. Моя мама не любит меня. Никогда. И вот она делить моя маленькая комната с помощью стена. Я говорить: «Зачем ты делать так?! за-чем?!» Мама говорить: «Потому что так надо. Вторая половина — здесь будет жить наша соседка по лестница». — «Но почему?!» — «Потому что так надо».

— Прекрасно, — щёлкает клавиатурой господин ван дер Бром. — А ещё? Было что-нибудь ещё?

— Был вторая сон. Я смотреть окно гостиница. И видеть впереди пустыня. Только пустыня. Только. Я спрашиваю: «Как я здесь попал, мама?» Мама говорил: «Я дать тебе таблетки для сон. Специально. Как дают кошкам. И транспортировать тебя на самолёт». — «Но почему, мама?!» — «Потому что так надо».

Господин ван дер Бром стрекочет клавиатурой.

— Прекрасно! — говорит он. — До следующей пятницы! Приятных выходных!

— Зачем вы сделали это?! — госпожа де Шхунмакер багровеет от злобы. — Зачем вы сделали это, я вас спрашиваю?!

Вот так. Всё идёт правильно.

— Вы можете повторить то, что сейчас сказали?!

— Конечно, — говорит клиентка, — я повторю.

— Я записываю, — с омерзением говорит госпожа де Шхунмакер, медицинская сестра отделения амбулаторной психиатрической помощи.

— Вчера я, — чётко диктует клиентка на английском, — с целью самоубийства проглотила всё содержимое пузырька со снотворным. Всё содержимое пузырька. Но меня, к сожалению, вырвало.

Вот так. Всё идёт правильно. Вам ведь не нужна правда? Вы не воспринимаете правды. Идиоты! Да разве я похожа на человека, какой совершает «неудачные попытки»? Идиоты! Вы воспринимаете «информацию о страдании» только в чётко отрегулированном вами формате. Хорошо. Получайте. Пусть будет пузырёк со снотворным. Попытка самоубийства — это та красная черта, пересечение которой вы обязаны отразить в ваших протоколах. Вы — обязаны! По законам, вами же установленным. Вы обязаны отразить эту информацию в ваших протоколах — со всеми вытекающими последствиями для обеих сторон.

— ...Наша Комиссия, — говорит врач, — установила, что вы действительно больны депрессией. Однако мы не можем, как вы просите, передать ваше досье в отдел социального обеспечения. Закон запрещает нам разглашать медицинскую тайну клиента.

— Но они официально запрашивают, — робко говорит клиентка. — Вот письмо.

— Почему мы должны говорить с вами по-английски? — внезапно шурится врач. — Здесь ведь не Англия! Почему вы сюда приехали? Именно сюда? (Спохватываясь.) Да, вот их письмо. Но мы не имеем права! Это ваша личная тайна!

— Но если я разрешаю?

— При чём здесь ваше разрешение? Есть Закон!

6

— Вы обязаны выполнять социально-полезные работы, — говорит заведующий отделом социального обеспечения. Вы рассылали ваше резюме?

Отбитое у Медицинской комиссии досье наконец-то лежит рядом с ним.

— Я рассылать. У меня в резюме — только списка моя публикациями. Там очень-очень много работ. Про меня пишут диссертаций. В университет Европа и Америка про меня пишут диссертаций. Мне постоянно звонят за консультация. Диссертанты. Кто же меня взять здесь на работа? На какой? С такому резюме?

— Ах, ты думаешь, ты будешь сидеть дома и книжки писать?! — взрывается один из членов Комиссии. — Нет, ты не будешь!

— Но волонтером она быть должна в любом случае, — примирительно вставляет другой член. И, обращаясь к клиентке: — Если вы не будете систематически убирать навоз за животными, вы не получите от нас ни цента. Такого условие.

Комиссия смотрит на неё ободряюще. Кажется, целесообразное решение найдено.

— Я не буду убирать навоз за животными. Моя депрессия тогда убивать меня. Я должен писал. Но что вы мочь меня сделать? Отправляют меня в госпиталь? Хорошо! Я ведь и там, всё равно, буду писал! Всё равно! Я буду писал всё рав-

но! Везде! Ну, вы, конечно, может меня делать инъекций. Чтобы я больше не писал. Никогда в жизни. А только чтобы работать на конвейер. Но я, даже на конвейер, всегда писал в моей голове. Всегда! Понимаете? Всегда. Ну, конечно, если вы мне делать инъекций, чтобы я не мог думать, чтобы я был, как овощ, я не буду писать. Тогда я не смогу.

— Клиентка действительно больна, — говорит заведующий отделом социального обеспечения. — Закрываем заседание.

23.05.2021

Бременские музыканты

1

— Heute... — это единственное слово, какое он знает по-немецки. И дальше, оставаясь с бокалом в руке, он беспомощно улыбается.

Подключается она. Английский у неё живой, лёгкий. Но ситуация жёсткая: они не знают, найдут ли ночлег. Невольно она пересыпает свою речь фразочкой «to be honest». Открытый взгляд. Улыбка, какую называют «обезоруживающей». Нервы — как струны на его гитаре.

— Зачем вы так часто произносите «to be honest»? — подносит свой миролюбивый бокал местный бухгалтер. — От этого вы оба кажетесь keine Musiker zu sein, sondern Schurken. — Жуликами, — любезно поясняет он по-английски.

2

Но — зато обед. В богатом доме. Хозяйка подобрала их на набережной — и сейчас демонстрирует своим гостям. Она коллекционирует домры и балалайки. Она привезла

двоих музыкантов — словно для той же коллекции: струнные к струнным. Весь этот большой, прочный немецкий дом, который лучится сытостью и размеренностью, выдаёт непоправимое отсутствие художественной фантазии. По стенам гостиной, по стенам столовой, по стенам библиотеки, по стенам «комнаты для философских размышлений» (как называет её хозяйка) — он весь увешан домрами и балалайками. Домры и балалайки, в глазах рябит, балалайки и домры. Они, злые девственницы, каких никогда не коснётся рука музыканта, висят даже на потолке. Багровые гости, уже хорошо набравшись пивом, пихаются локтями, тычут в потолок и гогочут.

Хозяйка, взяв фруктовый ножик, строго стучит по бокалу. Гости должны осознать, что сейчас, в её доме, для них произойдёт Встреча с Музыкой. Усилием воли сдерживая икоту, гости пытаются изобразить прихожан в кирхе.

— Wo fangen wir an? (С чего начнём?) — обращается хозяйка к гитаристу.

Смысл вопроса ему ясен.

— Шуберт, — он изображает любезную улыбку.

Его спутница, красиво откидывая длинные тёмные волосы, отчего её лоб выигрышно озаряется золотыми лучами заката, заводит непрофессиональным сопрано:

Ave Maria...

Gratia plena...

3

Перед этим, уже будучи приглашёнными, они гоняли мяч на зелёной лужайке. Прямо перед фахверком хозяйки. Ну, чтобы она не подумала, что они так уж голодны. Беззаботность богатых людей, вот так. Ну, или почти богатых, играющих почти в гольф, почти празднично, почти даже избалованно. А ещё раньше, утром этого дня, они отправляли с почты деньги своим детям. Дети у них разные: у него — от другой женщины, у неё — от другого мужчины.

Оба выглядят очень молодо. Почтмейстер, уже зная о детях, ибо ошивается здесь эта парочка всё лето, беззлбно повторяет свою шутку:

— А что, родили вы их в свои тринадцать лет, а? В свои тринадцать лет? Так бывает, хе-хе.

...После концерта у балалаечницы, которая ночевать у себя не оставляет, он говорит:

— Поедем в Амстердам? Поспим в поезде...

— В Амстердаме публика куда менее сентиментальна, — говорит она. — Не знаешь, что ли?

— Зато там есть этот их... антикраак, — говорит он, — там пристроимся.

4

В Амстердаме играют на Лейдсеплейн, на площади Ватерлоо, на Мюнтплейн. Подают плохо. Фотографируют, фотографируются на фоне, но почти не подают. К самому вечеру они позволяют себе хоть немного утолить голод.

...По сути, это забегаловка, хотя и претендует на статус кафе. Ну, или маленькая кафешка, зато вся в зеркалах: зрительное расширение скромной площади.

Внезапно она, словно впервые, видит себя с ним в зеркале. Он светлорус, худощав, джинсы, футболка, оптические очки, которые, в глазах обывателя, словно придают ещё большего профессионализма его игре. Она: длинные тёмные волосы, тоже футболка и джинсы. Платье (когда на ней платье, подают лучше) сейчас уложено в рюкзак. В целом, они одеты так же, как и любые голландцы, то есть никак.

И всё-таки она видит, как непоправимо они отличаются от всех. Здесь, в кафешке. На улице. В поезде. Они отличаются от всех — везде. Наверное, поэтому они вместе.

Но чем они выдают свою нездешность? Нет, это не иное оперенье, как у иностранцев, это нечто другое. Словно до рождения, они, изо всех сил, летели по касательной

к этому миру, только по касательной, — но мир, ошибкой, затащил их в свою орбиту. И вот они вертятся. Натужно, с изумлением, с отвращением.

5

Он играет профессионально. И, для профессионалов, конечно, он должен был бы выступать один. Но обыватель подаёт не игре, а «романтической паре». То есть своим представлениям о «красивостях», какие обыватель почерпнул из массового кино. И они, светловолосый гитарист и темноволосая певица, напоминают обывателю каких-то персонажей... Ну, этих, как их... (Бонни и Клайда, — так и хочется съязвить ей, — Бонни и Клайда.)

— ...Ну не видят они во мне своего клиента! — тихо злится он. — Ну не хотят видеть!

Официант действительно подходить не торопится. Подмигивает и машет рукой. Дескать, я здесь, мы здесь все свои, я сейчас, сейчас.

Голодные до бешенства, они теперь злятся друг на друга.

— Вы не в церкви, — она закуривает, — вас не обманут. Цитата.

— Вы очень начитанная, — набирает обороты он. — Вы начитанная, и язычок у вас подвешен неплохо, да. Но поёте вы отвратно. А знаете — почему? Дело не в голосовых связках. Вы поёте «Ave Maria», а в голове у вас — исключительно пирожок с сосиской.

Любезно улыбаясь, подходит официант:

— Goedeavond! Wat kan ik voor u doen?

— Я всегда знала, — она не смотрит на официанта, — что вы, мягко говоря, умом не блистаете, — резко вскакивает, стул опрокидывается.

— Uuups! — радостно говорит официант.

— Но чтобы до такой степени!.. — кричит она у дверей. — До такой степени!..

Бредёт по узкой, как кишка, задрипанной улочке. Вонь жаренного мяса, бессмысленный гвалт, пластмасса в витринах. Куда? Чёрт знает куда. Бредёт так довольно долго, когда слева от себя, начинает чувствовать медленное, неотступное движение. Взглядывает: он, рядом, едет на велосипеде.

— Где вы взяли велосипед?!

— Украл.

Дверь дискотеки. Да гори оно всё огнём. Разве она не имеет права на счастье? Разве он не имеет права на счастье?

У барной стойки она судорожно, зло, очень быстро набирается. Закусывать нечем. Алкоголь милосердно переключает оптику.

Он, тоже хорошо принявший, приглашает белобрысую девицу. Да: он будет веселиться. Он имеет право. Девица костиста, безгруда, бесцветна, выше его на полторы головы. Они топчутся, безо всякого желанья и смысла. Он механически передвигает партнёршу, словно этажерку в комнате, какую невозможно обжить.

Она, то и дело откидывает тёмные волосы, выходит из дискотеки с каким-то латиносом. Или не латиносом? Поди разгляди. Сначала они входят в отель. Или это не отель? Нет, отель. Да: она хочет спать. Она смертельно хочет спать. Она спит на ходу. Возле ресепшн обнаруживается: у него нет документов. Ну, нет так нет. Он настолько пьян, что не расстраивается.

— Пойдём ко мне, — говорит.

...Безликая квартирка, куда иммигрант приползает с работы, где он наконец набивает желудок, вяло переключает каналы, мастурбирует, спит.

— Ты не думай! — он распахивает встроенный шкаф. — У меня есть три костюма!

Она уже спит. До слуха доносится какая-то дребедень... Он рассказывает, как тяжело было служить в Légion étrangère. Мальчик, заткнись...

8

Просыпается, с ужасом смотрит на часы. Восемь утра. Мальчик лежит на полу. Одетый. Храпит.

Она тихо умывается, тихо моет голову. Волосы мокрые, зато очень чистые. Лестница — как трап на пиратском судне. Наконец с наслаждением вдыхает утренний воздух.

...Он сидит под деревом. Гитара, слава богу, при нём.

— И как оно было? — ей, невозмутимо.

Они доходят до метро. Люди идут на службу. У входа он вытаскивает гитару из чехла; открытый чехол кладёт рядом, на тротуар.

— С чего начнём?

Ей хочется крикнуть: проклятый дурак, ты хоть что-то поел?! ты спал?! где?!

Но она говорит:

— С Шуберта.

Ave Maria...

Gratia plena...

В футляр летят первые десятицентовики.

01.06.2021

Визит

Мне назначили встречу у Официального Лица. От его решения зависело, имею ли я право на жильё — или останусь на улице. Я пришла, как было назначено, к половине девятого утра — это именно то время, когда я, в надежде забыться, глотаю много снотворного.

Мне надлежало ждать в пустом, полностью голом холле — такой, во время занятий медициной, я видела в морге. За моей спиной висел тяжеленный рюкзак — в нём были все мои пожитки, включая книги. Ждала я долго; рюкзак я сняла, но после бессонной ночи тело было свинцовым, а сознание мутным; мне уже пришло в голову, что всё это сон, когда я почувствовала, что к моему колену кто-то приотронулся... собака? Но, глянув вниз, я увидела карлицу.

Это была именно карлица, а не лилипутка: при нормальных размерах головы и туловища у неё были крохотные ручки и ножки. Мне повезло: я сумела скрыть свой ужас — а он оказался громаден, ведь карлица явилась неожиданно. Если бы я видела, как она приближается по коридору, ужас был бы, наверное, меньше.

Карлица сказала, что она — Официальное Лицо, и протянула мне свою кукольную ручку. Я наклонилась, пожала ручку, после чего карлица велела мне следовать за ней. Некоторое время мы шли по длинному, гладкому, как труба, коридору, и наконец, в самом его конце, оказалась дверь. Мы вошли в кабинет, где стоял громадный стол, затянутый зелёным сукном, и придвинутая к нему деревянная лесенка. Карлица поднялась по лесенке и, достигнув стула, тяжело взгромоздилась.

Теперь, если не обращать внимания на её ручки, казалось, что за столом сидит обычный чиновник — неопределённого возраста, условно женского пола, с большим, как у мопса, карикатурным лицом. Карлица потянулась к огромной, размером с её корпус, книге. Приложив явное физическое усилие, она открыла эту внушительную книгу и стала методично листать. Она называла мне номер статьи, номер параграфа и номер абзаца. Затем она зачитывала этот абзац. В конце она произносила: «На это вы не имеете права». И переходила к следующему.

Она листала огромную книгу с явным физическим усилием: её маленьких ручек не хватало, чтобы пере-

листья огромные страницы. Я всем существом хотела уйти, я много отдала бы за то, чтобы уйти, но не имела на это права.

Наконец экзекуция закончилась. Карлица проводила меня до голого холла, снова протянула мне свою ручку — я низко наклонилась и пожала её.

...В ближайшей витрине магазина я вижу своё отражение: молодая женщина с длинными тёмными волосами, с громадным рюкзаком за спиной. Я стою так некоторое время и смотрю на себя совершенно бесчувственно, когда мне вдруг приходит мысль, что тот кабинет, с громадным столом и лесенкой, совершенно пуст. Иными словами, я решаю, что карлица мне просто пригрезилась.

Это такая тревожная и вместе с тем навязчивая мысль, что я, преодолевая ужас, возвращаюсь ко входу в учреждение — и снова вхожу в голый пустой холл. Я иду по длинному пустому коридору; ноги мои подкашиваются. Выхода из этого здания не существует, и я понимаю, что если в кабинете не увижу карлицы, то она мне померещилась. С этими мыслями я дохожу до самого конца коридора. Никакой двери там нет.

24.09.2021

Моя мутная богоизбранность

1

— Послушайте, уважаемая фрау, — отчеканивает она по-немецки, — нам совершенно всё равно, что там написано в вашем внутреннем российском паспорте. Еврейка вы или вы не еврейка, — этот вопрос может решить только наш мюнхенский ребе. Только он, вам это понятно?

Моему сыну семнадцать с половиной. Мне нужно, из кожи вон, устроить его на время в Германии. Чтобы он

именно здесь, в Германии, мог дожждаться своей очереди на окончательный переезд в эту страну. В России он этого не дожждётся: там его уже очень желают видеть воблоглазные дяди из районного военкомата. Чтобы отправить истреблять чеченцев — или кто у тех дядей по списку. Ну, или быть поводом к обрядовому мему «родинаваснезабудет».

2

Мюнхен душит. Жара нечеловеческая, беспощадная, липкая. Я, на слабеющих ногах, стою перед куклообразной фрау из администрации синагоги. Администраторша выглядит чистопородной немкой и говорит со мной по-немецки — командно. Всё это — в стенах синагоги. Что усиливает чувство дурного сна.

Но это только прелюдия. Я ещё не знаю, что мне всё-таки придётся отправить своего ребёнка назад, в Россию. И что для выезда моего ребёнка оттуда за границу (уже в Израиль, якобы на временное обучение) понадобится разрешение его биологического отца. Которого я не видела семнадцать с половиной лет. И который потребует от меня десять тысяч долларов за свою подпись. И что я, мечась, как раненый зверь, чтобы как-то опередить воблоглазных дядей из военкомата, додумаюсь пойти к нотариусу. Который заверит мне справку о том, что я не знаю, где находится этот самый отец. Что и соответствовало положению дел до роковой встречи с ним, вымогающим десять тысяч долларов за спасение своего сына. И будет эта справка мне стоить сто долларов. Такова скучная бухгалтерия спасения своего ребёнка из фашистской страны в отсутствие Шиндлера.

3

А пока я стою перед немкой из администрации немецкой синагоги. Жара убьёт меня, просто убьёт. А деловая женщина повторяет:

— Еврейство вашего сына должно быть определено по еврейству его матери, то есть вашему. И ни при чём тут внутренний паспорт вашего сына! Национальность «еврей» в таком документе для нас не убедительна. А ваше собственное еврейство может быть определено только нашим ребе. Наш ребе сейчас в командировке и приедет через неделю.

— Но у нас виза заканчивается через три дня!

— Уважаемая фрау, я вам ответила.

— Но наша виза...

— Если не сможете продлить визу, пусть определение вашего еврейства будет проведено по месту вашего жительства, в Петербурге. Но именно в синагоге.

4

...Вы несётесь назад, в Баварский фонд для писателей, где прожили с сыном два месяца, а через три дня будете выперты на вашу родину, из которой непонятно, как выбираться живым. Но сейчас вы, задыхаясь от жары, стараясь усмирить сердце, которое вот-вот лопнет, бежите в администрацию. Вы просите написать письмо для продления визы на одну неделю. А вам с наслаждением говорят, что не напишут. Почему? Ну, например, потому, что с выходцами из России дела иметь опасно. Почему? Ну, например, потому, уважаемая фрау, что до вас здесь жил российский сценарист (называют известнейшую киношную фамилию), и он наговорил по телефону, за наш счёт, на пять тысяч немецких марок. После чего скрылся.

5

В первый же день нашего с сыном прилёта в Петербург я бегу в местную синагогу. В голове моей роятся варианты «определения еврейства» — один другого безотрадней.

...Вот, например, ребе берёт портновский сантиметр и делает замеры различных частей моего черепа. Затем он пишет интегральные уравнения. И что-то не совпадает у него в итоге с необходимыми стандартами породы. «Нет, я не могу выдать вам справку, что вы еврейка».

...Или вот — по крови. На Невском, возле Гостиного, черносотенцы продают свою газету. Там написано про биохимический анализ на выявление евреев. Черносотенцы утверждают, что окислительно-восстановительные реакции в крови евреев протекают на 0,01 секунды быстрее, чем у русских. Может, они украли этот метод как раз у ребе? Или ребе позаимствовал у них? И вот — огромная мрачная лаборатория в подвалах синагоги... Кровь берут не лабораторным, а каким-то ритуальным методом...

...Мужчин, наверное, ребе проверяет на отсутствие крайней плоти...

...Или вот: еврейский бог Саваоф. Может, ребе обращается с таким вопросом напрямки к Саваофу? И тот ему посылает символические знаки: «Да» или «Нет».

А, кроме того, в голове моей вертится записка, которую мой ребёнок оставил мне как-то на немецкой вилле, где мы жили в Баварии. Там было написано: «Мамочка, отдыхай», а я прочла: «Мамочка, отвыкай».

6

Петербургский ребе сидит за массивным столом. Когда я вхожу в кабинет, он немного отъезжает в своём кресле на колёсиках. Если бы я могла заглянуть в будущее, то сказала бы, что, в целом, ребе похож на знаменитую скульптуру Margriet van Breevoort «Ждун». Такой же живот, так же держит руки. Вот только что бородатый, с пейсами и в кипе. В глазах застыла, ясное дело, двухтысячелетняя скорбь.

На протяжении моего разговора (про армию, Чечню, Мюнхен, визу, необходимость справки) он не делает ни од-

ного движения. Его чёрная борода видится мне бородой отпетого злодея. Я заканчиваю свой рассказ и жду, когда же начнётся процедура определения.

Вместо этого ребе говорит:

— Идите на первый этаж, по коридору налево. В окошечке заплатите миллион рублей, получите справку.

(Для сведения: в тысяча девятьсот девяносто пятом году буханка хлеба стоила тысячу рублей.)

— Какую справку? — откликаюсь я в некоторой растерянности.

— Что вы — еврейка, — раздражается моим тупоумием ребе. И с неожиданной торопливостью добавляет: — Вы не думайте, это не нам, это на благотворительность.

Я бросаюсь к двери и уже берусь за её бронзовую фигурную ручку, когда, в спину себе, слышу:

— А что, правда, что ли?..

Эта фраза произносится совершенно иначе — миролюбивым, домашним тоном вполне партикулярного человека, притом мужчины. Каковому не чужды земные чувства. В том числе обычное незлобливое любопытство.

— Что — «правда»? — переспрашиваю я.

— Ну, что как бы еврейка, — говорит ребе.

21.10.2018

Фабрика грёз

1

Заснуть, даже вздремнуть, не имело смысла, потому что в половине пятого она обязана была встать.

...На конвейере она клала жёлтый холодный перец — после красного, какой клал стоящий перед ней африканец. Жёлтый — после красного. Сзади стоял маленький человек,

похожий на китайца, он клал зелёный. Это был набор под названием «светофор». Таких жёлтых перцев она должна была положить семьсот штук.

Лента плыла перед глазами... Она действительно плыла, но это был также сон с открытыми глазами: она научилась спать с открытыми глазами, как лошадь, а лента плыла.

Иногда они менялись: она вставала на место африканца — и тогда клала красный перец — после зелёного, который клал кто-то перед ней. Семьсот красных перцев. А иногда она менялась местами с китайцем и тогда клала зелёный перец — вслед за жёлтым. Семьсот зелёных холодных перцев.

2

После этого она уже приближалась к желанной операции. Но ей предшествовала ещё одна. Следовало стоять лицом к огромному контейнеру, в который из металлической трубы сверху с грохотом валился холодный зелёный перец. Ледяной перец.

...Она не ожидала этой опасности, её невозможно было предвидеть! В резиновых перчатках, натянутых на голые до локтя руки, следовало руки погрузить до самого дна этого контейнера — и ворошить его ледяное содержимое с целью обнаружить брак: жёлтый или красный перец. И, как только погрузила руки в это ледяное зелёное крошево, миндалина её отозвалась — резко, тотчас же: она почувствовала, что начинается ангина.

3

Уже с ангиной, которая у неё начиналась всегда внезапно, она наконец добрела (надсмотрщик кричал понидерландски: «Не смей садиться! Не смей садиться!») — да: она добрела до желанной операции.

Это были тяжеленные ящики с уже складированными в них «светофорами»; каждый ящик весил двадцать пять килограммов. Собственно, почти всё на этом участке было автоматизировано: ящики плыли над головой по ленте конвейера, внизу тоже плыла лента конвейера, но, чтобы ящик попал на нижнюю ленту, его надо было снять с верхней, и вот это действие производил человек. Мышечная сила человека заменяла собой в этой цепочке механизм, который почему-то не был предусмотрен, — а скорее всего, оказался для производства менее экономически выгодным. Надсмотрщик кричал: «Вы в Нидерландах — и должны говорить по-нидерландски!» — что было странным, ибо разговаривать возможно было только с ящиками, да и на это не оставалось никаких сил; да, это было странным, ибо на фабрику брали именно тех, кто не владел нидерландским.

Это были такие тяжеленные ящики, что, прежде чем снять каждый, который проплывал над головой, его надо было чуточку развернуть. И вот в течение этих полутора секунд, пока она разворачивала каждый ящик, ей можно было спать.

12.11.2021

Посудомойка

...Одной из моих работ была, конечно, уборка квартир. Началась и закончилась она, что не странно, единственной амстердамской квартирой. Точнее, закончилась она в первые же полчаса.

Хозяйка зашла на кухню — и в ужасе закричала:
— Матильда!!! Матильда, ты взгляни сюда!!!

Орала она, правду сказать, как резаная. Почему по-английски, будет видно дальше.

Заглянула Матильда. Ею оказалась громадная афроамериканка — действительно громадная, сказочная, почти как Кинг-Конг, только с добродушной физиономией. А подруга её продолжала орать:

— Матильда!!! Она (тыча пальцем в меня, как в инопланетный объект) — она тратит столько моющего вещества для посуды... как я... как я — за целый месяц!!!

Дала мне два гульдена, чтоб я убралась — ну, в смысле, чтобы с глаз её убралась. Рядом был рынок. Я купила подарок для Франка. Кажется, нелепый зелёный галстук.

26.06.2022

Бebиситтер

1

Я работала в Амстердаме прислугой у богатых русских. Они командовали нефтью и газом.

...Их дочке было восемь лет; я занималась с нею. Родители искали женщину именно с двумя высшими образованиями; таковой я и оказалась. Девочка носила прелестные, словно бы дореволюционные платьица, какие со своей мамой выбирала по французскому каталогу. Из неё готовили породистую винтажную женщину, какую будет содержать такой же муж, как её нефтегазовой отец.

2

Девочке принадлежал отдельный этаж; в подвале особняка находился её собственный спортзал и детский бассейн. При этом — она была прыщавой и толстой, очень неуклюжей девочкой, которая обильно ела и постоянно пукала.

3

Я спрашивала себя, как же так получилось, что мой собственный сын, мой единственный ребёнок, с таким тру-

дом появившийся на свет, с таким трудом выращенный, будучи сейчас всего лишь подростком, пытается выжить, совсем один, под арабскими бомбами, а я, в Амстердаме, — нянчу чужого ребёнка? Почему? У нас не было сообщения, я даже не знала, жив ли сын. Так сложно, по крупицам, собранный когда-то смысл жизни, при мысли о том, чего я никогда не решилась бы назвать словами, рассыпался в прах.

Почему в моей жизни так странно сложилось? Что я сделала неправильно? Этот вопрос было почище апорий Зенона. Вот я и попала в неё, в апорию.

4

Ещё месяц назад я даже не представляла, что окажусь внутри кошмара; связи с сыном не было, первые полосы нидерландских газет с заголовком «Ливан продолжает бомбить север Израиля» были ежедневно залиты кровью. Сын обретался именно на севере, в лагере для подростков без родителей. Этот кошмар не кончался. Впадая в ужас от собственных мыслей, я вспоминала чеховский рассказ «Спать хочется» (кстати, когда-то анализировала его со студентами в американском университете), там нянька, сошедшая с ума от бессонных ночей, с облегчением душит подопечного младенца.

5

...Почему-то я на всю жизнь запомнила затылок её отца. Регулярно, дважды в неделю, этот человек, всегда в костюме и галстукe, возил меня в машине на рынок (я покупала также продукты для этой семьи), а рядом со мной, на заднем сиденье, сверлила меня злобными глазками его мать: она сторожила, чтобы я, на обратной дороге, что-нибудь не съела. У моего хозяина, сына этой женщины и отца толстой неприятной девочки, была здоровая, сильная, очень чистая шея. Она, чуть бурая на вид, красиво возвышалась над полоской белоснежной рубашки.

Но гипнотизировал меня именно затылок. Очень аккуратный затылок, коротко постриженный, где все волоски были выверены с феерической точностью: волосок к волоску... Русского прошлого за этим затылком не просматривалось. Это был затылок человека,двигающего правильные рычаги в глобалистском мире.

Мать этого человека одним глазом следила, чтобы я не съела морковку, а другим... Другим глазом она, с нескрываемой любовью и гордостью, смотрела в правильный, надёжный, перспективный затылок своего сына. Каким образом она смогла вырастить вот такого сына? Почему не смогла — я?

26.06.2022

Наалдвейк

Одна из моих работ состояла в том, чего я не помню. А запомнила я только всё косвенное, побочное, что ту работу так или иначе обрамляло. И вот почему-то побочное, оставшись в крупноячейстом сите памяти, стало главным.

...Это был, по сути, конвейер овощей в Наалдвейке, но моя работа к тому времени протекала уже не на самом конвейере, а в каком-то закутке, ограниченном со всех сторон стальной решёткой.

Вот о том закутке и речь. Вход и выход в тот закуток осуществлялся через турникет. Сам же турникет обслуживался не человеком, что было бы мне понятно, но автоматом. Автомат имел горизонтальную прорезь. Туда надо было вставить фиолетовую карточку. На реле зажигались

цифры — турникет срабатывал — и ты в закуток входил. А если надо было в туалет, ты вставлял карточку — и временно выходил. Потом вставлял — и входил снова.

На реле автомата, при вставлении туда карточки, загорались красные цифры. Всегда — шесть цифр. Всегда — разных. Невозможно было понять, что они означают, потому что невозможно было уловить их алгоритм. Наверное, это были человеко-часы, высосанные тем закутком. А может, это было конкретное число эритроцитов, какие высасывались там по контракту, переходя в часы трудозатрат, а затем в конкретную прибыль предприятия.

Я догадывалась только, что выходить следует как можно реже, потому что владельцы заполучат от меня мои эритроциты всё равно, но для меня самой эритроциты исчезнут без компенсации. Я заметила, что остальные работники не выходили вообще. То есть они выходили только в конце рабочего дня. И я поняла, что моя догадка верна.

Также в том закутке был, среди прочего, контейнер, куда ссыпались ледяные овощи. Они ссыпались откуда-то с серого потолка. Это были ярко-зелёные перцы. Почему-то надо было окунуть в тот контейнер свои руки, по самые плечи. На руки были надеты длинные резиновые перчатки. Но они не грели. В первый же раз я почувствовала, что у меня от холода, мгновенно, спазмируется горло — начинается ангина. Перед глазами встал маленький рабочий автобус, на котором в пять часов утра нас, продавцов своих человекожизней, обычно завозили в промзону. Африканки, сидевшие в задних рядах, всегда так громко хохотали, что были видны их сильные чистые глотки — алые, как пламя. Я поняла, что мои миндалины через пару часов будут выглядеть не столь оптимистично, но я всё равно стояла на ногах, как если бы ничего не происходило, потому что не хотела дополнительно потерять свои эритроциты при выходе из закутка.

Однажды в закуток вошёл человек. Я заметила, что турникет при его приближении сработал сам, без какой-либо карточки. Он сказал, что можно сдать эритроцито-часы внеурочно, то есть ещё за половину дополнительной смены.

И все работники остались. Это были именно те африканки, которые, несмотря на ранний час, всегда громко хохочут в автобусе, и ещё один жилистый парень, латиноамериканского вида, который меня всегда спрашивал, откуда я всё же приехала, и я всегда отвечала, что из Японии.

Когда наступила ночь, нас, работников, опять погрузили в автобус, а человек, который входил без карточки, сказал мне, что может на своей машине подкинуть меня до поезда. Не знаю, почему он выбрал именно меня. Я согласилась, хотя мне было страшно: ведь он обладал такой властью, что турникет срабатывал сам собой. Когда он подвёз меня к станции, как раз пришёл последний ночной поезд, и я кинулась к вагонам, а билет купить не успела. Обычно мне билет не был нужен, я имею в виду проездной, потому что рабочую силу развозил автобус. И сейчас, когда билет мне впервые понадобился, я не успела его купить.

Я ввалилась в вагон и моментально уснула. Меня разбудил человек и сказал, чтоб я показала ему билет. Он сказал также, что я еду в вагоне первого класса, хотя мне место не здесь. Вагон был пуст. Человек выписал мне штраф: на этот штраф ушли все мои эритроцито-часы в дополнительной смене.

23.07.2022

Первое марта

1

Отвоеванные дни и часы, в течение которых она даже не успела, не посмела отогреться в стране людей, закончи-

лись. Туда ей удалось вырваться с помощью ума и яростного отвращения к монотонному, уродливому; ей удалось вырваться из-за колючей проволоки, но эти дни и часы закончились.

Они заканчивались там несколько раз — но она отвоёвывала их снова, ещё немного. Пришлось платить единственным, что есть у живого голого человека, — кровью, нервами, снова кровью, нервами, ибо иных единиц оплаты у неё не было. Но вот закончились и нервы. Кровь ещё была, а нервы закончились.

2

Она вернулась в концлагерь.

Отчаяние. Душераздирающая чужеродность. Унижение в каждой точке пространства. Ярость и злость за растерзанную здесь, растоптанную, единственную свою жизнь.

Она отключила чувства человека и личности, оставила только рефлексы животного, отвечающие за продление существования. Нужно было перетерпеть. Нужно было перетерпеть, с отключёнными чувствами, несколько дней.

3

У неё, заранее, был запланирован второй побег: имелся даже билет на самолёт. Сейчас она решила стоять насмерть.

Нервы оставались истёртыми в пыль, но их заместила ярость. Казалось, ярость существовала сама по себе, вне нервов, даже вне её существа, — как громы, запаздывая в небесах, существуют словно отдельно от яркого, первоначального раскола неба.

4

...Первого марта она закидывала пожитки в чемодан. Всё вокруг внушало ей отвращение, чемодан глумливо на-

поминал гроб; скудные, жалкие земные пожитки, были трухой телесного распада.

Чемодан, поставленный на два сдвинутых стула, благодарно и жадно принимал в свою утробу жалкий вещевой скарб. По сути, — сжатую до размеров чемодана, окарикатуренную жизнь человека.

5

Чтобы как-то скрасить мученье, она включила телевизор. В последние годы она резко выключала радио, телевизор; она не могла слышать эти голоса, этот звуковой фон; окружающие смотрели на нее растерянно. Но сейчас она подумала, что попробует найти что-то, чуть меньше разящее помойкой, а при том ещё — и выключит звук. Ну, мультфильм с выключенным звуком. Просто мелькание. Это можно будет перетерпеть.

6

...С экрана на неё смотрел убитый журналист. Она вспомнила, что сегодня первое марта: в этот же день, сколько-то лет назад, аборигены убили царя. Долго-долго длилось сафари отребья, и наконец оно удачно завершилось.

С экрана на неё смотрел убитый журналист. В любом случае изображение оставалось беззвучным. Это была огромная, во весь экран, фотография. Коллеги выставили её, на целый день, в знак протеста. Да уж: протест. Внизу стояло одно слово: УБИТ.

7

Да уж: протест! С экрана на неё смотрел убитый. Она металась, заворачивала мелкие предметы в мелкие бумажки, утроба гроба всё это поглощала; убитый смотрел.

Она могла бы переключить на мультфильм, но не делала этого. Она понимала, что молчащее лицо убитого послано ей для силы.

8

Лицо убитого смотрело беззвучно. Оно наблюдало, как она бросает мелкие вещи в утробу гроба.

Она швыряла вещи всё быстрее, всё яростней. Убитый смотрел молча. Она швыряла. Пришло нестерпимое понимание, что так — здесь, в концлагере, — будет всегда. Ежедневное жевание той же самой, той же самой, что и тысячу лет назад, мякины. Местные сатрапы истории, согласно и вразной движая челюстями, перемелют, в беззвучье природы, любые сердца.

Человек живёт там, где он может осуществить свою личность. Оставайтесь. Молчите. Делайте, что хотите. Чужие, вы уже далеко.

Быстрее, быстрее!

...Молчащее лицо убитого.

12.10.2022

Точка

Моя работа состояла в том, чтобы сгружать ящики — с верхней ленты конвейера на нижнюю. Каждый ящик весил двадцать килограммов. Ручек у него не было. Простой пластмассовый ящик с красными перцами.

Было странно, что в этой точке нидерландского производства механизация отсутствовала. Чтобы соединить две ленты конвейера, требовалась мускульная сила человека.

И я попала в ту точку. Ящики ползли один за другим, непрерывной цепью. И вот в этой точке, где я их сгружала, существовал большой профит. Можно сказать, что мне повезло.

Дело в том, что каждый ящик, который подплывал ко мне над моей головой, невозможно было сгрузить сразу же: его просто невозможно было ухватить. Надо было встать на цыпочки, вытянуть руки сильно вверх, но даже и в этом положении мне очень трудно было ухватить ящик, который находился у меня над головой.

Поэтому я сначала разворачивала его углом. Вот в этом положении, под углом, я его кое-как сволакивала. Для того чтобы развернуть ящик углом, требовалось три-четыре секунды. В это время можно было спать.

22.11.2022

Собственность

...Другой моей работой была Американская телефонная компания в Нидерландах. Ну, работой несбывшейся. Они просто взглянули в моё резюме, которое состояло из литературных публикаций. И погнали меня прочь. Если бы я была умнее, то написала бы другое резюме, то есть подложное, — никаких публикаций, никаких романов, никаких таких стихов, и тогда бы меня взяли в Американскую телефонную компанию, и я бы ходила туда по сей день, и соответствовала бы всем требованиям развитой цивилизации, и сидела бы на антидепрессантах, и у меня был бы собственный дом.

22.11.2022

Между стальными дюнами

1

...Иммиграционный адвокат протянул мне пластиковую карточку и сказал:

— Постарайтесь не работать посудомойкой. Вы — писатель. Мы даём вам вид на жительство именно как писателю. Посудомоек нам хватает.

И добавил рассеянно:

— Вы ведь, кажется, из Франции? Или из Англии? У вас может быть, найдутся the so called family money?

Фамилия адвоката, если перевести с нидерландского, означала Розовые Сны.

2

...Бесполоя колода из социала отрезала категорически:

— Будешь убирать навоз за животными.

— Но иммиграционный адвокат сказал мне...

— Вот пусть иммиграционный адвокат тебе и платит!

И добавила:

— А ты что думала — будешь сидеть дома и книжки писать? — И затем, категорически: — Ты — не будешь.

Эта сцена имела место двадцать лет назад. Фамилия социальщицы, в переводе с нидерландского, была довольно странная: Стальные Дюны. Охо-хо!

3

Нынче настал черёд жилищников. Рвутся вселить меня в помещение, где, вьётся вверх типичная голландская лестница, крутизной корабельного трапа, формой винного штопора.

Как подытожил однажды, карабкаясь по такой в WC, мой американский переводчик:

— A lawsuit waiting to happen. (Судебное разбирательство так и поджидает.)

Ну, здесь не Америка. Сломаешь голову — никакого морального ущерба.

Фамилия дамы, которая дирижирует непосредственным моим соотношением со штопором, в переводе с нидерландского, означает Туманный Ветер.

...Монтигомо Ястребиный Коготь, вождь непобедимых, где ты?..

10.12.2022

Таррега

Он был из Грузии, хотя не грузин. В понедельник нечем было платить за квартиру.

— Послушай, Маро, — сказал он, — пошли к ратуше, я буду играть Таррегу, а ты — танцевать тарантеллу.

— Но ты же не играешь Таррегу, — сказала я, — а я никаких тарантелл не танцую... Да Таррега их и не писал!

— Какая разница, — сказал он.

Мы вышли к каналу.

«Залечь на дно в Брюгге» — это интересно, если смотришь кино. Да и то не всем. Может, клерку — или такому человеку, который... как бы это сказать... судорожно жрёт любые впечатления, но остаётся беспробудно пуст.

Вокруг был Брюгге. Ничего хорошего.

...Возле ратуши стояли два парня с мотороллерами, в униформе почтальонов.

Мой друг вытащил гитару из потёртого, очень потёртого чехла, объявил:

— Франсиско Таррега. Тарантелла.

И стал играть Цоя, попури. Ну, меняя ритм.

«Это не со мной, — была первая мысль в голове. — Это не я».

Однако — стала танцевать. Это было что-то в духе мамочки на свадьбе сына. Мамочка хочет казаться молодой: дескать, я ещё десяток таких, если что, настрогаю.

Но почтальоны, кажется, в это поверили. Краем глаза я увидела медяки на дне футляра. Их становились больше,

потому что больше народу. Подтянулись пенсионеры с разнообразными собаками. Один из владельцев назидательно сказал своему фокстерьеру:

— Вот будешь плохо кушать, будешь какать, где попа-
ло, продам тебя в цирк! Станешь там плясать, как эта жен-
щина!

Медяки прибавлялись. Правда, поскольку футляр большой, их всё равно казалось мало. Зато появились даже купюры. Мой друг, с несвойственной ему деловитостью, придавливал их камушками. Время от времени он торжест-
венно выкрикивал:

— Франсиско Таррега! Тарантелла! — чтобы зрители осознали, что присутствуют при «высоком».

И продолжал моего любимого Цоя. Ну, чтоб мне было веселей. Думалось: вот сейчас, как в сусальных рассказах раннего Горького, грохнусь на камни от разрыва сердца.

— Маро, — сказал вечером друг, — вот ты говоришь, что Таррега никаких тарантелл не писал. Скажи: ты действительно считаешь, что это существенно?

Мы заплатили за две ночи вперёд.

31.07.2023

Счастливая Деревня

(Blijdorp)

1

— Мари, вставай! — толкают меня в бок. — Покажешь, где продают самую тонкую прозрачную бумагу.

Господи боже! Мне было так хорошо: снился зимний лес моего детства...

— Где в Роттердаме самая тонкая прозрачная бумага?

Даже сквозь сон мне понятно: мой бойфренд собирается сделать себе фальшивый паспорт. Ну да: сделать

фальшивый паспорт, переплыть Северное море, попасть в Данию — и там дико разбогатеть, продавая жареные пирожки с мясом нутрии. Господи, как мне всё это надоело!

2

Собственно, это рассказ о том, как мы выглядим на самом деле — и как следует нам выглядеть, чтобы достичь жизненного успеха.

Мой бойфренд выглядел, как гомосексуал (по крайней мере, на том отрезке жизни), но это было полностью ложное впечатление. Уж я-то знаю, о чём говорю, ибо мы прожили вместе два года. Он окончил с отличием военное училище где-то под Красноярском, и у него была прекрасная офицерская выправка, то есть очень прямая спина, поэтому все гомосексуалы роттердамского района Blijdorp (Счастливая Деревня) принимали его за балетного.

Но он занимался тем, что собирал милостыню возле супермаркета «Albert Heijn». А с прямой спиной не очень-то милостыню пособираешь, поэтому Генка как-то странно изгибался. Видя эти изгибы, гомосексуалы Счастливой Деревни ходили невдалеке от магазина и лъстиво на Генку поглядывали. Дай бог ему здоровья, где бы он сейчас ни был, а тогда мы жили вместе, и он уделял большое внимание (как он это понимал) моей физической форме, потому что у меня болела сломанная нога и её надо было разрабатывать. В расположенном неподалёку парке Vroesenpark он делал сальто назад — и ждал от меня, чтобы я сделала то же самое. Но, скажу, дай бог ему здоровья, он меня сильно переоценивал, причём во всём сразу, так что с этим сальто назад у меня, в мои сорок пять, не вышло, а вот он эти сальто проделывал легко, играючи, целой серией, — и самые красивые гомосексуалы Счастливой Деревни, глядя на это его сальто назад, просто дрожали.

По правде говоря, Генка не то чтобы собирал милостыню, а продавал газету для бездомных — «Straat» (аналог российской «На дне»). Но, поскольку эту газету никто не покупал, а медяки ему всё же кидали, я и говорю, что он собирал милостыню. И опять-таки: не то чтобы эту газетёнку уж совсем никто не покупал, из ста экземпляров покупали, допустим, два, — так что если Генка видел этих покупателей где-то в другом месте, всегда говорил мне с гордостью:

— Глянь, Мари: это мой клиент... А вон — и ещё один!

Когда мы стали жить вместе, я шла в супермаркет, а Генка, стоявший там уже давно перед входом, отсыпал мне кучу мелочи (у меня была специальная баночка из-под маринованного чеснока), и я покупала нам еду. Это было наше самое счастливое время в Счастливой Деревне, северном районе Роттердама.

Но вот у Генки закончился контракт на продажу этой газеты. Меня спросят: как же так, ведь Генка был нелегалом (а он им действительно был) — и при том какой-то «контракт». Вот кто так спросит, тот, я думаю, родился в своих Больших Опочивалах, там и живёт, а в Европе бывал на трёхдневном автобусе.

Во-первых, из Нидерландов никто нелегалов «за просто так» не депортирует. Будешь болтаться голодный и, если не сколотишь банду, так сам возмечтаешь убраться, как можно скорей. Так что я уж не ведаю, что именно следует сотворить, чтобы тебя депортировали. У меня тут был друг из Тбилиси, он парню с соседнего с ним матраца на почве пьянства и отчаяния полоснул бритвой по горлу, хотя и не насмерть. Но даже тогда, когда он вышел из тюрьмы (я хлопотала), его не депортировали. А депортировали его, когда он уже второй раз вышел из тюрьмы, куда попал, я не знаю

за что (у меня был Генка, я не хлопотала). И он, в одних трусах, с замотанной скотчем головой (ему заклеивали рот, он матерился), с замотанными ногами, с примотанными к телу руками, был, словно ценная бандероль, отправлен в Грузию первым же рейсом «Аэрофлота». Более того, тут нелегалов немеряно, а русские в холодное время года прямо таки атакуют полицейские участки, чтобы переночевать. Но их туда не пускают, ибо — чем они лучше других? Пусть идут в телефонную будку, откуда пришли, и там ночуют, вытянувшись втроем вертикально, как сельди в бочке. А они вдобавок мечтают попасть в нидерландскую тюрьму, и я их понимаю, ибо бывала там, когда, на костылях, навещала моего грузина, и скажу, что они правильно мечтают. Но их не берут за просто так, ибо — чем они лучше других?

Во-вторых (я перехожу к самому контракту), поясню, кто и как его получает. Для тех, кому отказано в иммиграционной процедуре, а также для тех, у кого сама процедура пришла к негативному решению, или, скажем, для восточноевропейских женщин, которым не удалось захомутать идиота-голландца (а перед тем — идиота-француза, идиота-немца, идиота-бельгийца), существует в Роттердаме блаженная обитель, а именно, Pauluskerk (кирха Св. Павла). То есть, иначе говоря, это неправительственная организация, помогающая страждущим. И там, в кирхе, устроено всё действительно, как в раю (ну, насколько я себе представляю рай): на первом этаже балдеют и тащатся, как умеют, наркоманы-аборигены, а иностранцы, обитатели второго этажа, за счёт кирхи, их обслуживают: бутерброды, кофе, всё такое. И получается такой райский, гармонично сбалансированный биоценоз. (В первые годы моей бездомности я зверски завидовала тем наркоманам.)

Так вот: те, кто обслуживал наркоманов, «контингент второго этажа», — как раз и были продавцами газеты «Straat» — по контракту с этой самой кирхой, где заведовала делами пастор и его невестка. А что это были за люди

такие — «контингент второго этажа»? Ну, про женщин с их незадавшейся матримониальной программой, я уже сказала. А мужчины были таковы: одна половина, — это те, которые бежали от преследователей, делающих в них «пифпаф», а другая половина — как раз те самые преследователи — ибо за ними уже гнался не очень действенный, но уголовный закон их стран. То есть там был собран весь Кавказ, а также Турция, Ливия, Сомали, Афганистан — ну, продолжайте сами. Короче, в целом, там жили военные преступники, русские невесты и нормальная уголовщина. Потому так и получалось, что мужчины-антагонисты встречались друг с другом на соседних матрасах, хотя вовсе к этому не стремились. То есть: их роковое randevu имело постоянное место в роттердамской кирхе Св. Павла, на втором этаже, что ближе к Господу Богу, да не будет помянут всуе. Вот там мой (временно мой) грузин и перерезал горло кому-то, кажется, из Приднестровья, потому что тот перепутал слова в песне «Ты жива ещё, моя старушка?».

5

И вот именно поэтому, то есть, чтобы антагонисты поменьше контактировали друг с другом, пастор и его невестка регулярно вынимали из их дланей ножи и бритвы, а влагали им туда газетёнку «Straat». Генка же (у которого, напомним, закончился контракт на продажу газетки), хотя и окончил военное училище под Красноярском, но, живя на втором этаже кирхи, военным преступником не являлся. Я пишу о начале двухтысячных: уже давно развалился Союз, и Генка (он был родом из Украины) у себя в Чернигове занимался бизнесом в стиле «пирожки с мясом нутрии», а из армии он до того уволился вчистую. И каждый день, переехав из кирхи ко мне, живя со мной на чердаке, он крестился на пустой тёмный угол в паутине, шёпотом приговаривая:

— Господи, дякую тобі, що напоумив мене звільнитися з лав збройних сил, інакше я б, видно, був посланий орудувати саперними лопатками. Ти вберіг мене від цих саперних лопаток, спасибі тобі, Боже!

6

Поскольку у нас речь пойдёт о внешности, которая приводит к успеху, надо рассказать, как я с Генкой познакомилась. Подумайте сами: наверное, что-то всё-таки есть в женщине за сорок, на костылях и с загипсованной ногой, если она так запросто знакомится с хлопцем, который на десять лет её моложе? У которого, вдобавок, уже сейчас — офицерская выправка, а в будущем — неслетные богатства от продажи пирожков с мясом нутрии? Правда, хоть я его и видела возле магазина, мои существенно эстетические требования к мужскому экстерьеру были крайне от него далеки. У меня, в сумерках головы, ещё маячил мятежный грузин с бритвой «жиллетт», а не человек, собирающий милостыню.

Но случилось так, что я зашла к сапожнику — спросить подходящую галошу на загипсованную ногу (зарядили дожди), а Генка тоже зашёл туда, поскольку забыл там зонтик. Сейчас, когда прошло уже чёрт знает сколько лет, до меня начало доходить, что Генка, скорее всего, всё это подстроил, а тогда — меня поразил именно этот его зонтик. Который, не будучи у башмачника обнаруженным и оставшись где-то в сфере грёз, добил меня тем, что напомнил, конечно, стихотворение одного петербургского поэта (даю в строчку для экономии места): «Прозаик прозу долго пишет. Он разговоры наши слышит, Он распивает с нами чай. При этом льёт такие пули! При этом как бы невзначай Глядит, как ты сидишь на стуле. Он, свой роман в уме построив, Летит домой, не чую ног, И там судьбой своих героев Распоряжается, как бог. То судит их, то выращивает, Им зон-

тик вовремя вручает, Сначала их в гостях сведёт, Потом на улице столкнёт, Изобразит их удивленье. Не верю в эти совпадения! Сиди, прозаик, тих и нем. Никто не встретился ни с кем».

7

А мы — встретились. Из уважения к замыслу Создателя, следует изобразить все этапы этой встречи, которые были так же незримы, как тот зонтик, и которые я восстанавливаю ретроспективно.

а) Меня, в Роттердаме, сбил «Мерседес», мне сделали операцию, и я, конечно, хотела, чтоб кто-нибудь, хоть кто-нибудь, хоть один человек, пришёл меня навестить, но у меня никого не было.

А в это время Генка, в Украине, выехал на грузовике получать для транспортировки чьи-то персики.

б) Меня отправили на мой чердак. Но там я, в первые же дни, дважды упала, повредив ногу (она была не в гипсе, только с титановым стержнем). И пролежала я, при втором падении, одна, двое суток, так что кости сместились, и мне снова сделали операцию.

А в это время Генка вёл грузовик с персиками по территории Украины. Но посреди очень лирической степи его грузовик вдруг застопорился и, за четыре часа, при температуре тридцать шесть градусов Цельсия, три тонны персиков превратились в кашу.

в) Мне сказали: mevrouw Palej, мы результатом операции недовольны, делать её было трудно, поскольку за двое суток мышцы зафиксировали кости в противоестественном положении. Но это — ваша нога (с ударением на «ваша»), так что решайте сами.

А в это время Генка, у которого, конечно, не было никакой страховки, стал голимым должником, его поставили «на счётчик», и потому он внезапно появился в Королевстве Нидерландов.

г) Я сказала: делайте. Они сделали мне операцию, но снова остались недовольны. У меня есть подозрение, что они учили на мне студентов. А может, студенты или стажёры всё это делали, самостоятельно. (Спокойно, товарищи, я тоже читала «Триумфальную арку».) Мне сказали: мы снова недовольны, но, *tevrow Palej*, это — ваша нога (с ударением на «ваша»), так что решайте сами. Я сказала: делайте, только дайте мне, бога ради, три дня передохнуть, а то я умру. Дайте мне, пожалуйста, передохнуть в больнице, на этой дорогостоящей койке, потому что на чердаке я снова упаду — и эта ситуация будет повторяться, пока вы не вынесете меня вперёд ногами.

А в это время, в Королевстве Нидерландов, Генка пошёл сдаваться в полицию, назвав себя пострадавшим от преследования его как члена Белого Братства. Однако этот номерок у него не прошёл (а про кирху Св. Павла он ещё не знал), и ему, по иммиграционным правилам, посоветовали убраться в «первую свободную страну к востоку» (он-то, дурак, добирался до Нидерландов автобусом, а не самолётом, иначе всё было бы иначе) — итак, ему посоветовали отправляться в «первую свободную страну к востоку», которой является Германия.

д) Мне не дали передохнуть трёх дней, а дали два, и снова сделали операцию, и снова остались недовольны, а я подумала: Господи, а ведь я умираю.

А в это время Генка пошёл сдаваться в немецкую полицию, там его продержали три дня в кутузке (правда, и кормили), а затем очень сильно поколотили и велели убраться «в первую свободную страну к востоку», которой является, соответственно, Польша.

е) И мне снова сделали операцию, и сказали: мы недовольны, а вы решайте. И я сказала: отправьте меня на чердак, и они отправили, и там я пролежала трое суток без воды, а потом только ползала, потому что я боялась встать.

Вот тут возник сказочный момент. Генка пошёл по лесной дороге, какую указали полицаи, дав ему даже немножко денег и поясняя, что там он сможет сесть на автобус, идущий «в первую свободную страну к востоку». Однако на подходе к какой-то ферме Генка увидел трёх здоровущих псов, размером с телят, которые недвусмысленно перегородили ему дорогу. Когда Генка попытался сделать ещё один шаг, они зарычали. Конечно, это всё напоминает сюжет «Огнива», но я понимаю: если Генка что и присочинил, то не для того, чтобы меня очаровать, а чтобы не свихнуться. И вот, как говорил мне Генка, он вынужден был свернуть на другую дорогу. Свернул — и вышел к автобусной остановке, над которой реял флаг Нидерландов.

8

Я вас не очень утомила? Так вот. Когда мы остались без всего, даже без еды, я ему говорю: ну, попробуй этот гомосексуальный путь, там ведь тоже бывает платоническая любовь. И там она даже чаще! И чище! Может, чем и помогут, у них свой мир. Он пошёл к одному, но говорит мне: можно, я тебе буду оттуда, по ходу дела, звонить? А то я боюсь. Я говорю, да, конечно! потому что я тоже боюсь до смерти.

И вот он звонит и говорит:

— Мари, он наливает мне чай. Пить?

Я говорю:

— Да пей, ладно. Может, он без клофелина.

Через минут десять — слава богу! — звонит:

— Слушай, он ставит музыку...

— А какую? — спрашиваю.

Генка:

— Так я и говорю: слушай. Откуда мне знать!

Я прислушалась и говорю:

— Ёлки-палки, да это же Малер! «Воскресение», библейский сюжет... Сиди! Добрый знак!.. Светлый!..

А минут через пятнадцать звонит:
— Мари, он мне руку на бедро положил. Что делать?
Я говорю:
— Ты одетый?
Он:
— Одетый.
Я:
— Значит так. Скажи ему, что ты хочешь принять ванну.
А сам — беги! Только без драк!!!
Он говорит:
— Гос-с-споди, Мари... Ты бы видела... У него такие глаза жалкие... как у побитого пса...
Я:
— Ну и?!!!

9

Но не могу сказать, что, даже оставшись без средств, мы были так уж несчастливы в Счастливой Деревне. Вовсе нет. Хотя иногда было жутко. Очень жутко. Мы погибали. Ну, человеку, если он не идиот, жутко всегда. Это, по моему, важнейший показатель его психического здоровья.

Мы заходили в «Albert Heijn», возле которого Генка когда-то так процветал — и даже давал мне деньги на еду. Там, внутри, был, как есть и сейчас, бесплатный кофе со сливками и сахаром, потому что это один из самых богатых супермаркетов Нидерландов. Иногда там были крохотные, как для птиц, кусочки новых сортов сыра, новых сортов шоколада или кекса. Ни один голландец их не трогал. По крайней мере, я не видела, чтобы трогал. Ну, а мы съедали.

Не надо думать, будто мы ничего не предпринимали. Генка имел золотые руки (дай бог ему здоровья, хоть я не знаю, где он), — такие руки я встречала только у моего отца. Поэтому Генка, конечно, нанимался делать ремонты, но... Это всё были новорусское сволочьё, которое ему, под занавес, ничего не платило.

Что касается меня, то я не имела разрешения на работу, и все мои попытки устроиться по-чёрному кончались ничем. Людям не нравилось моё лицо, им не нравилась моя речь. То и другое их пугало, они говорили: здесь, на этой грязной работе, вы будете не на месте. Это так голландцы говорили. (Но где же я буду на месте? В гробу?) С русскими было ещё хуже: они спрашивали о моих планах и, когда я им отвечала (а какие у меня планы? я пишу книжки), они смотрели на меня отчуждённо, как-то сбоку, как курица на невкусного червяка, и говорили с неприязнью (и почему-то в третьем лице): д-а-а-а... эта знает, чего она хочет... (Лучше бы я не знала? Бог им судья.)

И всё же тогда, в Счастливой Деревне, я написала две книги, которые мне дороги. Они мне очень нравятся, иначе я бы их не опубликовала. В стране моего исхода они понимания не получили, но это не имеет для меня значения: я их люблю и, с годами, люблю всё больше. Я вспоминаю, как писала их, положив обе ноги на стол, а печатная машинка стояла между... В ногах зверствовала боль, я не могла держать их вертикально. Да, они были задраны на стол, в связи с чем Генка говорил, что Наполеон был ранен в ногу — и тоже держал её, когда подписывал свои реляции, исключительно на барабане. Он мне и вообще говорил, что я похожа на Наполеона. Станный комплимент для женщины.

10

Да, о внешности. Той, которая ведёт к успеху. Генкина стройная спина всё-таки сработала, и попались нам лучшие из людей, что я встречала: их звали Хенни и Франс. Они составляли супружескую пару, где первый и впрямь был из балетных, а второй был рабочим сцены. Я не видела красивей, уютней, счастливей дома, где всё сияло любовью и благоденствием. Когда Генка уехал (потому что мы истер-

зали друг друга нищетой, и, главное, не видели выхода) — когда Генка уехал, он «завещал» меня этой паре. И Хенни мне действительно помог — с получением паспорта.

В то время экзамена по языку не существовало, а следовало только поговорить с чиновником-паспортистом, и он должен был оценить всю прелесть ведения тобой светской беседы. Но беда состоял в том, что я, не имея прав на работу, не могла оплатить курсы языка, а бесплатные курсы мне не полагались. Кроме того, я — не посетитель кафе, танцев, пивных праздников, народных гуляний и прочей чуши, где так беспощадно крадётся время. Иными словами, я сидела анахоретом на своей верхотуре и не общалась с людьми долины. Да, я уже умела отвечать на нидерландские официальные письма — на любые официальные письма, из любых инстанций. Но мой страх заключался вот в чём: мне казалось — а вдруг чиновник заговорит со мной, скажем, о мировоззрении Спинозы, исследования которого приводят к первичному (как с онтологической, так и с логической точки зрения) бытию — то есть к бесконечной субстанции, которая есть причина самой себя? А что! Российский чиновник вполне бы мог, лишь бы не делать ни черта.

И вот мы с Хенни поехали к чиновнику, который в ходе разговора тоже, видно, прельстился спиной Хенни — она была суперстройной — и говорил сугубо с ним, так что, когда я пыталась вставить два-три предложения о мировоззрении Спинозы, он меня даже и слушать не хотел, а только выдал мне паспорт, чтобы я, наконец, отвязалась, — и снова уточнял у Хенни, где и когда можно увидеть его танцы вживую.

Ну, а курсы я окончила уже потом.

Да, так вот о внешности. Дело в том, что до всего этого, то есть когда у Генки уже истёк его контракт, но он, Генка,

ещё не уехал, — он решил сделать отчаянную попытку. Он решил этот контракт продлить. Он говорил мне, что некоторым — продлевали. И он попросил меня сходить с ним в кирху Св. Павла, к невестке пастора, которая этим делом заправляла.

Мы пришли — и я, к ужасу своему, увидела, как я резко отличаюсь от всех. От тех, кому оказывают помощь. У меня был неправильный алгоритм лица, тела, дыханья. Даже там я была чужой. Так и оказалось. Когда настала наша очередь, мы робко вошли в кабинет невестки. Она не предложила нам даже сесть. Я вкратце изложила нашу ситуацию, потому что наша ситуация излагалась коротко. И невестка пастора спросила лично меня:

— Так вы хотите сказать, что у вас нет разрешения на работу, а при этом нет и пособия?

Я сказала:

— Если я обращусь за пособием, мне его дадут, но затем — не продлят мой временный вид на жительство. Так написано сзади на карточке. Меня депортируют.

Она сказала:

— Никогда о таком не слышала.

Я сказала:

— Нам не на что жить.

Она сказала:

— У нас в стране ещё никто не умер от голода.

И затем, лично мне:

— Я вам не верю.

Почему я не показала ей карточку? Я не знаю. Может, потому что в тот момент мне было всё равно. И так, контракт нам не продлили.

12

Когда мы вернулись на чердак, я вытащила ручное зеркало и стала себя рассматривать. Глаза мне показались слишком пристальными, стало страшновато самой. Может,

поэтому?.. Что ещё? Нос не славянский, рот обычный, зубы на месте, в волосах начинается седина. Какая именно кодировка человеческой беды может свободно считываться с человека — человеком — так, чтобы было понятно всем людям? Даже безграмотным? Что мне сделать со своим лицом? Вымазать сажей? Подставить глаз под удар кулака? Попросить, чтоб мне выбили передние зубы?

...Через много лет, неизвестно откуда, Генка пришлёт мне имейл. Он напишет, что никогда не был так счастлив, как те два года в Счастливой Деревне. Кстати сказать, мы не сознавали тогда, что живём в Счастливой Деревне, потому что привыкли называть это место так, как оно и называется по-нидерландски: Blijdorp. Мы как-то не вдумывались в смысл названия. Этот рассказ у меня был задуман совсем с другим названием, но, по мере его написания, я стала осознавать, что значит это слово: «Blijdorp», — и, к самому концу, название поменяла.

Меня там давно нет. Но зато построена новая станция метро — как раз возле выхода из того супермаркета, где стоял Генка. Эта станция расположена, конечно, и рядом с «зеброй», где меня сбил «Мерседес», и с чердаком, где я писала книжки, и рядом с парком, где Генка крутил свои сальто назад. Она так и называется — Blijdorp. Будете в Роттердаме, сядете в метро на Центральном Вокзале, а выйдете в Счастливой Деревне. Пусть вам повезёт.

11.09.2018

Алла ДУБРОВСКАЯ

(Нью-Йорк)

ЦЫПЛЕНОК ПРИШЕЛ В КУД-КУДАКИ

Всё поехало. Значит, было на колесиках. Но колесики спрятаны под занавеской с бахромой, и посмотреть, как там устроено, нельзя. Не дают. Розка держит за руку. Больно. Я все равно вижу, створки открылись, и гроб въехал в лифт. А венки? Венки не отдадут? Розка еще сильнее сжимает мне руку. Значит, не отдадут. Створки захлопнулись, и гроб с венком на крышке провалился куда-то вниз. А колесики обратно прикатились. Вот видишь, — Поля говорит, — там внизу печка. Надо ждать часа два, пока все сторит и нам выдадут урну. Ты походи посмотри, красивые картины висят в другой комнате. Розка отпускает мою руку. Нашел комнату. На стенах, правда, красивые картины. Одна большая, стал шагами мерить длину. Насчитал пять шагов и сбился. Считаю я хорошо, почему сбился? Сам не знаю. Попробовал опять. Снова сбился и стал смотреть картину. Там высокая зеленая трава. Дерево. Думаю, в траве прячутся маленькие человечки. Они играют со мной в прятки. Смотрю, не зашевелится ли где трава. Небо в облаках. Если засмотреться на небо, можно пропустить человечков. Вот один выглянул и тут же спрятался. Тише, — кто-то в черном костюме говорит, — в этом месте не положено смеяться. Разве я смеялся? Я просто смотрю, один человечек незаметно перепрыгнул на другую картину. Там жарко, палит солнце, а он идет себе по дорожке прямо к небу. Вдруг я уже с мамой в темной комнате,

совсем темной, мне маму плохо видно, она укладывается на полу и меня вниз тянет. Я сейчас лягу, но окно открыто и в него влетела крылатая мышь. Кружится, кружится вокруг моей головы и крыльями хлоп-хлоп по лицу.

— Это у него от жары, наверное, — Поля говорит, — и хлопает меня по щекам. Не больно. Мне совсем не жарко, это человечку было жарко. Я не от жары, я просто. У меня и раньше обмороки были. Отвези его к себе, — Розка говорит, — я получу урну и приеду.

Машина у Поли маленькая, мои ноги не заходят. Поля что-то делает за сиденьем, оно отодвигается. Ноги зашли, я сел и пристегнулся ремнем. Пока ехали, Поля говорила, что мне нужно правильно питаться, не случайно я такой толстый. Это от мучного и сладкого. А костюм у тебя есть? — спрашивает, — ботинки? Надо будет все твое приданое пересмотреть, может, что-нибудь дельное найдется. Приданое? Я не понял. Ну, это шутка такая, — говорит, — ты у нас завидный теперь жених. Валечка все переживала, с кем ты останешься после ее смерти. У меня так слезы из-под очков потекли, что я даже не видел, куда мы поехали.

Мне нравится у Поли дома, она нас к себе уже привозила. Муж дядя Сема. Веселый. Еще у них мальчик усыновленный. Джончик. Он китаец. Поля с дядей Семой его любят, только он писается в постель. Это на нервной почве. Мама говорит, что я тоже писался до двенадцати лет, а потом перестал и могу контролировать мочевой пузырь. Как приехали, я сразу пошел в их уборную. Джончик тук-тук, я его впустил. Давай писать вместе будем, говорю. Стали — в унитаз. Джончик старается попасть. У тебя большой такой висит, удивился. Так я и сам большой. Тетя Поля в дверь стучит: что вы там делаете, открывайте сейчас же. Я открыл. Она чего-то испугалась. Ведет меня за руку, посадила на диван. Жди тетю Розу здесь. Слышу, она

говорит дяде Семе: он же аутист. Тридцать четыре года мужчине, а он как ребенок малый, за ним глаз да глаз. Про глаз не понял. Кто теперь с ним будет? Аутист седьмого дня. Это дядя Сема смеется. Почему седьмого дня? Мама говорит, я родился таким! Да не слушай ты его, Алеша! Ему бы все поскалиться. Ты сиди, я тебе сейчас видик включу с мультиками, пока Роза не приедет. Смотрим видики с Джоником. Видики старые, я их уже видел, все равно смешно про кота и собаку. Собака за котом гоняется. Джоник смеется так, что начал икать. Поля ему попить воды принесла. Я смеялся-смеялся, вдруг заплакал. Не знаю почему. Очки краем футболки вытер, чтобы лучше видики смотреть.

Потом Роза пришла, поставила железную блестящую банку на комод. Вот урна с прахом Валечки. Он не понимает, — дядя Семен на меня смотрит, — это выше его понимания. Нет, он понимает, что она умерла, — Поля говорит. — Он переживает. Даже собаки и кошки понимают и тоскуют. Мне банку хочется открыть. Они отнимают. Там зола. Понимаешь? Зо-ла! Ты же видел, гроб в печку опустился, там все сгорело, а золу они выгребли и в урну насыпали. Мне плохо. Я хочу уйти. Роза виснет на мне. Сейчас домой тебя отвезу, говорит. Что с ним делать? Ума не приложу, — не знаю, кто сказал.

В госпитале Валечка угасала медленно, но неотвратно. Ее руки, выпростанные из-под казенного одеяла, напоминали куриные лапки. В одну лапку, из подвешенного прозрачного мешочка, по трубкам капала бесцветная жидкость. Что-то было присоединено и к ее заострившемуся носику. Изредка она открывала глаза, но никого не узнавала, так что Розка не задерживалась у ее кровати подолгу. Однажды она привела туда Алешу, но тот так заинтересовался проводами и мельканием цифр на мониторах, что его пришлось оттащить и увести.

Еще за две недели до того, как Валечка упала без сознания, она была вполне здоровой женщиной средних лет, смотрящей русское телевидение по вечерам. А когда упала, и Алеша что-то промышал по телефону, — хорошо еще, что смог нажать кнопки, — тут для Розки все и началось. Дурдом.

— Я тебе говорю, ничего страшного не произойдет, не в Биробиджане живем. Мы в Америке. Понимаешь? В А-ме-рике!

Это она говорила Валечке, затянувшей было песню про то, что станет с Алешей после ее смерти. Валечка грустно и с какой-то надеждой смотрела на младшую сестру:

— Ведь ты его не оставишь? Все-таки он хороший, хоть и больной.

— Да куда я денусь? — отмахивалась Розка.

И впрямь, деваться некуда. У несчастного аутиста никого, кроме нее, не было.

«Вот ведь засада», — прищурив глаз, Розка затягивается и выпускает дым сигареты из носа, что ужасно смешит Алешу. Они сидят на кухне Валечкиной квартиры, с которой теперь надо что-то делать. Для начала выбросить весь хлам: кипы пожелтевших газет, — ну на хера она все это копила, — журнал «Здоровье», — это надо ж, я и не знала, что его издают в Америке, — старая обувь со сношенными каблуками, наваленная в прихожей. И запах, этот запах давно не проветренного помещения. Потом мебель. Сервант с зеркалом на задней стенке, чашечки на блюдечках, сервиз в цветочек. Все это до боли напоминало оставленное там, на родине, даже коврик с оленем над Валечкиной кроватью. Не хватает горки подушек, зато покрывало с тигром.

— Ты зачем покрывало сбросил на пол?

— Там тигр. Не люблю.

— Так он же не настоящий.

— Все равно не люблю.

— Вот горюшко ты мое, а кого ж ты любишь?

— Ну там... человечков маленьких люблю. Они смешные и добрые.

Про человечков все уже слышали.

— И откуда они взялись?

— С картинки про Гулливера взялись, стали со мной дружить.

— С таким грязнулей как ты никто дружить не будет.

Она старается не смотреть на Алешу, — урод, вот урод, — вишневый компот, стекая по его подбородку, капает на и без того заляпанную футболку. Он уже умял почти всю пиццу, купленную Розкой по дороге. В коробке сиротливо лежит остывший конус последнего куска. Ей бы выпить сейчас и закусить этим ошметком, но винный закрыт. Не догадалась купить, дура.

— Слышь, а у мамы че-нибудь крепенького не прятано? Не знаешь?

— А вот и знаю, — лыбится урод.

— Так неси!

И ведь принес, бог знает откуда, пузатенькую бутылку «Хеннеси», может, из-под кровати достал. Розка туда уже заглядывала, там коробки какие-то. Вот ведь пропустила.

Пить коньяк из хрустальной рюмочки можно, конечно, но вроде, где-то были стаканы. Нашла. Теперь немного ледяных кубиков. До чего же хорошо хлебнуть и пиццей закусить.

Расслабляет. Роза снова закурила сигарету, положив ногу на ногу. А этот все сидит, вылупив глаза из-под очков.

— Алеша, помнишь, я тебе книжку читала: «Цыпленок шел в Куд-кудаки»? Ну, там еще были злые собаки?

Алеша молчит. Он не любит про злых собак. И с чего ей вспомнился цыпленок этот? Кажется, у него болели лапки.

— Ну ладно, ты иди, не сиди тут. Отдыхай. Завтра поедем на кладбище, где дедушка с бабушкой похоронены, и урну вставим в специальную стенку. Называется «колумбарий». С клумбой не путай. Клумбы с цветами у нас под окнами. Будем ездить к маме твоей часто. А ты бабушку с дедушкой-то помнишь?

Помычал что-то и ушел в комнату. Вот и хорошо. Додлила в стакан. Можно и безо льда. Мы не гордые. В холодильнике нашла помидор. Тоже сойдет.

— Алеш, у тебя музыка есть?

Не слышит. Ладно, можно и без музыки. Со стаканом в руке Роза идет к двухстворчатому шкафу. Тут висят Валечкины платья. Господи, кримпленовые. Это она еще с Биробиджана привезла. Роза деловито раздвигает плечики: чем бы поживиться? А вот и халатик. В халатике она еще ничего, особенно, если, не застегивая пуговички, вывалить грудь, подпертую косточками бюстгалтера, потом подтянуть кверху подол. Ноги у нее чуть кривоватые, но сильные, как у футболистки. Пришлось походить-побегать. Это у цыпленка болели лапки, а у нее с лапками все в порядке. Ну что там этот урод делает?

В комнате у Алеши тихо. Он спит, не раздевшись, даже не сняв обувь. «Ладно, — думает Роза, — не буду будить».

Еще она думает о том, почему за целый вечер ей никто не позвонил, даже Поля. Подруга, все-таки, могла бы и поинтересоваться, как они тут. Правда, может, у нее самой дел много. Семен этот сенильный, да Джоник. Хороший мальчишечка. Роза почему-то вздыхает. А где стакан-то? Наверное, остался в комнате со шкафом. Идти туда? В Кудкудаки? Приходится встать, покачнувшись, и пойти искать стакан, который быстро нашелся. Значит, надо налить еще. Совсем немного. Получилось почти полный. Ну, все это можно сразу не пить. Глотками лучше, потихоньку. Розка еще в состоянии найти нужный номер в мобильнике и прислушаться к гудкам.

— Это я, — говорит она, как будто ответивший не знает, кто звонит, — твоя Донна Роза... А че это ты сразу отвечаешь? Благоверная-то где? Ну, как тебе сказать, все прошло норм. Спалили десять тысяч. Это еще дешево, без захоронения... Да. Деньги Валечки. Она всю жизнь себе на похороны копила. Да. Урна у меня...

Да какие мы евреи? Мы субботу никогда не соблюдали, кошерную пищу, правда, иногда в супермаркете покупали. Бар мицва для Алеши? Не смейся меня.

Говорит она медленно, подбирая слова. Потом начинает позевывать. Лицо ее будто оплывает. В трубке голос недовольный. Громкий. Ей приходится отстранить мобильник от уха.

— Ну, есть немного, а почему не выпить? Помянула, да. Со мной. Уже спит.

Потом она замолкает, слушая голос.

— Думаешь, я отпираться буду? Это тебе Валька сказала? Когда ж она успела? А она тебе сказала, сколько мне тогда лет было? Не сказала, так я тебе скажу: пятнадцать. Я его и доносить-то толком не смогла. Так и выпал из меня, чуть ли не в валенок. Думали, не выживет, а он, видишь, выжил. Вырос большой.

Роза молчит, пока голос что-то говорит. Тянется за сигаретой, потом за стаканом. Она уже еле ворочает языком. Зачем было врать про возраст? Чтобы стало жальче или чтобы скосить себе пару годков? Ну, арифметика тут не хитрая. Сыночку-то уже тридцать четыре годочка, прибавить пятнадцать, все меньше пятидесяти. А про валенок зачем? Хотя, это правда, валенок был полон крови.

Вдруг она оживает:

— Почему это идиот? Он кое в чем разбирается лучше нас с тобой. В чем? Ну, в планшете разбирается... Читать умеет, читает. Ладно... И тебе спокойной.

Отключившись, Роза тут же засыпает, уронив голову на заваленный кухонный столик.

Спит она крепко, на этот раз ей не снится ее частый сон: двухэтажный дом напротив железнодорожного вокзала на Октябрьской улице, с облезшей розовой краской, покрывавшей когда-то старые стены. Не снятся окна их комнаты, выходящие на сквер Победы с памятником воину-победителю. Не снится река Бира и дальше, за рекой — сопки красно-коричневые, орехово-ягодные, в легком предрассветном тумане. Оттуда они родом, из того, затерянного в тайге города, из тех мест, о которых, смеясь, говорил их отец, это хоть и восток, но дальний.

Среди ночи Роза просыпается и, отерев слюну, уходит в комнату, где заваливается на кровать Валечки. И только утром перед тем, как что-то грохнуло на кухне, к ней приходит сон: бежит старшая ее сестричка с кулком новогодних подарков в руках, бежит она к Розочке навстречу, но, поскользнувшись, падает. Кулек рвется, из него вываливаются мандарины и конфеты «Ласточка» в желтой обертке. Роза и во сне точно знает, что это были «Ласточки». Ей отчетливо видны оранжевые и желтые пятна на снегу, но почему-то она не помогает Валечке встать, а подбирает мандарины с конфетами. И уже окончательно проснувшись, Роза понимает с новой силой, что Валечки больше нет.

На кухне, господи боже мой, на подоконнике открытого окна стоит Алеша и сыплет золу из урны куда-то вниз, людям на голову. У Розы тошнота подошла к горлу, и задрожали ноги.

— Алешенька, там к тебе в комнату человечков набегало видимо-невидимо. Иди скорей, а то они балуются там... в комнате.

Тот неуклюже поворачивается к ней большим телом.

— Ты мне руку дай, осторожненько.

Доверчиво дает руку и шагает вниз на подставленный стул. Роза тихо закрывает окно, поднимает с полу крышку от урны, идет в ванную и видит там свое лицо в зеркале над раковиной.

— Ой-вэй, наша дочь некейва! Посмотрите, она опять куда-то собирается!

В зеркале уже не она, вернее, она, но много лет назад, когда не было еще в ее жизни толстого неуклюжего идиота, хныкающего где-то рядом.

— Ну чего ты там, Алеша?

— Нет тут никаких человечков. А где мама?

Мама топчется за ее спиной, заглядывает через плечо в зеркало.

— Ты порочишь нас! Отца исключат из партии, сестру уволят из комсомола. Люди все узнают. Они будут шептаться за моей спиной. Куда ты идешь? Кто тебя там ждет? Опять этот гой?

Отец сидит в комнате, читает газету и поверх очков поглядывает на причитающую жену.

— Оставь ее, Лиля. Пусть идет куда хочет.

— Она смерти нашей хочет, — не унимается та.

Роза видит в зеркале Валечку молодую и рыжую, в веснушках, с вызовом говорящую кому-то:

— А скольких родит, всех возьму. Все мои будут.

«Одного хватило», — усмехается Роза и протирает рукой запотевшее зеркало, в котором уже нет никого, кроме нее с отеком лицом от вчерашнего перебора «Хеннесси».

Помянуть Валечку приехала Поля и зашли несколько соседок, деловито набравших каких-то безделушек, разбросанных по квартире. Мебель и посуда никому не приглянулись: своего хлама хватает. Отсидев положенное время за столом с небогатым угощением, они удалились. Вот и остались от Валечки одни фотографии. Надо же, сколько детских, про которые Розка забыла: их дом в Би-

робиджане, молодые мама с папой сидят на диване их единственной комнаты, — как они все там жили? — идиот в шубке с лопаткой во дворе. Ни на кого не смотрит, насупленный, говорить начал поздно, лет в пять, да и сейчас не поймешь, что несет.

Поля взгрустнула, глядя на подругу, перебирающую фотографии. Из сочувствия она принялась расспрашивать и удивляться: какая в молодости Валечка была интересная, какой папа был у вас видный мужчина. Это ты, Роза? Прямо Бриджит Бардо.

— Надумала, что будешь делать? — наконец, спрашивает она.

— Ума не приложу, — Роза тянется за сигаретой, но пачка пустая.

— Не хватит тебе дымить? Хочешь рак легких получить?

Роза отмахивается. Наплевать. Всю жизнь курила, чего уж сейчас опасаться рака легких. Валечка никогда ничем не болела, а пришел ее час, и она тихонько померла.

Оставаться в этом доме тягостно. Аутист подвывает где-то в глубине квартиры. Говорят, им не свойственны простые человеческие чувства, тогда почему он воет, скорее, плачет на свой манер? Слышать его вой невыносимо.

— Надо бы ему лекарства дать успокоительного. Есть у тебя?

Роза, словно не услышав, продолжает:

— Не понимаю, как она с ним справлялась. На кладбище рот разинул, ходит вокруг могил, камни с плит собирает, ну, знаешь, там оставляют по обычаю. Вот, говорю, здесь похоронены бабушка с дедушкой. Ноль внимания. Камни, говорю, здесь нельзя кидать. Ты тревожишь умерших.

— Ну, ты это ему про умерших... думаешь, он понимает?

— Я, честное слово, не знаю, что он понимает, что — нет. Как урну полупустую стали в стенку заделывать, — са-

ма знаешь, что с прахом стало, — он в плач. Подвывает и раскачивается. Подвывает и раскачивается. — Роза показывает эти раскачивания, сидя на стуле. — Жуть. Ныл-ныл, сердце рвал мне на части. Еле увела. Мне на работу надо выходить. Куда его? Валя-то с ним сидела на пособиях, да и я подкидывала. Теперь уж все.

Жизнь с больным сыном, которого она и своим-то не считала, предстала перед ней со всей неотвратимостью. Что тут скажешь? Вот и Поле сказать нечего, она просто собирает тарелки со стола и уносит на кухню.

Вернувшись, она, наконец, спрашивает то, что ее всегда интересовало:

— И как это Валечку угораздило? Она, вроде, и замужем-то никогда не была... Конечно, это не мое дело, но где отец Алеши?

— Был один мужик, да пропал. Обыкновенный непутевый гой. Кто его знает, где он. Может, уже давно и в живых нет. В той глухомани кто только не пропадал. Тридцать четыре года без него обходились, а вот как мне без Валечки быть, ума не приложу. Не могу я его долго выносить, понимаешь? Иду в ванную, он стоит под дверью, то ходит за мной по пятам, а то сидит часами не шелохнувшись. Тут взялся рисовать на стенке. Что это, спрашиваю? Чикен, говорит. Что за чикен такой?

— Может, цыпленок или курица?

— Точно! Он же знает кое-какие английские слова, — обрадовалась чему-то Роза. — Я ему как раз напомнила про цыпленка из детской книжки.

— Слушай, — осторожно, словно мурлыкая, начала Поля, — может, его в какое учреждение поместить? Ну не для совсем сумасшедших, а для таких как он.

Тут голос ее окреп, в нем зазвучали уверенные нотки:

— Тебе работать надо, как его дома одного оставить? Да и вообще, ты же еще молодая женщина... Это Валечке была расплата за грехи, а тебе за что?

— Она не хотела его никуда отдавать, я ей обещала.

Но что-то в интонации подруги подсказало Поле, что та уже все решила, и что ей нужно только одно, чтобы Поля ее как бы окончательно убедила в том, что выбор этот вынужденный и неизбежный.

— Милая моя, тут других вариантов нет и не будет. Обследовать заново нужно, может, диагноз новый поставят. Это же не ваш Биробиджан, это все-таки Америка.

— Да, Полюшка, это все-таки Америка, — глубоко и с облегчением вздыхает Донна Роза.

Женщина добрая улыбается, Алеша, бери таблетку, дает мне воды в бумажном стаканчике. Розка говорит, пей и проглоти таблетку. Мне никак. Не хочу. Женщина говорит, надо проглотить, ты что никогда чай не пил. Все я пил. Ну вот и молодец, говорит. Мне все равно страшно. Чего тебе страшно, Розка говорит. Ехать туда страшно. Туда маму закатали и сожгли. Нет-нет, все говорят. Ты сюда ляжешь и поедешь поспать немного в той белой трубе. Никто тебя сжигать не собирается. Доктору надо узнать, какое тебе лекарство новое дать. Не хочу нового лекарства. Не мотай так сильно головой, Розка говорит, ударишься. Мне все равно страшно, но спать захотелось. Лег и поехал куда-то. Еду. Еду. Глаза сами закрылись, человечков нет, а есть чикен на лапках. Он идет, идет, идет.

Руслан ОМАРОВ

(Париж)

ЛУНА И ГЕРТРУДА

Четвертый теткин муж напоминал поднятого гончими злого кабана в цивильном пиджаке с наградными планками. Он утробно урчал, роняя с клыков хрустальные капли слюны. Моя ветреная тетка рассеянно взъерошила ему на затылке ежик седой шерсти и оглядела собрание гостей. Гости ждали начала мистерии. Всем было немного тревожно, потому что в этот знойный летний вечер он собирался сожрать Луну.

Наконец теткин муж по-звериному задвигал челюстью и вонзил в желтое лунное тело зеркальный нож. Официанты зазвенели десертными тарелками, мои лампасоносные кузены встали, а дамы томно зашептались. Луна распахнула свои внутренности: пять слоев миндального бисквита, пропитанного баварским муссом и коньяком, филиппинский кокос, чернослив и орехи, политые глазурью — с детально воспроизведенными кратерами, морями и заливами. В самой ее серединке, в *Mare Imbrium*¹, в окружении горной гряды самоцветно искрился засахаренным имбирем и марципанами Орден Ленина. Виновник торжества, рыча, потянулся было к нему, но тетка властно ударила его по мохнатым пальцам серебряной кулинарной лопаткой.

Вообще-то теткиного мужа должны были наградить званием Героя Соцтруда (этот угрюмый честолубец давно

¹ Море Дождей (*лат.*) — лунное море, расположенное в северо-западной части видимой с Земли стороны Луны.

мечтал о третьей золотой звезде), но он проштрафился. КБ, которое он возглавлял, то ли перепутало первую ступень со второй, то ли утопило в океане ценную спутниковую антенну, то ли составило программу телеметрии на древнешумерском языке. Словом, старт лунной ракеты вовремя не состоялся, и в ожидании его, не приходя в сознание, скоростно скончался куратор программы из Политбюро. Новый куратор был моложе — ему едва сровнялось девяносто лет — так что горячая лимфа, медленно струящаяся по его венам, еще требовала показательных жертв и децимации. По его мстительной воле теткинскому мужу вручили всего лишь Орден Ленина (правда, в золоте и бриллиантах). Да к тому же еще и назидательно пустили под нож целый тираж почтовых марок с его кабаньим профилем, одухотворенным космической думой. Впрочем, гости снисходительно улыбались — необходимыми салонными двусмысленностями по адресу хозяина банкета они успели обменяться за аперитивом.

Мне же все это было безразлично. В тот июньский вечер я здорово страдал — жали новые замшевые туфли. Кажется, австрийские. Когда мы их мерили с мамой в магазине, они идеально подходили по ноге, а сейчас, спустя две недели, вцепились в пятки, будто пыточные испанские сапожки.

— Ну, ма-ам... — ныл я всю дорогу до теткиной дачи, но мама была непреклонна:

— Что за барство! Гонять машину за пятьдесят километров, чтобы ваша светлость переобулись. Стыдись, ты же мужчина, в конце концов!

Она, конечно, преувеличивала. От нашего городского дома до этого богемного дачного поселка было километров двадцать от силы. Полчаса обернуться туда и обратно, а шофер, что у нас служил, прекрасно водил новую «Волгу»! Однако мама требовала послушания, и я смирился.

Настроение у меня вместе с тем было мрачное, и больше всего я ждал удобного момента, чтобы деликатно выскользнуть из-за стола и оказаться в саду, где-нибудь подалее от хмельных родственников с их приторной ласковостью. Сидевший справа от меня сухонький генерал, похожий на хитрого Суворова, наклонился ко мне и взволнованно спросил:

— Ну, а вы, молодой человек, тоже, наверное, мечтаете когда-нибудь оказаться... там?

Это «там» он выговорил с придыханием и указал столовым ножом на середину стола. К этому времени от Луны уже почти ничего не осталось, лишь несколько ломтей торта сиротливо вздымались на метровом фарфоровом блюде среди липкого коньячного моря. Вокруг сосредоточенно жевали. Я представил себе, как одиноко мечусь по мертвой глазурной полусфере в неуклюжем скафандре, уворачиваясь от ножей и вилок, и покачал головой:

— Знаете, не очень... Вы извините, я, пожалуй, пойду!

В саду у тетки три гипсовых грации сторожили небольшой пруд, весь в дымчатой пене цветущих розовых кустов. У мраморных ступеней сидела девочка, чуть старше меня, и водила по поверхности воды кончиком ивовой ветки. Я скинул надоевшие туфли, закатал брюки и приблизился к ней.

— Вы позволите тут с вами посидеть?

— Сделайте одолжение, — промурлыкала девочка.

С наслаждением окунув ноги в воду, я заболтал ими, гоня осторожную волну к середине прудика. В нем отражались звезды и настоящая, не бисквитная, Луна. Млечный путь торжественно дрейфовал над нами, забегая хвостом за пушистое сонное облако. Девочка оправила плиссированную юбку и мечтательно взглянула на него. Я уже набрался смелости спросить у нее, как ее зовут, как вдруг она задумчиво и напевно проговорила:

— Как вы полагаете, будет у нас с американцами атомная война?

— Мне кажется, не будет, — неуверенно ответил я, тоже оглядев звездный свод.

— Ах, вы непременно должны это узнать, — вздохнула она. — Мне они ничего не говорят. А ведь в мире сейчас так беспокойно. Неужели вы сами не боитесь?

Я посоветовался с собой и твердо кивнул:

— Ни капельки!

В этот момент послышался прерывистый писк. Не сговариваясь, мы завертели головами. Худенький генерал, приглашавший меня на Луну, как цапля вышагивал вокруг пруда в сопровождении адъютанта с подносом. Время от времени он останавливался, брал с подноса искристую рюмку водки, опрокидывал ее в рот и издавал этот тревожный сигнал. Адъютант почтительно придерживал его под локоть.

— Что он делает? — прошептал я.

— Играет в искусственный спутник, — пояснила девочка таким же теплым шепотом, приблизившись ко мне щекой. — Это мой дедушка. Он уже старенький, не обращайтесь внимания. Он сейчас круг сделает и спать пойдет.

Лунная тропинка, потревоженная волной, пробежала к ее босоножкам, и она подтянула колени, положив на них кукольный подбородок. Странное волнение охватило меня. Мне захотелось взять ее за руку и пообещать ей, что никогда-никогда ни одна атомная бомба не упадет в этот волшебный пруд, вокруг которого движется, старчески попискивая, по вечной орбите ее дедушка, и где в бархатной темноте плывут созвездия — Лиры, Кассиопеи и Змееносца.

— Гер-р-ртруда! — взревел вдруг в кустах теткин муж. С чудовищным стоном и хрустом он проломился сквозь розы и вбежал на середину пруда. Он пропахал

воду и поднял перед собой стену брызг, безжалостно ломая тихую звездную карту. На лице его обозначалось отчаяние, из щек торчали шипы. Он размахивал квадратной бутылкой коньяку, как гранатой. — Гер-р-труда, где ты?! Мне плохо!

Он звал тетку. Старенький генерал в панике сошел со своей спутниковой орбиты и по длинной глиссаде устремился прочь. Два растрепанных офицера выскочили вслед за мокрым орденоносцем:

— Товарищ конструктор!

— Гер-р-труда! — вскричал он и на четвереньках ринулся в ночь, скача, как вепрь. Гравий кричал и скрипел под его копытами. Офицеры схватились за головы. Охотиться на него, насколько я знал, в таком состоянии можно было всю ночь, он умел носиться по садовым дорожкам с торпедным фанатизмом.

— Дети, — спросил, тяжело дыша, один из офицеров, — вы тут фуражку не видели?

Я пяткой подтолкнул к нему фуражку, в которой билась маленькая янтарная рыбка. Эту рыбку лейтенант бережно выловил, отпустил в пруд и побежал вслед за товарищем.

— Хотите торт? — робко спросил я девочку. — Только я тут немножко отъел... Совсем кусочек, а так он целый.

— Мерси, — улыбнулась она, и мы наконец встретились глазами...

Мирон КАРЫБАЕВ

(Алматы)

В СТЕПИ ПУСТО

Роман

*Основано на реальных событиях
...или нет*

І Жолдас

Жолдас проснулся уже давно, но все лежал, уставившись взглядом в серое окно. Было глубокое утро. За окном скупое, вполсилы светило затянутое туманом небо.

Комната была одновременно пуста и полна раскиданными везде пакетами, коробками, одеждой, сапогами, ружьями и всяким хламом. Две раскладушки и одна старая, больная артритом койка заполняли ее целиком.

Остальные давно уже встали.

Он думал, что тоже когда-нибудь привыкнет просыпаться рано, как остальные, да и не как остальные, а как он сам в молодые — какие, к черту, молодые, тебе нет и тридцати — годы, когда вечно куда-то бежал, куда-то спешил, из города в город, от человека к человеку, от истории к истории; заря светила ему в спину, а закат в лицо, и дни летели так быстро, а сон был только досадной помехой, сборщиком податей, с которым торгуйся-не торгуйся, а приходится платить драгоценным временем.

Но что-то в нем испортилось и никак не могло наладиться; будто сборщик податей, обнаружив недоплату, взимал пеню. Сон поселился в нем и стал частью его, и не всегда можно было отличить реальное от сна.

Он лежал и смотрел в окно, и представлял себя встающим, как обычно, выходящим в осеннюю, седеющую степь; умывающимся. Вот он смотрит на бурые уходящие в туман холмы и водит щеткой по зубам, и холод сводит тело; он обтирается и облачается в жаргаковые штаны, в свитер, в бушлат; заходит в загон. Там Хамза, как обычно, возится с какой-нибудь больной овцой или долбит лопатой кизяк; а Аркат давно выгнал стадо на дальнее пастбище. Здороваются.

Жолдас возвращается в дом, наполняет контейнер едой; сегодня гречка и котлеты, готовил Аркат. Седлает ленивого, спокойного коня и отправляется на отгон.

Идет среди бурых холмов, конь фырчит, дергает ушами и норовит остановиться щипнуть травы; Жолдас дергает поводья. Идет, мерно покачиваясь в седле. То поднимается на холм, то спускается с холма. Вверх — вниз. Идет и сам не понимает, когда воображаемое стало реальностью. Или, может, так и не стало, может, он до сих пор лежит и дремлет в своей койке, в своей кровати, в вагоне плацкарта, в младенческой колыбели.

Встают в тумане города, люди, воспоминания. Никого из них здесь нет. Каждая встреча уже содержит в себе расставание; уходишь за холм и исчезаешь за холмом. Только бродят в тумане воспоминания.

А что — воспоминания? Уйдешь в туман, и уйдет в туман память. Каждая встреча уже содержит в себе забывание. Так стоило ли того?

Стоило ли всех этих страданий, всех этих жертв, стоило ли в непрерывном беге, суетно прожитой жизни? Кто вспомнит о тебе, кроме твоих воспоминаний? Все — туман.

Черные, влажные рельсы появляются в тумане. Желтый свет появляется в тумане; издалека будто тысяча коней, тысячи копыт стучат, стучат и скачут из тумана в туман.

Выныривает из тумана поезд; он стоит и смотрит, как мимо проносятся вагоны, колеса, окна, жизни, жизни,

жизни; и все всматривается, и все ему кажется, что за одним из окон сидит он сам: над кружкой густого чая, подперев кулаком голову, он смотрит задумчиво в степь и видит, как мимо проносится всадник; конь, пользуясь перерыв, наклонился щипнуть травы.

В руке у него ручка, и раскрыта тетрадь на столе; он пишет, пишет, пишет. У него так много ненаписанных слов.

Он раньше записывал все это, каждую встречу, каждую историю. Но потом перестал: не было времени, сил, чернил, света, настроения. Когда приехал сюда, привез в рюкзаке несколько тетрадей и пачку карандашей — хотел записать все, что накопилось. В тетрадях этих была вся его жизнь. Он так ни разу и не открыл их. Боялся, что там только белые страницы.

Белые страницы, пиши что хочешь, выдумывай что хочешь, никто не поймает за руку, всем, в сущности, плевать, всю твою жизнь можно было бы просто выдумать, и, может, и в самом деле все выдуманно; не все ли равно?

Исчезает в тумане поезд.

Глаза у Арката черные, глубокие, как колодцы. Взглядом Аркат будит человека. Взглядом Аркат обводит отару, водопой, лениво снующих вокруг собак. Река широкая, плоская, лениво ползущая вдаль.

Сидят на отлоге холма, на коленях контейнеры с гречкой и котлетами, в руках крышки от термосов; подносят к лицу, горячий пар греет онемевшие от холода щеки.

Отмерзают щеки, и можно говорить. Скучно. В небе клубятся густые облака; проносятся низко птицы. Тихо каплет невидимый дождь. Рядом бродят кони, фыркают, машут хвостами, щиплют траву. Поводья привязаны к передним ногам — чтоб не ускакали, не ушли далеко. Скучно. Горячий чай жжет губы.

Рассказывают истории. Жолдас рассказывает из своего запаса, тут уже не важно, выдумка или нет, важно заполнить словами время, все годится, и никто никогда не спрашивает о правдивости; не все ли равно.

Никто не вдаётся в детали. Закончишь говорить — и собеседник кивает головой, и отхлебывает чай; щурясь, смотрит куда-то в горизонт. Теперь его очередь.

Аркад, не моргая, долго смотрит в туман, и, не отводя от тумана взгляд, начинает говорить.

I Аркад

Был обыкновенный весенний день. Я пораньше слинял с работы и, не теряя тёплый и приятный вечер, решил прогуляться до дома пешком. Город был зелёный, небо чистое, и я купил в киоске мороженое — фисташковое — и переходил пешеходный, глядя на старую заброшенную стройку на другой стороне улицы. Это был грандиозный бетонный улей, который намеревался когда-то стать то ли ТРЦ, то ли элитным жилым комплексом, но вместо этого стал пристанищем бездомных собак, темного люда и бесчисленного количества историй, часть из которых была выдумкой, часть правдой, а часть смесью выдумки и правды, но никому не было до этого дела. Заброшка обросла бесчисленным количеством легенд, историй и смыслов, и граффити испещрены были бетонные стены, и каждый мог прикоснуться к этому сгустку историй, стать его частью, как стал и я в свое время; и, верно, не создала бы она столько смыслов, стань она таки ТРЦ или жилым комплексом, так что, может, и к лучшему.

Сейчас бетонные ее стены были обтянуты свежей зелёной сеткой, и вокруг стоял новый высокий забор с наклеенной рекламой; плавно и медленно, как призрак, двигалось в небе высокое щупальце подъемного крана; ходили люди, не прячась, не кроясь в тенях.

Она была здесь задолго до меня, и оттого казалось, что она вечная; мне подумалось, что это свойство человеческого разума — считать, будто мир закончил создавать-

ся аккуратно перед твоим в него приходом, и с тех пор стоит в своем финальном состоянии; и только портится; но какое смятение, когда внезапная катастрофа вдруг сметает иллюзию, вдруг напоминает, что мир еще в процессе создания, что история делается сейчас и не нами, не нами...

Все это думалось мне, когда вдруг из-за угла выскочил большой плоскомордый грузовик и, длинно промычав, боднул меня в плечо; я долго, долго падал на свежий черный асфальт, и было нестерпимое предощущение боли от будущего удара, и больше почему-то не было ничего, ни страха, ни паники, только легкое удивление; но я упал в асфальт и пролетел сквозь, в пустую бесконечную тьму, в беззвездную пропасть, в тишину, в вечность.

* * *

Журчала вода.

Я резко очнулся, вскочил и обхватил себя за плечи; трогал голову, лицо, колени — тело мое было целым и невредимым, но чувствовалось каким-то чужим; к тому же я был совершенно гол; и я подумал, что это был сон, странный сон, где долго и неотвратно падаешь с лестницы, но вдруг понял, что нахожусь не в своей комнате, не в больнице, а черт знает где.

Я лежал посреди металлической беседки; прутья ее, витые из металла, слагались в странные формы — я скользнул по ним взглядом и вдруг заблудился в лабиринте странных узоров, спиралей, символов, вложенных одни в другие; будто фракталы — или мандала; но оторвал взгляд и огляделся.

Беседка стояла посреди густого зеленого сада; цветущие ветки закрывали небо, и был полумрак, и стояла приятная прохлада. Я сидел на большой каменной плите, испещренной теми же узорами, теми же символами; провел по ней ладонью и вдруг заметил, что в ладони у меня — старый сквозной шрам.

Я медленно, аккуратно встал. Тело ощущалось неудобно, будто ноги и руки были не той длины, не тех пропорций; но я сделал пару шагов, и все стало привычно; будто всегда так и было.

«Это странное место, — думал я. — Это сон. Я лежу на асфальте и истекаю кровью. Кровью... Значит, вот какое оно...»

Но, как во сне, мне казалось, что это совершенно реально и совершенно логично, и напротив, тот мир, где асфальт, где заброшенная стройка, где красный плоскомордый грузовик, казался мне все менее реальным, будто то был сон, а я только сейчас проснулся.

Но почему я ничего не помню?

Сад был огорожен красными кирпичными стенами, почти невидными за зарослями вьюнов, за крупными белыми цветами; расстояние между стенами было шагов в пятьдесят. Я обошел сад по периметру, трогая рукой шершавый сухой кирпич — но не нашел ни ворот, ни калитки, нигде ни входа, ни выхода, я заперт, заперт.

Я бродил по сумеречному саду, ища выхода, лез на деревья, но скользка была их кора; диковинными плодами усеяны ветки. Я сорвал несколько и, несколько осторожничая, съел — кожура их была плотна, а мякоть сладкая и вязала рот; и я запил из ручья, текущего в середине сада; вода была вкусная и такая чистая, что ничего не отражала; я видел черную гальку на дне, едва заметный подрагивающий узор на поверхности и, если подобрать угол, можно было разглядеть темную размытую фигуру; но ничего больше.

Я утолил голод и жажду и улегся на мягкую, нежную траву, подложив под голову руки. Мир темнел... Стрекотали в кустах сверчки, и пели птицы. Меня клонило в сон.

Я думал, засыпая, не в силах бороться с оцепенением, что надо бы выбираться отсюда, надо бы пытаться во всем этом разобраться; да запомнить побольше, потом будет, о чем рассказать; но все потом, потом...

Веки мои тяжелели. На темнеющем небе я вдруг разглядел луну — громадным шаром она висела, как лампочка, как зрелый плод; и, странное дело — вторая луна висела рядом с ней...

Но я засыпал, засыпал глубоким, тяжелым сном. Журчала вода. Сгущалась непроглядная ночь.

II Жолдас

Дни проходили один за одним, мимолетные, не отличные друг от друга, и сложно было отделить воспоминание от реального, воображение от реального. То, что сейчас, через секунду станет воспоминанием, и значит, сейчас уже содержит воспоминание, и в каждый момент времени мы находимся в воспоминании. То, что сейчас воображение, через секунду становится реальностью, и значит, воображение уже содержит в себе реальность.

Жолдас лежал на койке и смотрел на стрелку часов; и отчетливо чувствовал, что находится одновременно в реальном, в воображении и в воспоминании; и что стрелка часов становится кругом, и не становится, а всегда им была, просто он этого никогда не замечал.

Наставал февраль. Ягнились овцы. Он вставал с койки и умывался; он шел вниз по скользкому заснеженному холму, вокруг лежала белая, бездвижная, вечная степь; он входил в хлев; он стоял рядом с Хамзой.

Хамза хмурит седые брови; смуглая кожа идет морщинами, как смятая постель. В руке у Хамзы нож. Ножом Хамза примеривается к распухшему и безобразному трупу овцы, подвешенному за переднюю ногу к потолочной бал-

ке. Серый, тощий, мокрый новорожденный ягненок шатается по загону, тычется лбом в стены, в колени, в ладони, слабо и неопытно блеет.

— Этот родился ночью, — Хамза указывает ножом на ягненка. — Второй внутри, — переводит на вздутое розовое брюхо в синих щупальцах вен. — Овца все. Будем резать.

Хамза мало говорит. У него мягкий, чуть гортанный южный акцент; он не отсюда. Глазами он показывает: «держи», а сам кладет ладонь на овечий живот, долго щупает, примеривается ножом.

Кивает: «держи крепче»; лезвие с чавканьем входит чуть выше раздутого пузыря; он ведет вниз; овца распаивается, как старая книга; валяются наружу внутренности, сгустки крови и гноя; со свистом выходят газы.

Смрад обволакивает лицо, лезет в горло, в глаза; Жолдас зарывается носом в воротник; его качает; Хамза рычит: «держи!», сует руку по локоть внутрь, шарит во внутренностях; снова режет, медленно, аккуратно. Толстый розовый мешок вываливается из овцы; «держи» — показывает пальцем на плаценту; Жолдас опускается на колени в лужу крови и кала, подставляет руки; Хамза медленно, вечность за вечностью отсекает плаценту от тела.

«И это тоже станет воспоминанием. Надо только потерпеть. Терпеть». Это уже воспоминание. Просто выйди из него, промотай чуть вперед...

Плацента громадным розовым слизнем лежит на соломе. Хамза встает на колени и кончиком ножа аккуратно прокалывает пузырь. Струйка густой мутноватой жидкости стекает по локтю. Вынимает маленькое недвижимое тело, черное, с белым пятном на лбу.

Хамза кивает на висящее на двери полотенце, сам снимает с новорожденного остатки плаценты. Выдергивает полотенце у Жолдаса из рук, обтирает шерстку, ноги, голову, губы, наклоняется и вдывает воздух ягненку в рот.

Давит руками на грудь, снова вдвухает воздух, снова и снова наклоняется, раз за разом, без изменений, как заевшая кассета; и Жолдас уже знает, что будет дальше, что будет через минуту, через две минуты, все одно и то же, воспоминание и реальность; и он уже знает, чем это закончится, что ягненок уже мертв, и они будут сидеть здесь час и два и десять, но ничего не изменится; что все бессмысленно.

Вот сейчас Хамза снова наклонится, прислонится ртом к бледным губам; потом будет нажимать ягненку на грудь, ровно шесть раз, раз-два-три-четыре-пять-шесть; и снова наклонится, и снова и снова. И Хамза наклоняется, и прислоняется ртом к бледным губам; и нажимает ягненку на грудь, раз-два-три-четыре-пять-шесть, набирает воздух; сейчас все будет снова, снова.

Но вдруг Хамза не наклоняется. Он сидит, положив ладонь на безжизненное тело, и тяжело дышит. Капает пот со лба. Он вытирает его ладонью и вдруг громко и витиевато, грязно матерится; выругавшись, роняет голову на грудь.

Сидят, разделенные мертвым телом. Сидят вместе, но поодиночке. Скорбят. Не знают даже, по чему именно — по смерти или по впустую затраченным силам. В распахнутую дверь падает утренний свет, ползет по соломе; лица их в тени.

Оранжевый луч касается ягненка. Высвечивает дрожащую на ветру черную шерстку; высвечивает пятно на лбу. Высвечивает неплотно сомкнутые веки. Высвечивает розовое, прозрачное, удивительно маленькое ушко.

Ушко дергается.

С тяжелым свистом ягненок втягивает воздух, долго и упорно раздуваются выпуклые ребра. Потом кашляет и дрожит, и дышит, и скребет по соломе ногами, и тарашит-ся в мир удивленным взглядом, и живет, живет.

В рассветных лучах он поднимает голову; долгое, тоскливое, тихое блеяние наполняет степь.

Сидят втроем за столом; на проводе висит голая бледная лампочка, красит комнату тусклым желтым светом, бросает на пол их тени — каждая в свою сторону, друг против друга, как замершие стрелки часов.

Пьют чай. Молчат. За окном ветер кружит крупные хлопья снега, носится из стороны в сторону, будто силится вырваться из степи, да не может; и воет, и мечется, и бьется в окно, как мотылек, к свету, к теплу, к людям.

Жолдас смотрит в кружку. Черный, густой дымится чай. Кружатся по спирали чайники.

Это место как монастырь. Каждый бежит от чего-то: от внешнего мира, от людей, от прошлого. И сидят в самих себе, как в кельях, и не знают друг друга. Только истории — как мостики между ними. Только способ вырваться на время из одиночества, пока не умолкли слова. Только способ узнать и услышать друг друга.

— Хамза, — роняет Жолдас, все глядя в кружку. Видит краем глаза, как старик поднимает голову. — Ты никогда ничего не рассказываешь. Только мы с Аркатом. Я хочу послушать и тебя тоже.

Аркат тоже вырывается из транса, в полуприщуренных глазах желтыми огнями отражается лампочка. Странная, кривая ухмылка играет на губах.

Хамза долго молчит. Подносит ко рту кружку.

— Это ваше молодое дело, — Аркат отчего-то усмехается, будто сам себе, но никто не обращает внимания. — Словами бросаетесь туда, сюда... — он делает непонятный жест пустой кружкой. — У слов сила есть. А вы ее расходуете на болтовню.

Он хочет налить себе чай, но заварник пуст; Аркат поднимается, подхватывает чайник и где-то в углу возится с горелкой.

— Сила? — не понимает Жолдас. — В каком смысле — сила?

— В прямом, — Хамза нащупывает в жилетке пачку сигарет, длинными узловатыми пальцами вытаскивает одну. — Почему некоторые слова запретные? Потому что для особых случаев. Вот как сегодня.

— С ягненком? Он ожил от того, что ты сказал...

Хамза вытягивается и прижимает ему палец к губам; сверкают черные распахнутые глаза. Жолдас поднимает ладони — «молчу, молчу».

— Слова слабеют, когда их произносят. Вы все треплетесь почему зря, истаптываете слова, как сапоги, — в зубах у него торчит незажженная сигарета, он поворачивается к Аркату и делает знак; в ладонь ему прилетает зажигалка. — А слова многое могут сделать. И хорошее, и плохое. Слово может мир перекроить... — он глубоко, задумчиво затягивается. Выдыхает. — Но это нужно особое слово. Слово, ни разу не произнесенное. Слово, которого нет.

Долгое повисает молчание. Молчание дрожит желтым светом, мерцает сигаретным кончиком, бурлит закипающим чайником; свистит ветром за окном.

Жолдас наклоняется к столу.

— Слово, которого нет? Что это за Слово?

— Он не знает, — Аркат подскакивает, стучает чайником по столу, роняет себя на стул. — Наш дорогой друг и товарищ все пытается его... «найти», — он поднимает руки и показывает пальцами кавычки, — но, как видишь по окружающей нас действительности, пока не преуспел.

Хамза молчит и снова затягивается сигаретой.

— Болтай дальше.

— Буду болтать, Хамза. Буду. У меня другого ничего нет.

Аркат встает и начинает беспокойно ходить по комнате, заглядывать в окно, в ящики, чуть не перевертывает чайник.

— Буду болтать. Буду! Я вам лучше вот что расскажу, господа. Я вам сейчас расскажу, что действительно может перекроить мир. Я это видел сам.

И он падает на стул, и начинает рассказывать. Долго, сосредоточенно, поначалу странная эта вспышка суетливости еще сверкает в черных, бездонных как колодцы глазах, в резких движениях; но потом утихает; и он говорит отрешенно, тихо, будто сам с собой, и смотрит вперед, как ничего не видя; и они слушают, слушают и молчат.

А за окном ветер. Ветер мечется по степи, то туда, то сюда, гонит за собой снег, облака, голоса людей и зверей. Но как ему ни метаться, как ни вольны его движения, как ни могучи его порывы, как ни быстр его полет, все не может, не может ветер дойти до конца степи, только белые холмы кругом, только пустота, безлюдье, бездушье, тонкие, голые торчат из снега кусты, прячутся под снегом, дрожа глубоко в своих норах, берлогах, убежищах мыши, тушканчики, совы, елики, летучие мыши, рыщут по степи лисы, шакалы и волки, и только небо, только степь кругом, только степь.

II Аркат

Я снова проснулся.

Вокруг не было сада, не было и следов его; то был лишь сон. Я лежал в просторной, забитой койками палате. На мне были белые одежды. Из забранного решетками окна бил белый, ослепительный свет.

Пол выложен желтыми ромбиками плиток, часть их них пошла трещинами, другая отсутствовала, и черные линии сходились в причудливую сетку, а сверху на них падала тень от решетки, и две сетки накладывались одна на другую, сплетались въедино; удивительно, но сходились они не в какофонию форм, а в четкие геометрические узоры, во фрактал, в мандалу.

Долго лежал я, водя взглядом по этой причудливой паутине. Из окна дул прохладный ветерок. Над окном белым призраком реяла, то взлетая вверх, то скользя вниз, извиваясь, будто пританцовывая, тонкая белая штора, кажется, марлевая.

Я повернулся на другую сторону — и вдруг резкая боль сверкнула в голове. Зажмурился невольно; играли перед глазами пятна. Я медленно поднял руки и ощупал голову — она была замотана грубой, плотной, заскорузлой повязкой. Посмотрел на ладони — никаких шрамов на них не было.

И, кажется, правда, все это мне просто приснилось. Меня сбил грузовик, я лежу в больнице. Все логично, все закономерно. Досадно. Но закономерно. Впредь нужно будет смотреть по сторонам.

Рядом два других пациента о чем-то тихо разговаривали. Я поначалу не вслушивался, но волей-неволей отдельные слова долетали, и слова были совсем непонятные, неразборчивые, по правде говоря, я даже не мог разобрать, где кончается одно слово и заканчивается другое; говорили то ли очень невнятно, то ли на другом языке.

Я стал вслушиваться. В самом деле, всегда интуитивно вслушиваешься, когда слышишь чужую речь вот так, лежа, ничего не делая; даже если не хочешь. Мне стало интересно, что и на каком языке они говорят.

Они часто повторяли одно слово: «*хартха*», «*хартха*». Вдруг что-то мне подсказало, какое-то странное внутреннее знание, когда сам не понимаешь, откуда оно взялось, секунду назад его будто и не было, а сейчас просто знаешь и все, и неясно, то ли вспомнил, то ли догадался интуитивно, то ли только что узнал: «*хартха*» означает «*война*».

«*Хартха́*», «*хартхíй*», «*ха́ртхэ*». «Война», «на войне», «войну». Я слушал дальше и понимал все больше, пока вдруг не осознал, что понимаю все. Вернее, понимаю слова, которые они говорят, но содержание их...

— Это не такая война, как предыдущие, говорю тебе, — голос чуть правее, высокий, нервный, ломкий, как стекло.

— Такая же, как и все. Все войны одинаковые, — отвечает ему голос с левой стороны, спокойный, низкий, хрипловатый.

- Я был под Ульх-Ноэтрой, Унта. Это... это ад.
- Каждая война — ад. Я их столько повидал...
- По ночам сидишь в окопе по колено в грязи, а кругом трупы... Слышно, как земля шепчет.
- Был бы ты в Бэдрасе в восемьдесят пятом...
- Бэдрас был другой войной.
- Все войны одинаковые.
- Говорят, Искупитель уже здесь. Люди шепчутся.
- С кем? С землей? — усмехается.
- Тьфу с тобой. С кем только не шепчутся. Время такое...
- Время всегда одинаковое.
- Вот в газете читал — метеоритный дождь.
- Больше газетам верь.
- Говорят, конец света.
- Конец света каждый год.
- Сейчас по-другому.
- Всегда так говорят.

Конец света, война. Непонятные названия. Я слышал истории про людей, которые после сильной травмы стали понимать другой язык, но чтобы такое... Возможно, я ударился сильнее, чем думал. Я только надеялся, что это пройдет.

Или что они просто сумасшедшие.

В палату кто-то вошел. Я поднял голову (опять обожгло болью, как два провода, качаясь, высекают друг из друга искры) — эта была женщина в маске, в белом грязноватом халате, со старомодной папкой в руках.

Она спокойно осмотрела палату, потом остановила взгляд на мне.

— Млай, — дернула она головой, глядя на меня.

Я неуверенно посмотрел по сторонам, потом медленно поднялся, поставил одну ногу на холодный пол, потом вторую. Меня качало.

Она вела меня по длинному коридору. Холодный мрамор обжигал ноги, тапочек мне, кажется, не полагалось.

Пыль и мелкая крошка приставали к ступням. Вокруг двери, двери, двери, и такие же палаты за ними. Люди в одинаковых белых одеждах, сидящие на койках, на корточках, стоящие, прислонившись к подоконникам, к колоннам, к стенам, но больше лежащие. Люди, перевязанные бинтами, без ног, без рук, с костылями, с замотанными головами, с рубцами и ожогами на лицах. Сотни их.

Мы прошли мимо плаката. На нем незнакомый мне мужчина средних лет стоял, сурово глядя на меня (так хитро нарисован плакат, что будто глаза всегда смотрят именно на тебя, с какого угла не подойди), в одной руке у него винтовка, другая указывает — тоже на меня. Покрывали все это непонятные символы. Пока мы проходили мимо, я все вглядывался в эти символы, но не мог понять, что это, или даже на что это похоже. Дислексия? Прошло бы это поскорее.

Мы вошли в деревянную дверь за плакатом, такие же символы начертаны на табличке.

Небольшая светлая комната, из распахнутого окна льется густой белый свет. Лучи дробятся в хрустальной люстре, падают на стены, на пол, на захламленный бумагами стол, на раскладную койку, переплетаются в узоры калейдоскопа, во фракталы, в мандалу.

— Ложитесь. Снимайте верх. Не дышите. Дышите.

Она осматривала меня, я слушался приказов. Прикладывала стетоскоп к груди, осматривала голову, светила фонариком в глаза.

— Голова болит?

— Болит, — сказал я прежде, чем осознал, что могу говорить на этом языке.

— Сильнее? Слабее?

Я понятия не имел, сильнее или слабее, так что просто ответил:

— Так же.

— Что-нибудь помните?

Я подумал немного и решил не рассказывать про лес.

— Нет.

Она кивнула и отошла за стол.

— Одевайтесь. Полежите пока.

Я лежал и рассматривал потолок, кабинет, шкаф в углу, карту мира, плакаты с рисунками разноцветных органов. В глазах было мутно. Я сощурился и стал рассматривать один из плакатов, с человеческим мозгом в разрезе. Те же странные символы поверх. Я долго, долго смотрел, потом стал замечать, что некоторые символы похожи на другие, и некоторые мне как будто знакомы, и вдруг все резко сложилось, и символы обратились словами, как будто нащупались ниточки, ведущие от линий, от черточек куда-то в мысленное, непредставимое, где обитают смыслы. «Человеческий мозг в разрезе».

Не то чтобы это было каким-то откровением, до этого можно было прийти и интуитивно. Подписи помельче я не мог разглядеть, поэтому стал водить взглядом дальше.

Остановился на карте и долго, долго смотрел. Она была никак не похожа на карту мира, который я знал, и ни на что, что я знал. Воды было сильно больше, а материков семь, и все они были раскиданы непонятно где; я пытался собрать их, как пазлы, в знакомые мне со школы формы и положения, и отчасти даже выходило, но так могло произойти миллионы лет до или после моего столкновения с автобусом; или, может, я проспал какую-то катастрофу?

Войну?

Мы шли обратно по коридору. Снова показался этот плакат, но сейчас я смог прочитать, что на нем написано.

«Душу — Богу!
Тело — Родине!
Сердце — Вождю!»

И снова этот мужчина средних лет провожал меня взглядом, и даже много шагов спустя, и даже сидя в палате, отделенный от него несколькими стенами, я чувствовал этот взгляд.

Слишком много было мыслей, и расплзались они в стороны, как муравьи; едва схватишь одного, как другой вырывается и бежит прочь; и слишком, слишком их много, и мутно в голове.

Я вытащил из кармана обрывок бумаги и карандаш — стащил из кабинета, пока врач отвернулась, — сел на койке и стал записывать.

«Дано:» — я обнаружил, что пишу теми же символами, которые только недавно научился читать, и ощущалось это почему-то так естественно, как будто я никогда не писал другими. Я сосредоточился и попытался вспомнить старые, родные мне буквы. В голове стояла пелена, я не сразу вспомнил, как они вообще пишутся, и получились в итоге невнятные каракули, даже пальцы как будто не привыкли их выводить.

Наверное, дело было в том, что я все еще писал и, возможно, уже даже думал на том языке, на котором «хартха» — это «война», но я хотел писать на языке, на котором «война» — это «война», но обнаружил, что делать это все сложнее и сложнее; как будто меня вытеснял этот новый мир, этот новый я.

Но я продолжал писать по-своему. Сам себе объяснил это тем, чтобы никто не понял моих записей, потому что я еще не знал, чем это может обернуться, да и ничего ровным счетом не знал. Сейчас, вспоминая, кажется, что настоящей причиной было какое-то желание сохранить себя, вцепиться в свое прошлое, которого будто больше и не было.

Так или иначе, я перечеркнул надпись и стал писать по-своему:

«Дано:

1) *Меня сбил грузовик —> Я оказался в другом месте, в другом теле —> Уснул —> Оказался в новом месте».*

Пока писал, заметил, что что-то не так с моим указательным пальцем. Он был как будто бы чужой, незнакомый. Да и в целом тело у меня было как будто другое, но этот палец, с ним явно было что-то не то. Я долго, внимательно смотрел. Что-то было лишнее; или, может, наоборот... Я вдруг понял, что на пальце у меня была родинка, к которой глаз так привык, что перестал замечать совсем, и я даже забыл о том, что она есть, а сейчас ее не было; и остро ощущалась это отсутствие.

Я дописал:

«в новом теле

2) *У меня травма головы, я ничего не помню, что было между.*

3) *Мне показалось, что здесь говорят на другом языке, но потом я начал его понимать (устно и письменно), и разговаривать на нем.*

Вопросы:

был ли настоящим сад?

связаны ли между собой эти места?

я нормально воспринимаю реальность? сейчас».

На последний вопрос ответить было сложнее всего. Честно говоря, на него было сложно ответить всегда. Я вдруг понял, что нет надежного способа однозначно в нем убедиться, и не только сейчас, а вообще.

Не проще был следующий вопрос:

«Настоящее ли это место или это тоже сон?»

Воспринималось все реально, но сон всегда воспринимается реально. Всегда... Неожиданно явственно и жутко обозначился следующий вопрос:

«Настоящей ли была вся моя предыдущая жизнь?»

Я пытался систематизировать мысли, но почему-то меня уносило только дальше от сколько-нибудь четкого ответа. Решил подытожить:

«Гипотезы:

1) Грузовик реален, это место реально, лес мне приснился. Из-за травмы головы я ничего не помню и ненормально воспринимаю реальность

2) Ничего не реально, это место реально. Я получил травму головы (где? как?) и ничего не помню, а все остальное мне приснилось.

3) Все реально, я переместился в другой мир (умер?), потом снова переместился в другой мир (снова умер?)»

Я жевал кончик карандаша и смотрел на бумагу, карандаши разбежались в разные стороны и то обретали смысл, то снова теряли, и все было много раз зачеркнуто, перечеркнуто, стерто, записано поверх, и сплеталось в чудовищную паутину, во фрактал, в мандалу. Ничего не понятно. Ничего не известно. Ни на один факт нельзя опереться.

«4) ничего не реально. Мне все снится...»

Была уже ночь, и, когда сзади что-то сверкнуло, я подумал, что началась гроза, и по привычке стал отсчитывать секунды до раската грома; но секунды тянулись и тянулись, билось напряженно сердце, но было тихо, странно тихо, даже не скрипел грифель о бумагу; я дописал слово, и, будто только того и ждал, разорвался гром.

Это было — будто все звуки мира собрались в один звук; будто мир подходил к концу, и Творец, свертывая землю, враз выплеснул все неизрасходованные звуки; и стало тихо.

Я лежал на полу; в голове висел тонкий, дрожащий писк, в ушах хлюпало влажное и теплое; нос густо капал кровью.

Я медленно, с трудом встал, но тут же меня сбили с ног; в госпитале творился невероятный бардак, кровати, одежда, люди лежали, разбросанные, здесь и там; и все бежали, толпились, сбивали друг друга с ног; и кто-то блевал, а кто-то лежал, прижав ладони к лицу и широко рас-

крывая рот; кто-то стоял на коленях, сложа ладони, и оже-
сточенно шевелил губами; все это в полной тишине, толь-
ко пищит и пищит в ушах.

Снова сверкнуло; я почувствовал, как горячая волна
прошла сквозь меня, и едва не упал. Кто мог, столпились у
окна; показывали пальцами на что-то там, за окном.

Сверкнуло еще; окна разлетелись осколками, и люди
падали, падали, и меня тоже бросило на мраморный пол;
жгло кожу, жгло внутренности, будто в микроволновке.

Я полз к окну; в битом стекле лежали окровавлен-
ные люди, я перебирался через них; сверкнуло снова,
снова раскаленная волна прошла сквозь тело, бросила
внутри угли. Пылающий воздух жег горло; по горлу вниз
текло теплое и густое. Занавеска горела. Я схватился за
подоконник, с невероятным трудом поднялся; в глазах
у меня потемнело, и плясали пятна, как в калейдоскопе;
но темнота рассеялась, я наконец увидел, что было за
окном.

Черное, беззвездное небо в дыму. Красным полыхала
зарница; во дворе госпиталя горели деревья и здания,
взлетали в небо искры; мир полон черным и красным. Яр-
ко-алые, с большой палец стояли на горизонте грибки.

Я зажмурился; даже тогда грибки, будто выжженные
на сетчатке, стояли перед глазами. И снова сверкнуло; ос-
лепило даже сквозь плотно закрытые веки; я ударился го-
ловой о что-то твердое.

Очнулся. Открыл глаза: мир красный с черным, только
пляшут перед глазами разноцветные узоры, сплетаются
между собой в паутину, во фрактал, в мандалу. В открытое
окно отчетливо было видно, как медленно чертит небо
падающая звезда; и все ближе, ближе.

И падала она прямо на меня — как ангел спускался на
грудь; ближе и ближе. Я четко видел уже и крылья, и нимб,
и, главное, — сияние, сияние наполняет мир, и становится

миром, и нет ничего, кроме сияния; слышался мне грандиозный гул, будто дунули в циклопическую трубу.

Перед самым приземлением ангел чуть замедлился, повис в воздухе, улыбнулся, и — расправил крылья.

И вспыхнул темнотой.

III Жолдас

Жолдас вышел на улицу, в степь, в ранний весенний вечер. Ночь спустилась рано, по старому времени¹.

Время было старо.

Холмы покрыты свежим, нетронутым, сверкающим снегом, тянутся, одинаковые, долго, бесчисленно, до самого горизонта. Снег — как стеклянная пыль. Лежит, прислонившись к стене, белая в черных пятнах сука; щенки зарылись мордами в брюхо и подрагивают, и давят лапками в розовый живот; сонливо щурится, прикрыв один глаз, зеваает, широко раскрывая пасть; подергивает ушами.

Небо поразительно чистое, сияют крупные, пришипленные к пустоте звезды, вокруг них россыпи звезд поменьше или просто подальше; белесый и бесплотный довлеет в небе необъятный Птичий Путь².

В кармане бушлата телефон Хамзы; что-то там заглохло в ватсаппе, и он попросил сходить до вышки, настроить. Аркат сказал было, что знает нужное заклинание, но Хамза бросил один взгляд, и тот замолчал; но с губ не сходила циничная ухмылка.

Жолдас поднимается на холм. Скользят по снегу ботинки. Вырывается изо рта белый, блестящий пар; уносится ветром. Ветер гладит по щетине, треплет жесткие, загрубевшие от пота волосы. Он идет.

¹ Первого марта 2024 в Казахстане установили единый часовой пояс, решение, по сей день вызывающее бурные споры.

² «Құс Жолы», с казахского буквально «Птичий Путь», — Млечный Путь.

До всех горизонтов — холмы, холмы, холмы. Белые, низкие, неотличные друг от друга, наполняют они собой мир. Мир белый и поразительно пустой. Белая пустота, опять, в который раз. И нет ничего.

И нет в ней смыслов, и не из чего лепить смыслы. Идешь, скользят ноги по снегу. Долго идешь. Потом поднимаешь глаза и видишь, что не сделал и шага. Смотришь назад — и не видишь следов. Белый снег. Как белые страницы.

Он поднимается к вышке. Скользят ноги. Ветер гуляет по степи, по холмам, по волосам и полам бушлата. Высоко стоит вышка. Силуэт ее полон прямых линий — в мире, лишенном прямых линий. Геометрия ее проста и изящна. Лунный свет сочится сквозь этот скелет без мяса, чертит на снегу сетку наложенных друг на друга узоров. Он смотрит на эту плоскую проекцию, пытается вообразить, какое чудовище представил бы себе человек, увидевший проекцию, не зная, как выглядит проецируемое. Видит — и образы накладываются один на другой, складываются в одно усредненное значение. Он поднимает глаза — усредненное значение стоит перед ним.

Огромная, грандиозная рукотворность в мире, лишенном рукотворности. Стоит она, полупрозрачная, как что-то из параллельного мира, как осколок древних времен, забывших самих себя; пытающихся самих себя вспомнить по смутным остаткам памяти, по старым былинам, по истертым рисункам на камнях.

Гул стоит. Гудит ветер, блуждая в балках. Гудят провода. Тяжело стучит сердце. Он падает на колени, в мягкий, пушистый снег. Однотонный гул баюкает его, ветер ласкает обожженные морозом щеки, щекочет волосы. Разливается по мышцам приятное тепло, и пульсирует, и гладит изнутри.

Он бросает на снег кусок войлока, садится, достает из кармана телефон.

Все на непонятном языке. Телефон Хамза всегда стережет, как зрачок глаза. Жолдас в первый раз видит, что там внутри.

Оказывается, Хамза много переписывается с кем-то; и Жолдас рад, что не знает смысла незнакомых букв. Не столько даже из ощущения приватности, сколько из домыслов, сколько из количества историй, которые можно было придумать. На аватарке — смуглая красивая женщина, на руках у нее ребенок. Рядом с ней высокий статный мужчина. Он улыбается. Он счастлив. Это Хамза.

До этого ему почему-то казалось, что Хамза был здесь всегда, что он вышел из этих пустых холмов, что он единое с этой степью. Молчаливый, суровый, древний. Никогда ничего не говорит, не рассказывает. А ведь он тоже пришел сюда когда-то. У него кто-то есть во внешнем мире. Почему, что он здесь делает?

Причем здесь Слово?

Здесь была нерассказанная история; и даже хотелось, чтобы она осталась нерассказанной. Нерассказанное расплывается тысячами дорог, тысячами вариаций. Сказанное становится одним, и исчезает все остальное.

Мир полон нерассказанных историй.

Он поднимает глаза к небу. Тысячи звезд сверкают над головой; огромная, низко висит луна. Столько нерассказанных историй. Столько вопросов. Люди всегда придумывали объяснения, придумывали слова, придумывали смыслы; и человеку нужно осмысливать, а как иначе жить в этом пустом мире, сотканном из вопросов, но никогда не дающем ответы?

Небо.

Небо есть обиталище богов: в свой час на него поднимается бог Солнце, в свою минуту — богиня Луна. Небо есть древний титан, тысячелетия сжимавший в объятиях Землю, но дети их отделили их друг от друга. Небо есть глаза первочеловека; на заре времен он сам себя принес в жертву самому себе и сам из себя сотворил мир. Небо есть сотворенное Господом на первый день вместе с Землей.

Небо всегда было и всегда будет. Небо есть смесь газов — на семьдесят процентов азот, на двадцать один процент кислород; и состоит из тропосферы, стратосферы, мезосферы, термосферы и экзосферы. Неба на самом деле нет, а есть безграничная мысль безграничного Мыслителя, есть картинка на экране монитора.

Небо называется «небо», Н-Е-Б-О, небо называется «аспан», небо называется «көк», называется «sky», «ciel», «ханьиль», «тянь» и много, много как еще называется небо.

Мир полон историями, полон словами.

Мир не бессмысленен; мир полон смыслами, под завязку; так полон, что новым смыслам уже нет места; и не осмысливать нужно, а рассмысливать, стирать смыслы, чтобы освободить место для новых. Рассмысливать слова, чтобы дать им новые, свежие смыслы.

Интернет ловит слабо; что-то в телефоне обновляется, и, кажется, сбоит из-за перевода времени; кто-то переписал время и всем часам назначил новые смыслы.

Он встает и ходит вокруг вышки, чтобы размять затекшие ноги. Ботинки тонут в крепком снегу.

Вдруг понятно ему, что не белых страниц он боялся. Он боялся заполненных. Полных словами, зачеркнутых, перечеркнутых, полных настолько, что не было места для новых слов; некуда было вписать новые смыслы, а старые давно потеряли значение; повторились столько раз и истерлись до того, что сами уже и не помнят, что они значили; рассмыслились до конца.

И сам он давно рассмыслился, но все держался за какие-то старые обещания, какие-то слова, фразы, повторенные слишком много раз, чтобы что-то значить. Зачем он здесь? Зачем он это делает?

Но страшно было от них отказываться; как будто отказываться от себя; как будто выбрасывать в пустоту прошедшие года.

Черная фигура поднимается на холм. Хрустит под берцами снег. Останавливается. Лунный свет заливает лицо. Безветрие. Безмолвие. Блестят черные, глубокие, как зеркала, глаза.

По пятам за ним следует черный угрюмый пес, тычется ему носом в ноги, виляет гнутым хвостом; Аркат поворачивается время от времени и — «Чу!» отгоняет его прочь, тот для приличия отходит назад, виновато опустив к снегу голову, но, едва Аркат оборачивается, снова подходит, волоча по снегу длинные вьющиеся космы, и снова тычется носом в подколенье. Аркат отряхивается от снега и достает из безразмерных карманов термос.

Сидят, смотрят на белые холмы, на одинокую, затерянную посреди пустоты хижину. Дымится в руках горячий чай. Жуют бутерброды.

Жолдас гладит пса по мокрой шерсти, тот переворачивается на спину и все норовит ухватить из рук у Арката бутерброд; тот корчится брезгливо и, выругавшись, бросает ему бутерброд целиком.

— Всегда ходят за мной... — ворчит он, ветер свистит в ушах. — Куда не иду, всегда псы ходят за мной...

Пес ковыряется в глубоком снегу носом, жадно пыхтя и повизгивая от радости, роняя из пасти розовые куски колбасы.

— Ты не любишь собак?

Аркат хмурится. Звезды темнеют у него в глазах.

— Они слишком верные...

Он отпивает чай и молчит. Пес облизывает брыжи и просительным поворачивается к нему, вертится изогнутый хвост с длинными седыми космами, слипшимися и смерзшимися сосульками, будто машет он белым флажком; сверкают белки глаз.

— Это разве плохо?

— Им все равно, кому быть верными... Одинаково машут хвостом перед святым и перед последним мерзав-

цем, лишь бы кормил, лишь бы гладил; да даже если не кормит и не гладит, сказано ведь — хозяин, вот и служат хозяину. А ну пшла прочь! — он шапкой хлещет искатель-но тычущегося в ладони кобеля, тот с визгом отпрыгивает и издали уже обиженно машет хвостом, как белым фла-гом; он долго и брезгливо отряхивает шапку о штаны, пе-репачканные грязью и овечьей шерстью.

Жолдас сворачивает термосу шею и разливает по кружкам чай. Отпивает. Лунный свет искрится в сугробах; вся степь — как отражение звездного неба. Смотрят они на степь, смотрят они на белые холмы. Бродит поодаль обиженный пес.

— То, что ты рассказываешь... — изо рта у Жолдаса со словами выходит густой белый пар. Аркат поворачивается, но в глазах у него все еще степь, все еще белые холмы. — Это выдумка? Или реальность?

Говорит — и тут же понимает, какой бессмысленный это вопрос.

Аркат пожимает плечами.

— Может, выдумка. Может, реальность. Может, мне это приснилось. Может, мир был создан пять минут назад, и все наши воспоминания — фальшивка. Как про-веришь?

Жолдас на секунду представил, что все его воспоми-нания действительно кем-то подделаны, что их никогда не было, и поежился.

— Расскажи, что было дальше, — ему вдруг стало все равно, выдумка это была или реальность. История есть исто-рия. Рассказанная, пережитая, она становится частью мира. Становится смыслами.

— После чего?

— После конца света.

— После конца света... — он отводит взгляд, и снова глаза упираются в никуда, будто видят то, чего не видит никто. — После конца света все только началось...

III Аркат

Нохрови вел меня быстрым шагом сквозь лагерь, мимо однообразных силуэтов серых воинских палаток на фоне бледного песка; ночь была безлунная, но сквозь прозрачное небо крупные звезды сияли так ярко, что видны были даже силуэты часовых вдалеке, укрытых белесыми плащами, как призраки; четко видны были узоры на ножнах сабли, свисающей с пояса Нохрови, видна была надпись витиеватой вязью на тулье его тюбетейки, но я — тот, кем я был на этот раз — не умел читать эти знаки, поэтому, сколько не вглядывался, смысла понять не мог. Посверкивал алмазной пылью песок.

Палаток было много, и все были как будто разные, но совсем одинаковые, и быстро слились до неразличимости, и казалось, будто мы бесконечно идем вдоль рядов одних и тех же палаток; а здание далекого мавзолея, куда мы шли (или в сторону которого мы шли) как будто никак не приближалось.

Но скоро и незаметно мы оказались у самых врат, расписанных непонятными знаками.

Сторожи у входа почтительно поклонились, не мне, Нохрови; он сделал знак рукой, и мы вошли сквозь врата.

Внутри горели факелы; стены были покрыты разноцветной плиткой, местами потрескавшейся, местами отвалившейся, обильно запыленной, не настолько, чтобы скрыть узоры. Желтая, зеленая, голубая глазурь складывалась в причудливые орнаменты, орнаменты поднимались наверх, ведя за собой взгляд. Я поднял глаза к потолку: на высоком куполе, мыслью архитектора разбитом ровными шестигранными сотами, орнаменты сплетались между собой в сложный, симметричный узор, взгляд терялся в лабиринте фигур, дробящихся на самих себя, складывающиеся в самих себя, как фрактал, как мандала; желтая, зеленая, красная, голубая мозаика собрана в идеальные

сочетания, и нигде, как не ищи, нет рядом двух плиток одинакового цвета; переходят они друг в друга, сливаются, дробятся, и все это многое в одном, и одно во многом; я запнулся о высокий порог и чуть не упал.

Гробница из зеленого мрамора. На ней зажженные свечи, по четыре с каждой стороны. Над ней вмурованная в стену черная табличка с несколькими строками золоченых букв. Под ней несколько рядов ровных, полированных до блеска ступеней. Вокруг небольшая комната, стены крыты похожей плиткой, но уже матовой и однотонной. Подле стоял высокий человек; свечной огонь играл в звеньях выглядывающей из-под длинного белого плаща кольчуги. В эфесе сабли. В светлых, внимательных глазах.

— Да царит под вашей крышей мир, — Нохрови поклонился.

— Мир да царит под вашей крышей, — устало отозвался мужчина. — Это человек, о котором ты говорил? — он кивнул на меня, обращаясь к Нохрови.

— Все верно, господин Зараффа.

— Ар-Росул?

— Знаки указывают на него, господин. Та часть знаков, которую можно сейчас проверить. Этого недостаточно, чтобы говорить точно, но по меньшей мере...

Зараффа остановил его движением ладони.

— Не начинай снова, прошу тебя. Как будто можно говорить точно о том, что день светлее ночи. Ты утверждаешь, что... — он только тогда в первый раз обратился ко мне: — Как твое имя?

— Ысман, — слетело с губ. Так звали меня сейчас. Это имя было не вернее, чем «Млай» или любое другое, под которыми я ходил все это время, все умирая, все перерождаясь. В конце концов, я даже не был уверен, что мое оригинальное имя было таким уж верным, таким уж оригинальным, так уж тесно связанным со мной.

— ...что Ысман...

— ...бени Тофаль.

— ...бени Тофаль, оборванец, которого мои разведчики случайно нашли в пустыне, есть Ар-Росул. Тот, кто был обещан тысячу лет назад. Воин, что ходит между мирами, бесконечно умирает и бесконечно рождается снова, и не закончится его путь, пока не выполнена его миссия, — проговорил он с заученным торжеством, дирижируя себе рукой. Потом уронил ее на бедро. — И который через несколько минут умер бы от жажды, если бы разведчикам вдруг не понадобилось сходить до ветра именно к тому кусту саксаула, под которым он лежал. Я правильно понимаю?

— Господин, знаки сходятся. Я выслушал все, что он говорит... удивительные истории...

Зараффа прервал его движением руки. Молча чадили свечи. Он повернулся к ним, наклонился, и, глядя в огонь, сказал задумчиво:

— Когда мой дорогой дядя наполнил Халифат ассасинами, чтобы добыть мою голову, я скрывался в ханке на севере Бесплодной пустыни; где днем солнце нагревает череп до того, что тот обжигает изнутри мозг, а ночью спишь на голом песке, завернувшись шерстяной накидкой, и цитируешь наизусть Писание, чтобы хоть как-то забыть о холоде... — пляшущие огоньки дрожали под немигающим взглядом. — Дервиши напиваются шоробом и дышат дымом из курильниц, а потом встают в круг и танцуют... Долго, долго танцуют. Кто-то поет, кто-то играет музыку, кто-то повторяет раз за разом Священные Имена... Наконец, истощенные, падают наземь.

Он медленно повернулся обратно. Блестели в полумраке зрачки.

— Я слышал от них и много более удивительные истории.

— Да, но господин, если есть малейшая возможность...

Зараффа беззлобно рассмеялся.

— Ах, Аль-Устоз, любимый мой наставник, прости своему воспитаннику его циничность. Просто странно все это складывается... — он стал мерять шагами комнату, водить рукой по стене, стирая пыль. — Мой дорогой дядя внезапно падает с коня и ломает спину, Халифат в хаосе, с запада приходят странные слухи, в Эль-Аммаде вдруг пересыхает родник, в Кненаре сухой песок наливается влагой, по улицам ходят пророки и пророчицы, камень падает с неба, солнце исчезает посреди дня... Думаешь, и правда Конец Времени близок, Нохрови?

— Если это так, господин...

— Этот мир пересыпан «если», как мешки пронырливого торговца пересыпаны песком. Ах, если бы можно было знать что-то наверняка!

Они вдруг замолчали. Слышно было, как горят свечи.

— Знаешь, Нохрови... — его голос стал тихим, задумчивым. — В этой обители мне однажды так напекло голову, что я упал без памяти и не вставал три дня. Все думали, что я умру. Я думал, что я умру... — он чуть замер; но снова продолжил: — И мне было видение. Мой прадед... — он шагнул к саркофагу, провел по мрамору рукой, — приходил ко мне. Говорил, что мне предназначены великие дела... Что я стану более славным правителем, чем он был... Что в книгу мира уже вписано мое имя... — тут он резко повернулся ко мне. — И теперь ты говоришь, что Ар-Росул уже здесь.

Он подошел ко мне, сложив руки за спиной. Заглянул в глаза.

— Быть может, моя роль — только быть частью твоей миссии... Быть может, сейчас ты служишь мне, но на самом деле я — твой слуга...

Повисло молчание. Чадили свечи. Он отвел взгляд и повернулся было к Носрови.

— Простите, — решил я наконец подать голос. Нохрови и Зараффа, оба внимательно уставились на меня.

Под кожу как будто забился песок, и щекотал мышцы, и нервы, и кости. — А сказано ли, в чем заключается эта миссия? Что должен сделать Ар-Росул?

Нохрови вздохнул. Зараффа усмехнулся.

— Это ты мне скажи. Ты ведь Ар-Росул, не я.

— Знания утеряны... — Нохрови посмотрел на огонь, потом на своего ученика, потом — на своего господина. — Если где-то в этом мире они есть, то в библиотеке Киреза. Господин, прошу вас...

— Ах, в Пекло вас всех! — тот раздраженно махнул рукой и отвернулся к табличке со стихом. — Нохрови, дай старым костям отдых. Прикажи отвести Ар-Росула под стражу, дай ему воды и еды. И скажи: пусть не сводят с него глаз, и сам не своди. Никому не говори об этом разговоре. Я объявлю свое решение завтра после утренней молитвы.

— Благословит Всевышний ваш сон, — поклонился Нохрови.

— Благословит Всевышний ваш сон, — повторил я.

Вокруг разноцветные плитки, линии, узоры, узоры, фракталы, мандала.

* * *

В дымовое отверстие было видно глубокое, темное небо, и тысячи звезд на нем; казалось, что все звезды смотрят на меня.

Я лежал в спальном мешке, в тепле, в комфорте в первый раз за долгое время. Я страшно устал; но сон не шел.

Я скоро понял, что нигде не могу записывать свои воспоминания, нет ничего, что сохранялось бы при переходе из мира в мир; значит, мне нужно было надеяться только на свою память. И я раз за разом повторял все, что со мной случилось, начиная с того грузовика, и даже раньше, все свои воспоминания, с самого детства, каждую мелочь, которую я только мог вспомнить. Всего этого те-

перь как будто не было. Всех этих людей, всех этих воспоминаний. Теперь они существуют только в моей памяти, и если я их забуду, то будто уничтожу окончательно; и я повторял раз за разом, даже не для себя, а для них.

Повторял; и то тут, то там находились вдруг какие-то маленькие знаки, мельчайшие детали, как будто бы ничего не значащие, но смотришь на них через призму будущего знания и понимаешь, что было это неспроста.

«Говорят, Посланник уже здесь».

В детстве я часто видел странные сны. Места, где я никогда не был. Люди, которых я никогда не встречал. Мне всегда казалось: моя судьба — особенная, я рожден не просто так, и я все ждал, все надеялся, что произойдет что-то особенное.

«Тот, кто ходит между мирами, бесконечно умирает и бесконечно рождается снова, и не закончится его путь, пока не выполнена его миссия».

Потом я вырос, и оказалось, что ничего особенного со мной все не происходит и не происходит, и я такой же, как все; да и, в конце концов, каждый считает, что он особенный, но потом жизнь, учеба, работа, все это забывается, и я забыл тоже; но сейчас вспомнил.

«Этот ребенок, говорю тебе, не похож на других».

Я знал вещи, которых никто не знал. У меня и раньше, я вспомнил, вдруг появлялись какие-то странные знания, которых я не мог знать, содержание книг, которых я не читал; вот как сейчас, с этими языками, с этими именами.

«Я шел по улице, какой-то бродяга подошел ко мне с листовками, стал уговаривать меня вступить в какую-то секту; долго я не мог от него отцепиться, потом все-таки взял листовку, лишь бы отстал, и вдруг был страшный грохот, и сквозь тело прошла волна, как на концерте, когда стоишь прямо возле колонки. В соседнем доме взорвался газовый баллон. Я как раз собирался туда зайти».

Я бродил по мирам, видел эти странные, страшные вещи, голодал, страдал лихорадкой, но что-то двигало меня вперед, одной судьбе известно куда. И в многие бескрайние ночи, когда лежал, свернувшись, без сил, без какой-либо надежды, сквозь боль, сквозь слезы она одна только мерцала, одна вера, одна мольба:

«У всего этого должен быть смысл. Не может же быть, чтобы все это было просто так!»

Была эта потребность в смысле, самая важная потребность, важнее еды и воды. И только сейчас она удовлетворилась. В первый раз за очень, очень долгое время я почувствовал спокойствие. Много еще осталось вопросов, но и на них когда-нибудь найдутся ответы. Надо только запастись терпением и бороться, бороться, бороться. Все только начинается.

«И все-таки... Почему я?»

Я водил взглядом от одной звезды к другой. Ни одного знакомого созвездия. Острая, накатывала тоска по дому. Может быть, каждая из этих звезд и есть один отдельный мир? Может быть, не все потеряно совсем, может, еще можно будет вернуться?

Сердце отчего-то защемило, но потом отпустило. Может, мне дадут вернуться, когда я выполню свою миссию? Даже если это займет вечность.

Вечность ли? Носрови не упоминал ли Конец Времен? Я вспомнил, как на моих глазах мир обратился в пепел, в ничто. Сколько раз это еще повторится?

Что будет, если я не справлюсь? И если справлюсь, то что будет после? Как я пойму, что справился?

Я снова ворочался, и снова потерял покой, и снова, и снова, и длилось так часами, пока, вконец измученный, не спавший всю ночь, я не вытянулся, обессиленный, в спальном мешке, отдавшись плотной и приятной тяжести; светало.

Я проваливался в сон; мне слышался шорох песка, и вой ветра, и звуки шагов, гудок грузовика, выстрелы, взрывы, крики, огонь, огонь вокруг; я резко проснулся. В палатке было людно.

Меня обступали люди в доспехах, с суровыми лицами и холодными взглядами, с саблями наголо. Сабли были в крови.

— Что происходит? — я резко вскочил. — На нас напали?

Я не мог понять, кто это. Они были похожи на солдат Зараффы, но, может, это были совсем не они, я ничего не знал об этом мире. Один из них, высокий, заросший черной с проседью бородой, выступил чуть вперед.

— Это ты Ар-Росул? — голос его был резким, низким, грубым, как боевой барабан.

Я не нашелся чего сказать, только растерянно переводил взгляд с одного на другого.

— Носрови сказал так, но сам я не знаю...

— Докажи, — он навис надо мной. У него были прищуренные, внимательные серые глаза.

— Он притворяется, — сказал кто-то. — Посланник? Чей Посланник?

— Я не притворяюсь! Я правда не знаю!

— Откуда ты?

— Я ничего не помню, помню только, как оказался в пустыне, и вс...

— Он обманщик! Он притворяется Посланником, но слова его ведут в Пекло!

Кровь капала с кончиков сабель. Визжала толпа. Красные пятна расплывались по песку.

«Убей его!»

«Сын иблиса!»

«Выври его поганый язык!»

Крики, звон сабель, рев огня, все это постепенно таяло, отступало за какую-то завесу. Мир расплывался, и только были в нем внимательные, немигающие серые глаза.

Он поднял руку; крики моментально оборвались.

— Последний шанс. Докажи, что ты Посланник.

Нужно было что-то придумать; я вдруг нашелся с ответом, и опять он пришел сам, будто мне вписали его в голову.

— Завтра... с неба исчезнет луна, — сказал я шепотом, глядя на окровавленный песок. Они молчали. Тихо бормотал огонь. — Послезавтра исчезнут звезды, — сказал я громче, и поднял взгляд, и обвел их взглядом. — На день после этого солнце взойдет там, где оно заходило, и зайдет туда, где оно всходило! — крикнул, поднимая взгляд к небу, где молча мерцали звезды. — Три дня раздумий дается вам, и три ночи. После этого... — я опустил взгляд, снова оглядел их, внимательно заглядывая в каждое лицо, остановившись на серых, мутных от жестокости глазах, — вы уверуете в то, что Посланник пришел, или будете брошены в Пекло. Во Мрак.

Последнее слово упало в кромешную, непроницаемую тишину. Они молча переглядывались, сомнение читалось в их глазах. Я смотрел то на одного, то на другого, стараясь выглядеть так уверенно, как мог. Я сам не верил, что мой блеф сработал, и сам не верил, что эти слова только что сошли с моего языка, но, по меньшей мере, у меня теперь было время до завтра, а там я что-нибудь придумаю.

Сероглазый задумчиво смотрел на меня, глядя пальцами бороду. Потом обернулся и кивнул кому-то.

Тут же меня схватили, повалили на закапанный кровью песок; холодный кинжал обжег горло.

«Он будет обманывать вас несвятыми чудесами; не верьте ему — цитировал он, сложив руки за спиной. — Он будет пугать вас черными словами; не верьте ему».

Острое, окованное железом колено упиралось мне в позвоночник; я пытался вырваться, даже не надеясь, что получится, просто по инстинкту.

«Он будет обещать вам блага и богатства; не верьте ему».

Неимоверная стояла вакханалия: бешеные крики, смех, лязг железа, и в этом хаосе по-прежнему четко слышалось:

«Ибо Посланник не будет ничего вам обещать; он придет к вам в шерстяном плаще, и вы пойдете за ним».

Все это время правильным ответом было не блефовать, не выкручиваться, а просто сказать правду, сказать как есть, черт возьми.

«Иной будет самозванцем; взгляды ваши должны быть остры, ибо он хитер, сын лжи и обмана».

Я не был самозванцем. Я никогда этого не выбирал, все выбрали за меня. Все, с самого рождения, выбрали за меня. Я был никаким Избранным, никаким Посланником.

«Самозванец вползет в ваши сердца, как змея вползает в ваши палатки, как скорпион вползает в ваши одежды».

И тогда, в последний момент, я вдруг понял, что все так и должно быть.

«Умертвите самозванца, как вы умерщвляете змею в вашей палатке, как вы умерщвляете скорпиона в ваших одеждах».

В момент, когда горло наполнилось огнем и огонь наполнил меня, все тело, весь череп, глазницы, рот; в тот момент я четко осознал, что этот мир содержал только часть ответа; и что ответ раскидан по всем мирам, и нужно будет собирать его, долго, мир за миром, смерть за смертью, кусочек по кусочку; и что это только начало.

Я пустел, пустел кровью, и громадная пустота вставала передо мной черной бездонной воронкой; и воронка схватила меня и бросила дальше сквозь пустоту, сквозь миры, дальше, дальше, дальше.

(Продолжение в сл. номере)

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

(Кёльн)

СТРАННИКИ

Тарахтелов, наш сосед по квартире, повесился ночью под 7-е ноября. Он был высокий, костлявый, с длинными руками. Носил всегда военную гимнастерку, как многие тогда носили, хотя военным не был, служил в какой-то конторе. Сам он произносил свою фамилию через «э» — Тарахтэлов — и говорил, что он ассириец. Тетя Таша за глаза именовала его Ашурбанипалом. У него была круглая черная борода на подбородке и на шее, совсем не похожая на прямоугольную до пояса бороду ассирийского царя. Портрет Ашурбанипала я видел в учебнике по истории Древнего мира.

Мы уже давно спали, — нас разбудили громкие удары в дверь и отчаянные крики Риты Матросовой. Рита, как и Тарахтелов, была наша соседка. В квартире было три комнаты: одну, самую просторную, занимала тетя Таша, рядом, за стеной жил Тарахтелов, следом, в небольшой комнате у входной двери помещалась Рита. Я знал, что до революции вся квартира принадлежала отцу тети Таши, потом тетя Таша и тетя Маня, ее сестра, остались в ней вдвоем, их уплотнили, в квартире появились посторонние съемщики, и она превратилась в коммуналку. Про отца тети Таши мама сказала однажды, что он был «духовное лицо». «Поп, что ли?» — спросил я. «Духовное лицо», — повторила мама. Больше мы об этом не разговаривали.

Тетя Таша считала Риту безнравственной женщиной. Рита ее боялась. К Рите иногда приходили мужчины и оставались ночевать. Она выбегала в кухню ставить чайник, ее толстые щеки пылали. Мы с Женькой делали вид, что идем в уборную, на самом же деле по очереди подкрадывались к Ритиной двери и подслушивали. Двери в квартире были старинные, тяжелые, почти ничего не слышно, — иногда звякала посуда, мужской голос басил что-то, всего явственней был высокий, залиvistый Ритин смех, но нашему воспаленному воображению и того было довольно. Одно время у Риты был роман с инженером Седовым, который со своей семьей занимал всю квартиру под нашей, на первом этаже. Я дружил с дочкой инженера, Татой, у нее были коротко подстриженные светлые, почти бесцветные волосы, в школе и во дворе ее называли «Седая». Потом инженер исчез, Тата с матерью быстро и незаметно съехали, а в квартиру вселились сразу две семьи.

Последнее время Рита по ночам пробиралась к Тарактелову, что, конечно, не было для нас с Женькой секретом. Женька врал, что однажды ночью, выйдя по нужде, видел, как Рита с Тарактеловым мылись вдвоем в ванной, позабыв затворить дверь, и сообщал такие подробности, которые вызывали у меня смех и вместе сводили с ума. Женька был четыремья годами старше меня — ему уже исполнилось шестнадцать — и несравненно более наслышан и начитан по вопросу отношения полов.

В округе Риту называли «Вестингаузом». В ту пору на площадках железнодорожных вагонов означался надписью тип тормозного устройства: «тормоз Матросова» или «тормоз Вестингауза»; когда Рита Матросова с могучей грудью и тесно обтянутым юбкой подвижным задом бодро шагала по переулку, ребята кричали: «Вестингауз, тормози!». Рита звонко смеялась, щеки ее пылали.

Тетя Таша поднялась. Накинула халат, зажгла свет и пошла отворять. Она всегда держала дверь запертой на ключ. Рита стояла на пороге в длинной белой ночной рубашке, облежавшей ее большое тело. Сквозь тонкую ткань просвечивали соски огромных грудей, темный треугольник лобка. При виде тети Таши, которая стояла перед ней строгая, прямая, руки в карманах халата, Рита перестала кричать, выговорила, будто подбирая слова: «Там... висит...» Я слышал, как стучат ее зубы. «Подите, пожалуйста, оденьтесь, здесь — мальчики, — сказала тетя Таша. — Я позвоню в милицию».

Минут через сорок прибыли трое: главный, с неприметным лицом, в шинели без петлиц, туго перетянутый портупеей и в военной фуражке с синим околышем, доктор в неопрятном белом халате поверх пальто и наш дворник дядя Костя, крепкого сложения рябой татарин, которого на самом деле звали Абдул.

Дядя Костя с худенькой, тихой женой Фатимой и шестью детьми жил в полуподвальной комнате рядом с красным уголком, где на стене, на обтянутой кумачом доске висели портреты вождей. В красном уголке, посредине, стоял небольшой с малиновым сукном бильярд — играли на нем металлическими шарами-подшипниками, у стены — стол с газетами и журналами и в углу — отдельный шахматный столик. Шахматные фигуры были красного и белого цвета, они изображали пехотинцев, кавалеристов, вместо ладей были танки, уже не помню подробно, что там еще было. Неожиданность игры состояла именно в цвете: для нас, тогдашних, красные были главнее белых, им предоставлялся первый ход, открывалась возможность выбора дебюта и инициатива, за них болели, — то есть белые оказывались как бы черными, и не только колористически, но нравственно, что ли. Красным уголком заведовал на общественных началах

инвалид гражданской войны Зиссерман, толстый, мало-подвижный старик (каковым он нам казался) с пересекавшим пустую глазницу глубоким шрамом на оплывшем лице; прозвище его было «Кутузов». По вечерам Зиссерман с дядей Костей допоздна сидели за шахматами. Зиссерман, побеждая, говорил про дворника: «Тактически мыслит, но — не стратег».

Полуподвальное окно дворницкой никогда не бывало завешано, и мы, играя во дворе, любили заглядывать в помещение, где, кроме стола и нескольких кроватей, на которых дети спали по двое, ничего и не было. Когда у дяди Кости умер младший мальчик Мансур, мы целый день, раззадоривая один другого, подбегали к окну и с ужасом, от которого всё внутри скручивалось, как белье, которое выжимала, доставая из окутанной паром лохани, Фатима, взглядывали на лежащее посреди стола завернутое в простыню тельце.

Иногда Фатима пекла одуряюще вкусно пахнувшие круглые мясные пирожки, беляши, и выносила доверху наполненную ими миску в красный уголок, чтобы угостить тех, кто там находился. Беляшами соблазнялись немногие, поскольку готовились они из конины. Мы с завистью, глотая слюни, смотрели, как жадно поедают лакомство дяди-костины дети, но сами попробовать не решались. Только старый Зиссерман брал из миски беляш, и другой, и третий: во время гражданской войны ему, по его словам, частенько приходилось есть лошадиное мясо; однажды они с товарищами после боя даже добились и съели раненого коня белогвардейского генерала.

У дяди Кости были две девочки-близняшки, мои ровесницы Роза и Галя. Розка с отчаянно блестящими глазами и пунцовыми круглыми губами, дразня мальчишек, непристойно щелкала пальцем одной руки по сложенным

кружком пальцам другой, кричала визгливо: «Хочешь беляша!» Галя, хоть и близняшка, нисколько на нее не похожая, с вытянутым белым лицом, урезонивала ее басом: «Заткнись, дура!»

Хотя тетя Таша велела нам наружу носа не высовывать, мы с Женькой, конечно, оделись, выскользнули в коридор и оказались у отворенной настежь тарахтеловской двери. Прибывшие по вызову были уже в комнате. Рита и тетя Таша стояли на пороге. Рита натянула праздничное цветастое платье, приготовленное на завтра, чтобы идти на демонстрацию, длинная белая ночная рубашка вылезала у нее из-под подола.

Тарахтелов повесился на большом железном крюке, свернутом в самой середине потолка. Тетя Таша говорила, что когда-то на этом крюке держалась люстра, не то в свое время конфискованная, не то позже проданная. Вместо люстры у Тарахтелова была лампочка под самодельным бумажным абажуром, прилаженная к стене над диваном. Тарахтелов вытащил на середину комнаты старенький письменный стол, который стоял обычно в углу и служил хозяину чаще обеденным, чем письменным, поставил на него стул — дом был старый и потолки очень высокие, — а когда затянул петлю, отбросил стул. Стул лежал теперь кверху ножками довольно далеко от стола.

Невысокий полный доктор в белом халате поверх пальто поставил стул обратно на стол и, опираясь на плечо дяди Кости, взобрался наверх. «Темно. Ни хрена не видно». Человек в шинели подошел к лампе, сорвал с нее абажур. Комнату, до этого затемненную, сразу наполнил ровный тусклый свет. Я не помню, чтобы у Тарахтелова вывалился язык, как обычно рассказывают про удавленных, помню только, что меня поразила странно изогнутая набок, будто переломленная шея и непомерно длин-

ные руки и ноги, казавшиеся очень большими и тяжелыми. Он был одет в обычную гимнастерку и высокие желтые ботинки со шнуровкой на крючках. «Всё ясно», — сказал доктор и стал осторожно спускаться в распахнутые ему навстречу объятия дворника.

Главный в шинели, задрав голову, неспешно обошел стол, точно любуясь висевшим Тарахтеловым, произнес почему-то: «Вот паразит!» — снял фуражку, пригладил ладонью редкие белесые волосы и снова надел фуражку. «Ладно, снимай!» — приказал он дяде Косте и повернулся к доктору: «Вызывайте перевозку. Да пусть побыстрее пришлют. Не до утра же тут возиться. Телефон где?» Тетя Таша повела доктора к телефону.

Дядя Костя ловко влез на стол. Военный вытащил из кармана большой складной нож с деревянной ручкой, открыл, протянул ему. Дядя Костя провел ножом по туго натянутой над головой Тарахтелова веревке. Тарахтелов медленно (мне показалось), как снежная баба в теплую погоду, стал оседать, ноги будто укоротились, руки бесильно упали на плечи дяде Косте. «Эй, помогай давай!» — дядя Костя, касаясь щекой лежавшей у него на плече головы Тарахтелова, кивнул Женьке. Женька поджал губы, побледнел и шагнул от порога к столу. Потом Женька хвастался, что ничуть не боялся, хотя покойник был ужасно тяжелый и холодный; но это он врал, что не боялся, я-то видел, что он едва соображал, чего от него хотят. Вместе с дядей Костей они перенесли Тарахтелова на диван; Женька держал под мышками, а дворник за ноги. «Ладно, — сказал главный, снова снял фуражку и пригладил волосы. — А вы одевайтесь, с нами поедете». — сказал он Рите. «Чего мне ехать, — дерзко завопила Рита, мощной грудью надвигаясь на военного. — Убил я его, что ли?». «Ладно, без глупостей, — сказал человек в шинели, легонько от нее отмахиваясь. — Документы захвати»...

Тетя Таша, тихо и ровно дыша, лежала на своей кровати, и я, притворившись, будто думаю, что она спит, бесшумно перебежал босиком со своей коротенькой тахты на диван к Женьке. Обычно тетя Таша не позволяла нам спать вместе, считая это бесполезным с точки зрения гигиены и нравственного развития, как она объясняла, но в ту ночь она тоже притворилась, что не замечает этого. Мне было страшно. Мне виделась переломленная, как у птицы, шея Тарахтелова и его висящие ноги в желтых со шнуровкой ботинках до колен. Женька почти беззвучно шептал мне в самое ухо, какой тяжелый и холодный был Тарахтелов, даже сквозь суконную гимнастерку чувствовался холод тела, и руки уже начали коченеть.

«Смерть не красит, — вдруг сказала в темноте тетя Таша своим негромким ровным голосом. — К этому жутко привыкнуть, но к этому привыкаешь. Человек жил, любил, страдал и вдруг превращается в “тело”, мертвую оболочку, из которой ушла душа, жизнь; этой оболочке нет уже места среди живых людей, они спешат убрать ее прочь, упрятать навсегда, чтобы не получилось нечто вовсе ужасное. Вот и задумаешься: неужели самое совершенное творение, человек, является на свет, чтобы в конце концов превратиться в “тело”, в нечто, в ничто. Страшен не мертвый Тарахтелов, страшно представить себе, что он передумал, перечувствовал, чтобы по собственной воле совершить это. И страшно предположить, что это — всё».

Я спросил: «Тетя Таша, вы верите в тот свет?»

«Один замечательный писатель назвал тот свет Великим Быть Может», — ответила тетя Таша.

Утром — в то утро, 7-го ноября, раньше обычного, чтобы не опоздать на демонстрацию, — тетя Таша стояла в кухне у плиты и помешивала в кастрюле овсянку. Мы с Женькой ненавидели овсянку, но тетя Таша была неколебима: всякий день начинался для нас тарелкой овсяной

каши. «Лёв Николаевич Толстой, — отвергала она наши протесты (тетя Таша произносила имя через «ё», Лёв, как произносили люди, Толстому близкие), — Лёв Николаевич Толстой говаривал: «У овсянки только один недостаток — всегда хочется еще».

Пройдут года, среди иного прочего я соглашусь с Толстым и в этом.

Я прожил у тети Таши больше семи месяцев, но именно такая, как в то праздничное ноябрьское утро, осталась она навсегда в моей памяти: глубоко задумавшаяся, словно отгородилась своими мыслями от всех, коротко подстриженные с сильной проседью волосы, узкие прямые плечи, длинный, до полу, коричневый байковый халат, — она стоит у плиты и неторопливо помешивает ложкой в кастрюле. Я не ведал в то утро, да и тете Таше не приходило в голову, что жить нам вместе осталось всего каких-нибудь двенадцать дней: через две шестидневки (счет времени в ту пору велся не неделями, а шестидневками) мы расстанемся, чтобы никогда не увидеться больше; еще несколько шестидневок спустя, перед первыми выборами в Верховный Совет СССР, тетя Таша отправится на службу (она служила в какой-то экспедиции главпочтамта) и больше домой не вернется. К вечеру на двери ее комнаты появятся две соединенные лохматой бечевкой сургучных печати, — такие печати уже темнели в праздничное утро 7-го ноября, о котором идет речь, на двери Тарахтелова.

Только двадцать лет спустя подойду я снова к доживающему свой век двухэтажному дому, укrywшемуся в переулке за широкой спиной нового здания, поставленного на Тверской, тогда, впрочем, именовавшейся еще улицей Горького, поднимусь на второй этаж к знакомой двери, обитой, правда, теперь черным дерматином, чего прежде

не было, увижу, чего тоже прежде не было, красную стеклянную пластинку с надписью «Квартира социалистического быта», а под звонком список жильцов, где первой — «Матросова М. И. — ответственная съемщица», — и не позвоню. Мне вдруг страшно станет возвращаться в прошлое. Потом однажды я всё же наберусь решимости, но окажется, что от дома и следа не осталось.

Тетя Таша была еще в кухне, когда возвратилась Рита. Она была сильно выпивши. «Праздник! — сказала Рита. Она стояла посреди кухни в расстегнутом пальто, цветастое нарядное платье обтягивало ее грудь и живот. — На улицах народ, флаги, музыка играет, песни под баян. Торгуют со столов в разлив и бутерброды с красной икрой. И чего было вешаться, чего не хватало? Только хлопоты и себе, и людям». Тетя Таша не обернулась, слышно было, как ложка постукивает, как пыхает в кастрюле каша. «А вы бы, Наталья Дмитриевна, с ребятами разобрались, — помолчав, снова заговорила Рита. — Только и спрашивали, кто такие, и откуда, и почему. Я вообще-то подписку дала, о неразглашении, но всё равно ребят жалко...»

«Спасибо, Рита», — не оборачиваясь, сказала тетя Таша, подняла за длинную ручку кастрюлю и направилась в комнату.

На улице, и правда, было весело. По всей улице Горького толпились демонстранты, ожидая сигнала, чтобы построиться в колонны и двинуться в сторону Красной площади, где пока проходил военный парад. Тут и там, совсем близко и где-то в отдалении, духовые оркестры исполняли бодрые песни и марши, звуки труб наплывали один на другой, мешаясь в общий радостный гул. Над головами людей краснели флаги и транспаранты.

На углу нашего переулочка стоял, ожидая своего часа, укрепленный на велосипедных колесах громадный плакат,

который демонстранты в движении провезут мимо мавзолея: тощий низкорослый человек (даже на праздничном плакате гляделся мальчиком-подростком) в туго перетянутой портупеей военной шинели с большими маршальскими звездами в петлицах и в военной фуражке сжал огромный кулак, на который была надета богатырская рукавица со стальными шипами; в кулаке корчились схваченные за горло отвратительные уроды со змеиными хвостами. Сверху на плакате было написано: «Стальные ежовы рукавицы», а внизу: «Раздавим гадину!» (В школе на уроках истории мы заклеивали в учебниках портреты и, раздирая страницы, вычеркивали из текста имена, на уроках литературы учили наизусть длинные стихи про стального наркома, верного друга Сталина: «Разгромлена вся скорпионья порода руками Ежова — руками народа».) Под плакатом пожилой дядька, с привязанным к верхней пуговице пальто красным воздушным шариком на длинной нитке, снова и снова шпарил на баяне один и тот же лихой мотив, а в возникшем рядом кружке зрителей, пылая щеками и цветастым платьем, отплясывала Ритка Весингауз.

Уличная веселая суета захватила меня, я начал забывать заросшую черной бородой шею Тарахтелова и его желтые ботинки, мое настроение вновь наполнилось тем радостным самодовольством, каким наполнилось накануне, пока его не спугнуло страшное происшествие минувшей ночи.

Здесь я расскажу про девочку из нашего класса Наташу Стражевскую. Это была образцовая девочка: русая коса, светло-серые большие глаза, «отлично» по всем предметам. Наташа была из именитой ученой семьи, у нее не только отец и дедушка, но даже прадед, все были профессора и академики. Она и одевалась не так, как другие девочки: юбка из красной и зеленой клетчатой шотландки,

белые блузки с тонкой красивой вышивкой на груди, курточки на ремешках и пальто с пелеринками, какие нашим девочкам и не снились. Вообще в ее обиходе было множество предметов, вызывавших зависть одноклассников: заграничные карандаши необыкновенных цветов с золотой надписью сбоку на корпусе («кохинор», кажется, они назывались), точилка для карандашей в виде карманных часов, пенал из тисненой кожи. Наташа ни с кем отдельно не дружила, но была со всеми одинаково дружелюбна, никогда ни с кем не ссорилась — и потому казалась высокомерной.

В Наташу я влюбился с первого взгляда, как только мы с Женькой стали жить у тети Таши и перевелись в эту школу. Я еще не успел понять, что она равна со всеми и полагал, что она холодна со мной, и потому всячески старался предъявить ей себя в самом привлекательном виде. Однажды на перемене стоя девчонок, и Наташа в их числе, щебетала в коридоре у окна; я вертелся тут же и вмешивался в разговор, чтобы обратить на себя внимание. Наташа вдруг сказала: «Когда я кончу школу, я стану поэтессой». И тут красивое, изысканное слово «поэтесса» вызвало в моей памяти другое, такое же красивое, изысканное слово, которое, я полагал, точь-в-точь годилось под пару «поэтессе». «Нет, — сказал я Наташе, всей душой желая передать восхищение ею, — ты будешь не поэтесса, ты будешь куртизанка». Кто-то из девочек фыркнул. Наташа побледнела, внимательно посмотрела мне в лицо своими большими светло-серыми глазами, резко повернулась и направилась в класс, где во время перемены никому, кроме дежурных, находиться не разрешалось.

После уроков классная руководительница Капитолина Павловна (русский язык и литература) велела мне задержаться в классе. Ученики Капитолину Павловну не любили. В школе ей дали прозвище «Трамбовка». Это была грузная старуха (нам тогдашним казалось), с маленькими глубоко

упрятыми глазками на круглом лице, придирчивая и подозрительная. Она одевалась в просторные темные платья с белым кружевным воротничком. Рыжая, остроносая Люся Коптякова, моя соседка по парте, которая всё про всех знала, говорила, что Трамбовка из бывших, отец у нее, может быть, даже вообще помещик или фабрикант... В Наташе Стражевской Трамбовка души не чаяла. По словам той же Люси Коптяковой, она лечилась у Наташиного дедушки, знаменитого врача.

Я стоял перед Капиталиной Павловной и боялся. Обращаясь к нам, Капитолина Павловна говорила: «Кому как не тебе должно быть понятно...» — и от такого обращения в душе возникало чувство какой-то особой, сокровенной, вины. Приблизив ко мне лицо, так, что я чувствовал на щеках ее тяжелое дыхание, Капитолина Павловна требовала от меня ответа: как я посмел оскорбить ужасным словом советскую девочку, пионерку, лучшую ученицу. «Кому как не тебе должно быть понятно...» Нелепость положения состояла в том, что именно мне понятно не было. В слове куртизанка я не предполагал ничего оскорбительного. Куртизанка представлялась меня не похожей на других, особенной прекрасной женщиной, вызывающей всеобщий интерес и всеобщее поклонение. Капитолина Павловна и Наташа знали, оказалось из разговора, лишь иное, вульгарное и мне как раз неведомое значение слова. Мы прозревали одновременно: я начал понимать, что имела в виду классная наставница, тогда, как она, сдаётся, понемногу уверовала всё же, что этого-то я в виду не имел. Тяжело дыша, Капитолина Павловна придирчиво выпрашивала меня, откуда мне известно злополучное слово. Я, честное пионерское, не помнил: может быть, слышал от кого-нибудь или, может быть, прочитал. В моем дневнике, в примечаниях за шестидневку Капитолина Павловна вписала каллиграфическим почерком: «Поддается дурному

влианию товарищей. Прошу следить за читаемыми книгами» — и вывела «неуд.» по поведению. «Пусть подпишут... — она хотела сказать «родители», но запнулась и закончила: — ...те, с кем ты живешь».

Тетя Таша скрепила примечание подписью.

«В одной умной книге, — сказала она при этом, — я как-то прочитала: “Мúка — молчать, но еще бóльшая мúка — говорить и быть ложно понятым”. Старайся говорить с теми, кто в силах тебя понять. А лучше всего — помалкивай».

Не знаю, много ли стихов написала Наташа Стражевская, что решила стать поэтессой, — нам, одноклассникам, известно было лишь одно. Едва не всякое классное собрание или пионерский сбор завершались у нас тем, что Трамбовка объявляла с торжествующей (нам казалось — с заискивающей) улыбкой: «А теперь Наташа Стражевская прочитает нам собственное стихотворение». Наташа в тонко вышитой белой блузке при шелковом алом галстуке выходила к учительскому столу, закидывала косу за плечо, красиво поднимала голову и объявляла: «Георгин». После этого следовали читаемые всегда с одним и тем же выражением восемь строчек, завершающиеся стихом: «Что за чудесный цветок георгин!» Мы дружно аплодировали. Никто другой в классе стихов не сочинял.

У нас дома владычествовал Маяковский. В ту пору Маяковский был уже объявлен лучшим и талантливейшим. Комсомольцы собирались в бригады — не помню, как они назывались, — читали вслух стихи поэта, устраивали вечера на предприятиях и в вузах. Женька тоже вступил в такую бригаду; свою речь он то и дело перемежал цитатами из томика в сером переплете, страницы которого были густо исчерканы красным карандашом и переложены множеством закладок. Галя Гарьковская заметила од-

нажды, что он похож на Маяковского (по-моему, вовсе не похож: у него был толстенький нос и щеки пухлые), и Женька, читая стихи, то и дело встряхивал бережно леемым, спадающим на лоб хохолком, таким, как на профиле поэта, тисненном на переплете книги.

За неделю до праздника Трамбовка задала нам домашнее сочинение на тему: «Привет Двадцатой Годовщине Великого Октября» (все с прописных). Признаюсь, я не сильно мучился над текстом. На столе передо мной лежала получаемая тетей Ташей многотиражная газета «Сталинский связист». Передовая в ней была озаглавлена слово в слово как заданное нам сочинение. Перемахивая ее в тетрадь, я только обходил фразы, определявшие очередные задачи советских связистов. Я бойко чертил прямо на белом про беспосадочные перелеты Чкалова и Громова через Северный полюс в Америку, про славных полярников-папанинцев, про открытие канала Москва-Волга и про смертный приговор врагам народа.

Здесь я вспомнил Женькину мать, тетю Клаву, жену умершего маминого брата. Тетя Клава жила в Н. Она работала в швейной артели — изготовляла круглые наволочки на диванные подушки. Наволочки шились вручную из располагаемых кругами, один в другом, разноцветных лент; в центре пришивалась целлулоидовая или матерчатая кукольная головка. Одну такую подушку, называемую «Арлекин», из оранжевых и черных лент, с головкой клоуна в колпаке посередине, тетя Клава подарила нам, — мне она очень нравилась. Никто у нас дома — ни мама, ни папа — не верил, что тихая тетя Клава шпион, диверсант, наймит фашистской разведки. Когда ее арестовали, мама быстро направилась в Н. и привезла к нам Женьку, которого уже было упекли в детдом.

Поразмыслив, я густо зачеркнул весь абзац про врагов народа. Из-за этого надо было переписывать уже почти го-

товое сочинение в чистую тетрадь. Мне сделалось нестерпимо скучно. Я даже нарисовал что-то на покрывавшей стол клеенке, за что мне непременно доставалось от тети Таши, всякий раз заставлявшей меня оттирать намыленной щеткой мои художественные пробы (но тот, кто еще помнит, какое блаженство рисовать обмакнутым в фиолетовые чернила пером №86 на гладкой поверхности столовой клеенки, тот поймет, как трудно отказать себе в этом удовольствии), — я тянул время, так мне не хотелось еще раз выводить на бумаге готовые фразы газетной статьи.

Уже не помню, как явилась мне в голову дерзкая мысль попробовать свои силы в стихосложении. Я не задумывался в ту пору над основами психологии творчества и не запечатлел в памяти исторический момент рождения первых моих стихотворных строк. Между тем с того дня версификаторство на долгие годы завладеет мною. По счастью, природа обделит меня энергией заблуждения, а любовь к литературе вовремя подскажет разницу между сочинением стихов и поэзией, — мои стихи никогда не выберутся из-под обложек домашних тетрадей (разве только шутивное что-нибудь, ко дню рождения кого из друзей). Пройдут не годы — десятилетия, пока однажды, пробудившись, я не пойму вдруг с какой-то холодной ясностью, что никогда больше не стану придумывать (а если придумаю, не запишу) ни одной стихотворной строки. Словно струп отпал от зажившей раны, и под ним новая чистая кожа. Так же я бросил курить (а курил много и жадно): проснулся утром, потянулся за первой, любимой, еще не вылезая из-под одеяла, натошак, сигаретой, почувствовал — нет охоты, и ни разу больше не поманило.

Но в тот день! Господи! Двенадцать лет, и дерзость мысли, и первая проба! И томик Маяковского, распухший от закладок, испещренный пометами на полях. Нет сил пережёвывать увязающими зубами холодную тягомотину

Через несколько дней Трамбовка, не раздавая тетрадей, зачитала отметки за сочинения. Мне она поставила «хорошо», что, не скрою, меня уязвило: я твердо рассчитывал, что на этот раз вырву у нее «отлично».

Накануне праздника в классе проходил торжественный пионерский сбор. На сбор неожиданно пожаловала директор школы Вера Леонидовна, которую все — ученики и даже, кажется, учителя — называли «Комиссар». Вера Леонидовна участвовала в Гражданской войне, имела орден Красного Знамени. Ее представляли: «учительница-орденоносец» — не щедро раздаваемые ордена были тогда еще приметой. Маленькая, легкая на ногу, с пучком редких волос, она носила пиджак мужского покроя и рубашку с галстуком. Голос у нее был прокуренный, от нее несло табаком; другое прозвище ее было — «Табакерка». Люся Коптякова говорила, что Комиссар нашу классную руководительницу терпеть не может, и, попадись ей Трамбовка во время Гражданской войны, она, не раздумывая, отправила бы ее в расход. Вера Леонидовна скомандовала своим хриплым голосом: «Садись!» (мы встали при ее появлении), легким шагом прошла по классу и устроилась за последней партой.

Сбор был как сбор. Отчетный доклад. Выполнение соцобязательств. Поэтический монтаж из стихотворений о Великом Октябре. Под конец Капитолина Павловна объявила с умильной улыбкой: «А теперь Наташа Стражевская прочитает собственное стихотворение». Я, признаюсь, напрягся — вместе с первыми рожденными строчками в моей душе затлела профессиональная ревность. Наташа вышла к доске, перекинула косу через плечо... Это оказался всё тот же «Георгин». Все похлопали. И тут — я очень боялся Капитолины Павловны, но я всё-таки поднял руку, встал и спросил: «А можно я тоже — свое собственное?» И чтобы не отказали, прибавил: «К празднику». Все с интересом на меня уставились. «Ну,

прочитай», — без охоты согласилась Капитолина Павловна и недовольно опустила лицо. Всё с той же испуганной торопливостью я прокричал, не сходя с места: «Привет тебе, Октябрь Двадцатый!..»

«Молодец! — крикнула Комиссар, едва я кончил читать. И, продолжая хлопать, быстрым шагом вышла к учительскому столу: — Что же вы, Капитолина Павловна, от нас таланты прячете?»

В тот день я читал еще дважды: на комсомольском собрании старшеклассников и на районном партактиве, куда меня захватила с собой Вера Леонидовна. Я пришел домой упоенный успехом. Женька рассказывал тете Таше, как здорово я читал — громко, с выражением. «Галя Гарьковая уже записала тебя в нашу бригаду Маяковского». Это была огромная честь — в бригаду брали только комсомольцев.

А ночью повесился Тархтелов.

Я пробирался в праздничной толпе. Парад на Красной площади заканчивался. В громадных четырехугольных рупорах громкоговорителей стихали военные марши. Демонстранты поспешно выстраивались в колонны, отгоняя зрителей на тесно забитый людьми тротуар. Шесты с портретами вождей, флаги и транспаранты закачались над головами демонстрантов. Нарком в ежовых рукавицах покати́лся на велосипедных колесах в сторону Страстной площади, недавно переименованной в Пушкинскую. Его толкал за рукоятки пожилой дядька с тяжелым футляром баяна на ремне за спиной и привязанным к верхней пуговице пальто красным шариком. Ладный хор из четырехугольного раструба громкоговорителя вопрошал с радостным изумлением: «Как же так — резеда? И — героем труда? Почему, — объясните вы мне?» И высокий звучный голос певца отвечал убежденно: «Потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране».

У меня лежал в кармане рубль, выданный тетей Ташей. На эти деньги я хотел полакомиться только что изобретенным тогда эскимо — облитой шоколадом колбаской мороженого на шероховатой деревянной палочке, и стаканом новейшего вишневого сидра «Шпанка». Я предполагал, что в итоге у меня останется копеек двадцать. Я решил после каникул купить у Белорусского вокзала большой красный георгин и подарить Наташе Стражевской. Хотя Люська Коптякова, конечно, узнает об этом и растреплет всему классу.

Женька появился к вечеру: весь день гонял по городу со своей бригадой Маяковского. Он рассказал, что Галю Гарьковую забрали в детдом. «Ее ведь бабушке оставили?» — слегка побледнев, спросила тетя Таша. «Сперва оставили, а теперь забрали». Галя была дочь известного партработника. Родителей арестовали еще летом, после расстрела Тухачевского. «А что детский дом! — наступал Женька. — Вон Витька Абезгауз написал одному парню, что хорошо живет, — у них там авиамоделный кружок, футбольная команда». Женька хорохорился, но я видел, что он боится. Тетя Таша молча пила чай с мирабелевым вареньем. Золотистые шарики плавали в прозрачном сиропе. «Отправлю-ка я вас в Маргелан», — сказала тетя Таша, выскребая ложечкой последние капли из розетки.

Пока тетя Таша мыла в кухне посуду, Женька достал с полки том старинного справочника — черный корешок с золотыми буквами. «Маргелан — город туркестанского генерал-губернаторства в южной части Ферганской долины, среди степной пустынной местности, в виду снежных вершин Алтайского хребта, на высоте около двух тысяч футов над уровнем моря». Новая неведомая жизнь, возможно, прекрасная, открывалась перед нами. «Фут — это сколько?» — спросил я. «Тридцать с половиной сантиметров», — ответила тетя Таша, входя в комнату с вымытой чашкой. «Здорово!»

Наталья и Мария Дмитриевны Р-ские, по-домашнему — тетя Таша и тетя Маня, были связаны с моими родителями какими-то особыми, сокровенно близкими отношениями. Кажется, во время Первой мировой войны тетя Таша работала вместе с мамой в санитарном поезде. Потом что-то там произошло в «смутное время», как определяла мама эпоху революции и гражданской войны — ни те, ни другие никогда не считали нужным рассказывать о былом. Когда маме исполнится уже девяносто, я попытаюсь вызвать ее на откровенность. Но мама, глядя мимо меня незрячими (а когда-то ослепительно зелеными) глазами, вымолвит только: «Бывает везение, когда спасешь людям жизнь». Каким образом мои родители, скромные служащие, в исторических событиях никакой роли не игравшие, спасли жизнь тете Таше и тете Мане, так и осталось для меня тайной. Мама вообще не отличалась речистостью. Так на вопрос о состоянии здоровья она неизменно отвечала: «Согласно паспортным данным». Когда весной 1937-го мама и папа совершенно неожиданно для меня, впрочем, кажется, и для самих себя, отправились по контракту что-то строить на Дальнем Севере, они оставили нас с Женькой у тети Таши, хотя в Н. у мамы проживал старший брат Захар, видный инженер, который, наезжая к нам, непременно упоминал в разговорах, что под его руководством строились здания Н-ского горкома партии и горисполкома.

В конце шестидневки за нами приехала из Маргелана тетя Маня с мужем, дядей Максудом, узбеком. В отличие от сестры, тетя Маня была полная и шумная. Волосы у нее были ярко выкрашены хной, зубы золотые. На ней было платье из тонкой радужной ткани, переливавшейся красками, как разлитый на поверхности воды керосин. Ткань называлась «ханатлас». Тетя Маня служила бухгалтером на фабрике, где изготовляли такую ткань. «Всю Среднюю

Азию обслуживаем», — шумно гордилась тетя Маня. Дядя Максуд был резчик по дереву. Он сказал, что работает сейчас на строительстве новой чайханы. «Берем старый узбекский орнамент и прибавляем новые фигуры — звезда, серп и молот. Приедем — увидите». Тетя Маня и дядя Максуд привезли в мешочках рис, маш, урюк с косточками и без косточек и большую продолговатую дыню в камышовой оплетке. Дядя Максуд извлек из-за пояса узкий острый ножичек в чехле и начал нарезать дыню. Желтоватые ломти были похожи на серп месяца. «У нас луна на спине лежит. Вот так, — сказал он, протягивая мне длинный душистый ломоть. — Приедем — увидишь». На небольшой фотографии он показывал нашу будущую семью. Посредине сидели тетя Маня и дядя Максуд, а вокруг стояли дети, постарше и помладше. «Азим, Усман, Рашид, — называл он, водя по фотографии крепким коричневым пальцем. — Зухра, Зейнаб...»

Справа на фотографии стояла тоненькая девочка лет двенадцати в платье из такого же «ханатласа», как на тете Мане. У девочки были две длинные черные косы и большие печальные глаза. «Влюблюсь непременно», — подумал я. Дядя Максуд заметил мое внимание, еще раз постучал пальцем по глянцевому листку фотографии, повторил: «Зейнаб»...

Мог ли я предположить в ту минуту, что Зейнаб на долгие годы станет моей единственной, неотступной любовью? Судьба уже разлучит меня с Маргеланом, а я всё буду преследовать ее встречами, признаниями, письмами, убеждениями — напрасно. Она останется верна Женьке, которому уготовано пять лет спустя погибнуть под Ельней. Семейство с трудом уговорит ее наконец выйти замуж за толстого Юсуфа, сына нашего маргеланского соседа. Юсуф учился у дяди Максуда резному делу, но стал работать не по дереву, а по алебастру.

В конце 50-х газетная работа забросит меня в Узбекистан — начнется строительство газопровода Бухара — Урал. В аэропорту вдруг подвернется местный самолет на Маргелан. В ранний час дня дома окажется только Зейнаб с детьми — то ли их четверо будет, то ли пятеро. Лицо Зейнаб расплывется, заполыхают волосы, ярко крашенные хной, во рту спереди засверкают золотые зубы. Она достанет из духовки только что выпеченную лепешку, нальет мне чаю и несколько раз повторит, что очень счастлива. «Дети такое чудо!» — нежным движением руки обведет комнату: дети ползали по полу, один кричал в кроватке. На прощание она отдаст мне надписанную ей фотографию Женьки в солдатской шинели, снятую перед отправкой на фронт: «Пусть у тебя будет, а то Юсуф сердится». С того дня я дал себе слово не верить реальностью того, что хранит память...

Но пока мы с Женькой уплетаем дыню, напоившую своим ароматом комнату, с интересом рассматриваем фотографию. Тетя Таша и тетя Маня деловито обсуждают приготовления к отъезду. Дядя Максуд принес из кухни чайник и радуется чаем. Пьет он его по-особенному, сразу из двух чашек: сперва наливает немного в одну, переливает в другую, потом снова в первую и только тогда уже подносит ко рту, держа не за ручку, а кончиками пальцев под донышко, как пиалу.

Александр АЙЗЕНБЕРГ

(Одесса)

CREDO

Con Spiritoso¹

I

Anno domini² 1080. Кастилия. Вивар, замок Сиды Кампеадора, Родриго Диаса из рода Лайнесов, близ Бургоса.

Созвал он родню и вассалов и объявил, что король повелел ему покинуть Кастилию, что на это дано всего 9 дней...

II

Anno domini 1080. Кастилия. Бургос, столица Кастилии. Дом евреев Иегуды и Рехавеама из рода нагидов Гранады. Песах.

На дубовом столе стояли два серебряных кубка, наполненные красным вином. Встал Иегуда:

— Мы выпьем — каждый — по четыре таких кубка... Последний — за закон. Ибо закон вершит все дела и начинает их в час, указанный им. Сказано это и для злого, и для доброго. Лехайм!

На пасху пили они вдвоем вино. Молча, один за другим, выпили по четыре кубка каждый. Сказал тогда Рехавеам Иегуде:

¹ С жаром.

² Anno domini — Год Господень.

— Пришел час выбирать. Вспомнил король Альфонсо, вспомнил король Кастилии Родриго Диасу, живущему в Виваре, из рода Лайнесов, прозванному арабами Сидом, что значит: Господин, а христианами — Кампеадор, что значит: Воитель, как тот под знаменем короля Санчо обратил его в бегство и разбил рыцарей Леона, как потребовал клятвы от него после смерти брата, что не причастен он к убийству короля Санчо. Вменил же в вину Рую Диасу король Альфонсо его набег на толедских мавров. Злопамятен король. Изгнав Диаса де Вивар из Кастилии, многого он лишается. — Иегуда задумался.

Рехавеам же продолжил:

— Дружинники остались с ним, но все забрали слуги короля у дон Родриго: и замок, и серебро, и золото, и одежду. Король дон Альфонсо запретил Сиду давать кров и пищу. А буде, кто даст вопреки его воле, то лишится такой своего имени; палач заберет оба глаза у преступника; душу и жизнь отдаст виновный на плахе. Христиане, как от чумы, бегут от Сида. Он же стал станом на камнях за Арлансоном недалеко от Бургоса.

— По твоим словам — он не сможет добраться до границы. Нет денег у него, еще хуже ему из-за этого. За тройную цену — прошел бы и страх, и самые верные подданные короля забыли бы о послушании. Но не сможет накормить дружину Родриго, и уйдет она от него. Когда Кампеадор останется один; без пищи и крова — тогда упьется мстью дон Альфонсо, и придет конец Сиду.

— Ты прав, Иегуда. Смерть ждет его, как короля Санчо под Заморой. Но просит он нас о помощи. Здесь его копейщик Мартин Антолинес. Не может Диас и не должен появиться в нашем доме. Ждет нас у себя в лагере Сид.

Пролилось вино на дубовый стол. И было оно, как кровь. Колебался огонь светильников. Холодная ночь была в Бургосе. Еще холоднее было на камнях за Арлансоном.

— Под страхом смерти запрещена помощь инфасону из Вивара, Рехавеам.

— Такова воля короля кастильцев.

— Если дать деньги дону Родриго, более выгодного размещения средств я не знаю. Это очень выгодно. Очень.

— Иегуда, мавры уже признали его господином.

— Да сможет ли изгнанник... Рехавеам, если дать ему займы и направить на арабов... Сможет ли он...

— Если мы дадим ему деньги...

Из ларца достал Иегуда веревку с обугленными концами и положил ее на дубовый стол.

— С кем мы? С кем быть нам, о, Адонай?! Мавры или христиане — враги наши?

III

Anno domini 1066. Гранада. Дворец визиря эмира и нагида евреев Иосифа бен Самуила.

Мерно били барабаны. Их рокот вбивал в горячую землю, вбивал и вдавливал. Били, не прекращая, барабаны. Они гремели уже несколько ночей. Горели костры вокруг дворца Иосифа бен Самуила, и кричали дервиши, несколько ночей кричали дервиши, и только одно повторяли они уже несколько ночей:

— Ля Илляху иль Улагу

Мухаммад расул Улла!..

И в шестую ночь завертелись они вокруг костров, и кружились они в танце до третьей стражи, и пришедший из Самарканда муслим вскрикнул:

— Ур!
А толпа африканцев взревела:
— Бей!!!
— И вспыхнули стены дома сына Самуила Нагида.
— Ур!!!..
Иосифа нашли в одном из задних покоев дворца...
— Ур!!!..

Хрустнули кости его и сломались. И жизнь ушла из него. Труп же его повесили у ворот. А запах банга был нестерпимо сладок...

Ур!!!..

А толпа шла к домам евреев черной ночью уже без них...

IV

Anno domini 1080. Кастилия. Бургос. Дом Иегуды и Рехавеама из рода нагидов Гранады.

— Четырнадцать лет мы ждали. Пришел час выбирать, Иегуда.

Зажгли они менору и молились... говорили они Б-гу, избравшему и испытывавшему...

И метались языки пламени...

И огонь смотрел на них...

И огонь смотрел на них...

И семь раз смотрел на них...

— Борах хато. Адонаи, ало эйну мелех алойну.

Борах хато...

V

Anno domini 1080. Кастилия. Лагерь Родриго Диаса из рода Лайнесов.

Холодно ночью за Арлансоном. Мертвый круг рассекает черные тени, и гонит ветер их дальше. Только псы воют ночью.

В шатре на камнях встретились евреи с Сидом. Остался с ними Мартин Антолинес. Сидели они впятером, а псы выли под холодным светом неба в полнолуние.

Засмеялся дон Родриго:

— Забыли вы меня, почтенные Рехавеам и Иегуда! В гости пришли только сейчас. Но нечем мне вас угостить — пьет мое вино Альфонсо... Видели ли вас, когда ехали?

Сказал Мартин Антолинес:

— Не видели нас ни мавры, ни христиане. Не по Арлансонскому мосту мы ехали, а вброд.

Молчали евреи. Промолвил тогда Кампеадор:

— Что же, знаете вы, что изгнан я королем на чужбину. И враги мне теперь и христиане, по слову дон Альфонсо, и мавры, избитые мною под Толедо. Вашей помощи прошу я теперь.

Сказал тогда Иегуда:

— Были сделки у нас раньше с досточтимым Сидом Руй Диасом, которые принесли барыш. Но эта опасна.

Глухо ответил виварец:

— Все может забрать у вас король за милость, если проявите ее ко мне: и именье, и глаза, и саму жизнь...

Но опять молчали евреи. Обратился к ним дон Мартин:

— Знаете ли, почтенные Рехавеам и Иегуда, что эмир Севильи Мутамид обратился к Юсуфу ибн Тешуфину, и что орды альморавидов из Африки могут обрушиться на Кастилию. Берберы придут сюда.

— Зажегший пламя, да сгорит в нем...

Семь огней билось в глазах Рехавеама. Тек песок, отмеряя минуту за минутой...

— Помните ли, дон Родриго, погром в Гранаде?
— Четырнадцать лет минуло, как мавры убили там Иосифа бен Самуила и много других евреев.
Мерцала сталь меча Кампеадора.
— А через два года под Льонтадой бежал от вас, тогда еще не король Кастилии, дон Альфонсо... И убит был вскоре победитель — его брат — король Санчо в Заморе ударом в спину...
— Клятву тогда я принял у дона Альфонсо, что не искал он смерти брата...

VI

Anno domini 1068. Кастилия. Санта-Гадеа-де-Бургос. Королевский дворец. Коронация дона Альфонсо.

— Ваше величество, дон Родриго Диас де Вивар.

Вошел Сид Руй Диас, и протянул ему руку для поцелуя — станет вассалом рыцарь — дон Альфонсо. В кольчуге инфасон из Вивара и с мечом. И не видит он руки брата убитого короля Санчо — смотрит в лицо дону Альфонсо и говорит:

— Сеньор, вас окружает много людей, и никто из них не говорит вам это в лицо, но все подозревают, что по вашему наущению был убит король дон Санчо... И поэтому говорю я вам, что до тех пор, пока не очиститесь вы клятвой согласно праву и обычаю, не стану целовать я вам руку и не признаю вас своим повелителем.

Положил руку на Библию дон Альфонсо и поклялся, что ни деяниями, ни помыслами не повинен в смерти своего брата. Тогда опустился на колени и поцеловал ему руку вассал его из Вивара...

VII

Anno domini 1080. Кастилия. Лагерь Родриго Диаса из рода Лайнесов.

Сидели евреи Рехавеам и Иегуда, Сид Руй Диас де Вивар, его копейщик Мартин Антолинес и молчали. Все бледнее — мертвее мертвого — становилась луна.

Сказал тогда Иегуда:

— Верю я слову дона Родриго. И дадим мы те деньги, о которых просите. Дадим и много больше. Сделает ли Сид то, что мы просим?

Спросил Сид, что хотят от него евреи.

Встали Рехавеам и Иегуда. Достал тогда из своих одежд Рехавеам веревку с обугленными концами и показал христианам:

— Вот это из Гранады; на ней был замучен Иосиф бен Самуил, нагид евреев.

Коснулся веревки Сид и преклонил колено, и обнажил меч:

— In nomine patris, et filii, et spiritus sancti смерти хочу я берберам и освобождения Испании от африканцев. Amen...

Повторили евреи тихо:

— ... и освобождения Испании от ислама...

Поклялся Руй Диас на своем мече и сказал, что вернет все и вернет с лихвою. Нужно же ему сейчас 300 марок золотом и столько же серебром. Заклада нет у него, потому что все забрал король дон Альфонсо.

Повторил Иегуда, что верит слову Сида и не нужно больше ничего. Но улыбнулся в первый раз за 14 лет Рехавеам:

— Нет, Иегуда. Сделаем договор с залогом — лари с драгоценностями — мы наполним эти лари песком и поставим печать дона Родриго, — в договоре же укажем, что

год не можем заглянуть мы под крышку, если посмотрим, — тогда всего лишимся. Молву же разнесем про песок. Будут думать христиане и мавры, будет думать король Кастилии, что сами себя обхитрили евреи, что обманул их доблестный Сид: дал песок, а получил серебро и золото. И будут смеяться над дураками. Над глупыми евреями посмеются, но забудут христиане и король Альфонсо, что за помощь Диасу из Вивара обещали ослепить и обезглавить.

Сказал тогда Сид Руй Диас, что не песок он в лари положит, как молва разнесет, а землю Родины, а землю Кастилии — за нее он получит серебро и золото, и нет более священного заклада.

— Нет более верного заклада, — ответил Иегуда, и обнялись они.

Подписан был договор. По нему давал в заклад дон Родриго два ларя с драгоценностями. Открыть их нельзя было год. И наполнил их Сид землей Кастилии, и запечатал своей печатью. Дали же Диасу де Вивару евреи триста марок серебром и столько же золотом. Дон Мартин, как посредник и поручитель, получил 30 марок. Бude же возникнет еще нужда в деньгах у Кампеадора, то по его слову на веру ему предоставят серебро евреи в подобающем количестве. Но и о лихве договорились они.

Засмеялся Сид:

— Три дна у нашего договора. Одно — для короля, одно — для молвы, одно — для Кастилии.

Улыбнулся и Иегуда:

— И еще об одном забыл ты, досточтимый Сид. А барыш?..

VIII

Anno domini 1080. Граница Кастилии.

Пустился Сид с дружиной в дорогу. На церковь святой Марии он смотрит. Лоб себе крестит правой рукою:

— Славься здесь, на земле и на небе, Боже! Приснодева Мария, будь мне опорой! Из Кастилии изгнан я дон Альфонсо. Будь мне, преславная, в изгнание оплотом, спасеньем в несчастьях и днем, и ночью!

IX

Anno domini 1094. Валенсия. Алькасар.

— Взята Валенсия, мой Сид! Взята!.. Пала Валенсия — и в ней христиане!!! О чем воеет этот араб, валяясь в грязи?..

— Не убивай его, дон Мартин. Пусть уходит добром из Валенсии.

Прислушался к стонам мавра еврей Рехавеам:

— Ибн Джафайя зовут его. Плачет он о Валенсии:

О, несчастный город,
благородный чертог былой славы —
на площадях твоих теперь
слышен лишь звон мечей,
огонь и бедственные напасти
пожрали и уничтожили
твои несравненные красоты,
а обитатели твои стали
безвольной игрушкой
в руках горестной судьбы...

Сказал тогда дон Мартин:

— Плач его ко времени.

Вложил меч в ножны Сид Кампеадор, позвал за собой Рехавеама, показал ему сундуки с серебром:

— Вытек песок из часов. Вот час платы. Взял у тебя я на веру — *in credit* — и у Иегуды триста тысяч марок серебром. Возвращаю триста тысяч марок серебром. И еще даю тысячу марок.

Принесли по слову Рехавеама лари; ответил он Диасу из Вивара:

— Дали мы тебе на веру — in credit — триста тысяч марок серебром. Возвращаешь ты триста тысяч марок серебром и даешь еще тысячу марок. Дал ты в заклад землю Кастилии — возвращаем тебе землю Кастилии... — и открыл крышки ларей...

Упал на колени дон Родриго и поцеловал возвращенную землю...

X

Anno domini 1094. Валенсия. Алькасар.

Пили красное вино досточтимый Сид и еврей Рехавеам. Пили в отбитой у арабов Валенсии. Сказал Рехавеам:

— Жаден король дон Альфонсо. Если не хочешь беды, отдай ему, дон Родриго, часть твоего. Пусть наполнится глотка его.

Осушил кубок Сид и согласился. Помолчали оба. Удивился виварец:

— Почему так сильна ненависть дон Альфонсо? Даже за помощь мне ослепить он хотел, к убийцам приравняв людей милосердных.

— Завистлив и жаден он... Пришел час нам выбрать, дон Родриго. Верю я Сиду, но не верю ни мусульманам, ни христианам, как не верю никаким фанатикам. Беспредельна алчность государства — ненасытно оно, и нет такого разбойника, кроме него, который бы рано или поздно не утолил свой голод. Выбрали мы, дон Родриго, но что ждет нас?..

XI

Anno domini 1099. Кастилия. Валенсия.

Умер Сид. Amen...

МОЙ СИД!!!

Камни Убьерне
— Их видел судья,
Лайно Калво.

Мой Сид!!!

Рядом с черным Бургосом —
Вивар,
Рядом с крепостью —
Вивар,
И три месяца ада.

Мой Сид!!!

— Бич Кастилии, —
Сказал ибн Басам,
— Бич Мавров —
Родриго Вивар...
Эллахим, эль Сид! —

Мой Сид!!!

Убит король Санчо,
Убит под стенами Заморы,
Убит сын Фернандо,
Убит король Кастилии Санчо...

О, мой Сид!!!

Дал клятву брат Санчо,
Поклялся убийца Заморы,
Поклялся на Библии,
Диясу из Вивара,
Что не он убил короля Санчо.

Мой Сид!!!

У Саграхос закричали камни,
Закричали, закричали и смолкли камни.
Под саблями альморавидов
Перестали кричать
И смолкли камни.
Мой Сид!!!

В Каире, Багдаде,
В Каире и в Самарканде:
— Ля Илляху иль Улагу!..
О, эмир правоверных! —
И в Саграхос...
— Юсуф ибн Тешуфин!

Мой Сид!!!

Плачь теперь о Валенсии,
Плачь, ибн Джафайя!..
О, Юсуф, плачь, бербер, плачь!
На равнине Куарте плачь!
Альморавид, плачь!

О, мой Сид!!!

XII

Anno domini 1391. Валенсия.

«...Писал в Севилье помощник архиепископа Фернандо Мартинес: “...разрушайте же до основания синагоги, в которых враги Бога и церкви, именующие себя иудеями, совершают свое идолослужение”.

6 июня сего года сбежались католики к юдерии, кварталу, где живут евреи, подожгли, и по слову пастыря своего убивали...

Здесь же, в Валенсии, также ворвались католики в юдерию. Кричали они при этом: "Вот идет сюда Мартинес; он всех вас перекрестит!"

И было много убитых и здесь...»

Борах хато,
Адонаи, ало эйну
мелех алойну...
О, Адонаи!..

SALTO

Saltando¹

В зеркале отражалась крысиная мордочка. Впрочем, флорентийские зеркала для любых, даже неожиданных отражений.

А вообще, у этой крыски было даже некое грызунье обаяние. Легкое.

Только что от него, от Никколо Макиавелли ушел посетитель. Редкая тварь, и дело не во внешности. Сам не херувим. Никколо еще раз глянул на... на себя глянул. И, в целом, не так уж и плохо. То есть, просто, красавец. В принципе. Может быть. Дело не в этом. А в чем?.. а в том, что денег мало, а угрозы... Расчет однозначно делался на то, что нормальные люди боятся написать, как там было во Флоренции.

История Флоренции. Действительно, опасно. Да, но с деньгами плохо. Очень. Вернее, с ними — ничего. Вот без них... Так и было заявлено, что слишком многих это за-

¹ Подскакивая.

тронет. Излагая события как бы своего времени, невозможно не задеть весьма многих. Дома Медичи, Риччи, Спины... М-да... Платят, но мало. Угрожают, но много.

«Итак, в городе было множество недовольных, а за пределами его множество изгнанных граждан. Среди изгнанников, обосновавшихся в Болонье, находились Пиккьо Кавиччули, Томмазо Риччи, Антонио Медичи, Бенедетто Спины, Антонио Джиролами, Кристофани ди Карлоне и еще несколько человек...»

Молодые, храбрые, на все готовые. Была связь с городом. «Пиджьело и Бароччо Кавиччули, получившие предупреждение об изгнании, но оставшиеся во Флоренции, тайно сообщили им, что, если бы им удалось проникнуть в город, они нашли бы приют в доме Кавиччули, откуда потом вышли бы в благоприятный момент, умертвили гонфалоньера справедливости мессера Мазо дельи Альбицци и подняли народ, что сделать нетрудно, так как народ недоволен и легко пойдет на мятеж, увидев, что ворвавшихся изгнанников поддерживают все Риччи, Адимари, Медичи, Манельи и еще многие другие семейства».

Никколо налил в простой бокал честно, в общем-то, заработанное белое вино. Выпил. Почему-то опять было противно; впрочем, как всегда, когда убеждение, что заплатили значительно меньше, было до омерзения сильным. Взять хотя бы простую вещь: каким путем, нет, образом, нажила семья... кх-х-кх... свое Богатство. Конечно! Да... Я же не пишу об этом! И о семье кха-кха-кха!.. кха... кхх... Тем более...

А так вот, скромненько: «Знатная и пользующаяся большим уважением... в том числе, за свое богатство. При

этом... Используются общественные средства на культурные и иные...». Совершенно бескомпромиссно написано. А главное, искренне. И, что уж, чистая правда.

Никколо опять налил и выпил. Тихо, сам с собою... А что? Нет, а что?..

С этим эпизодом... Писать дальше... Прямо сейчас... Или позже...

Глупые фигурки с мечами в руках отважно шли по улицам Флоренции.

Мурашки беззаботно ползут куда-то. Может, мы ошибаемся. Просто, пугает их целеустремленность.

Первая фигурка подпрыгнула и лопнула. Хлопок — еще одна лопнула.

Человечки взобрались на холмик и что-то кричали. Ну, махали руками, подскакивали, куда-то звали... Рядом из домика кто-то высунулся; посмотрел, послушал и снова спрятался.

Человечки еще долго размахивали руками.

Где-то там, в другом пространстве, что-то происходило, а здесь...

Флорентийский гражданин Никколо Макиавелли никак не мог спиться вином. Он выпил довольно много. А эйфории не было. Не было.

Он помнил эти сны: он и государи; государи и он... Пурпур... горностаи... золото... золото. И он, весь в сером,

тихий, тихий!.. Говорит, шепотом... Его почти не слышно... Могущественный князь привстает, стараясь услышать, что говорит, что советует... этот, вот этот, такой скромный...

Смешно... Не так уж много в его глазах стоила роскошь. Излишеств он просто не мог себе позволить. По здоровью. Но Флоренция. Какой трудный город! Мадонна!

Безусловно, ряд изгнанников совершенно серьезно считали, что вот они придут, скажут «Ура!» — и за ними побежит народ с какими-то радостными аналогичными воплями. Ну, почему бы не побежать?

Были и другие люди.

Они были немолоды, возможно, с храбростью у них проблем не было — по причине отсутствия. А пойти они были готовы на все.

— Мессер... Гх-м... Я все время забываю, что мы не называем друг друга по имени, сидим в темноте в масках... А также куча всякого другого. Хотя... безопасность — прежде всего. Итак, мессер Волк...

Человек в маске Льва откашлялся и спросил лицо в маске Волка:

— Смогли ли вы, мессер, в установленные сроки передать, как было оговорено, деньги, оружие и вино?

Маска Волка ответила:

— Все уже во Флоренции. Группы застрельщиков сформированы. Мессер Лев, осталось отправить изгнанных «патриотов». Надеюсь, они по-прежнему верят, что они появятся — и Флоренция встрепенется.

Маска Лисы, издав тихий смешок, резким тонким голоском прошептала:

— Служба нашего врага готовит... и успешно осуществляет операцию по предотвращению восстания. Мессер Волк, оружие, которое вы доставили, уже изъято; деньги поделены. Кстати, рекомендую вернуть уже полученные вами 15 процентов.

Гонфалоньер справедливости Мазо Альбицци уже минут тридцать, не переставая, барабанил по столу. Он знал, он знал, он знал... И что теперь? И что делать?.. На самом деле все делалось. И не так мало. Но... Хорошо, оружие перехвачено; деньги... Во всех группах, практически, осведомители. Все известно заранее. Любопытно, что «звери» — «масочки» знают о том, что мы знаем. Они, собственно, знают все о нас, а мы все о них. Нам хорошо... «Патриоты» сами по себе... Естественно. У них порыв. Ну, это все ерунда. А вот сделка... Реальная сделка со «зверями»... Синьория должна принять решение и не ошибиться. Как можно меньше ошибиться. Желательно.

Итак... Чтобы «патриоты» даже и не начинали... Возможно? Легко. Нужно?.. Вспышка все равно будет. Если это будет позже (выигрывается время), то может оказаться за пределами контроля, а сейчас все управляемо... Значит... Пусть «патриоты» выступают. Но ничего не должно произойти, потому что бунт...

Получается, «маски» должны выпустить «патриотов» на убой. Мы уберем накипь. Все будет спокойно. Предмет договора с «масками» согласован. А «звери» останутся без авангарда и еще кое-кого. Об этом они узнают, но позже...

Правда, мы должны будем отдать... Впрочем, это уже решено. И им услуга... Сверх оговоренного...

Теперь... «Патриоты» идут на закланье — да. Их дело. Пусть идут. Однако могут в последний момент что-то за-

подозритель и сорваться с крючка. Видимо, нужна приманка. И надежность должна быть высокой. Одна. Такая есть одна... Я.

Макиавелли облизнул пересохшие губы и начал выводить: «В надежде на успех изгнанники проникли во Флоренцию 4 августа 1397 года в месте, заранее им указанном. Желая, чтобы смерть мессера Мазо послужила сигналом к мятежу, они установили за ним слежку».

Мазо надел под колет кольчугу, еще раз повторил про себя, где спрятаны арбалетчики: уточнил, куда ему уходить...

— Мессер, риска просто нет. Еще раз говорю, вы покажетесь и исчезнете. Кстати, можете и не выходить — «патриотам» все равно сообщат, что вы идете. Это, конечно, все же затруднит.

— А как надежнее?

— Вообще... Как в плане: вы выходите...

«...Мазо, выйдя из своего дома, зашел к одному аптекарю у Сан Пьеро Маджоре. Человек, следивший за ним, побежал сообщить об этом заговорщикам, которые тотчас же вооружились и бросились в указанное место, но мессер Мазо оттуда уже ушел».

— Что такое история?.. Это история. Да, синьоры!

— Ну что... я им показал, что я могу... На предках... некоторых... Остывшие дела... Казалось бы... Отлично. А никто не платит? Я думал... А никто... никто не платит. Им все равно. А мне?..

«...Не смущаясь первой неудачей, они направились к старому рынку, где умертвили одного человека из числа своих врагов».

— Антонио! Антонио! А кто это был?!..

— А я знаю?..

— Антонио! А ты видел мой удар?!..

«...Тогда уже поднялся шум. С криками «Народ, оружие, свобода!», «Да умрут тираны!» они повернули к Новому рынку и в самом конце Калималы убили еще одного, затем они продолжили свой путь все с теми же криками...».

А никто не идет за ними...

— Мессер Мазо, все идет по плану.

— Да, я слышу: очень громко кричат. Зачем так орать?..

— У нас просьба. Желательно под этот шум... Лев... Назовем его так... Да? Очень желательно достичь стабильного устранения этой фигуры.

— Возможно, вы и правы, мессер Волк. Подождем, посмотрим дальше.

«...Но так как никто за оружие не брался...»

— Мессер Мазо, мы выполнили свои обещания. Я думаю, мы оправдали ваше доверие...

— Да, мессер Лев... Награда не заставит себя ждать. Посмотрим, тем не менее...

«...сошлись в лоджии Нигиттоза. Там они взошли на высокое место и, окруженные громадной толпой, сбе-

жавшейся больше поглазеть на них, чем оказать им поддержку, стали громогласно призывать народ взяться за оружие и сбросить с себя ярмо опостылевшего рабства...».

— Какое ярмо?

— Видишь, кричат — значит, есть где-то и ярмо...

— Мессер Мазо, ваш приказ выполнен. Дополнительные указания?..

— Ничего больше не нужно, Лиса. Ничего. Пока... Все свободны.

Накипь убирается... Наверное, нужно так делать. Время от времени. Итак, убирается накипь...

— Сосед, о чем они говорили. А то я опоздал...

— Ну, кум... в двух словах: что к открытому мятежу побудили их не столько личные обиды, сколько жалобы недовольных в стенах Флоренции, что многие в городе молились о мщении...

— Каком мщении? Кому? За что?

— Тебе не все равно, кум? Зато как красиво! Так слушайте, еще вот эти многочисленные возможные мстители мечтали только о вожакках...

— Ты... Закрой рот. Дай послушать, про свободу... Я нож захватил, а про деньги никто не говорит. Когда грабить будем?!

Кто-то из заговорщиков, уже сорвав голос, вопил:

— Почему же теперь, когда случай представился, когда вожаки нашлись...

Толпа слушала с вялым любопытством. Какое-то зрелище... Хоть... Больше слушали собственных комментаторов. В частности, кто-то мягким говорком, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Болтун — находка для тех, кому интересно...

Бабуля с пирожками, шепелявя, спросила:

— Фколько платить будут?

Следующий энтузиаст кричал:

— Вы что, дожидаетесь, чтобы призывающих вас к свободе умервили, и ярмо придавило вас еще тяжелее?

В углу хохотали после реплики: «Не так чтобы уж прямо дожидались...».

Очередной оратор буквально душился, неся светлое в массы:

— Почему люди, которые из-за пустяковой обиды хватаются за оружие, не двигаются с места, когда обидам и поношениям нет конца?..

— Деньги когда давать будут? — не выдержал в центре утомленный слушатель.

— Что за дела?! — поддержала группа звероподобных потенциальных защитников свободы.

Шепелявая бабуля пробурчала себе под нос:

— Так то ф нафи обиды...

Растерянный подстрекатель на горке уже тихо пролепетал:

— Можете ли вы терпеть, что столько сограждан ваших изгнано или ограничено в правах, когда только от вас зависит вернуть изгнанным родину, а предупрежденным — их права!..

Пьяница булькнул из горлышка и четко произнес:

— М-мможем.

Опоздавший кум, почему-то со злостью, заорал:

— Без проблем!!!

Дядя с ножиком вслух негромко буркнул:

— Черт с ними, лиценцами — денег, уже видно, что нет. — Плюнул и пошел.

Макиавелли перечитывал написанное: «...Речи эти, при всей их справедливости, не вызывали в толпе ни малейшего движения — то ли потому, что люди боялись, то ли потому, что содеянные мятежниками убийства вызывали к ним отвращение. Тогда подстрекатели, видя, что ни речи их, ни действия никого не заставляют сдвинуться с места, осознали, хотя и слишком поздно, как опасно пытаться вернуть свободу тем, кто упорно не желает сбрасывать с себя иго рабства. Отчаявшись в успехе своего замысла, они укрылись в храме Сан Репарата и заперлись там не столько для того, чтобы спасти свою жизнь, сколько для того, чтобы отсрочить гибель».

Да. Так, как бы, оно и было.

Золотая молодежь гуляла. Приехавший из Милана рыцарь Адриано дельи Роберти захватил с собой тысячу флоринов, не говоря о безделицах, как-то: лошадях, слугах и приличных его званию одеждах. В принципе, он собирался их — деньги — потратить, естественно, на себя. Ну, и тратил. Деньги между тем исчезали медленнее, чем ему

хотелось. О чем он и заметил окружавшим его, находясь на городском празднестве, куда женщины сбежались просто толпами:

— Флорентийские прелестницы, я не хочу никого обидеть, тем не менее, я уже здесь неделю и как-то вот... Нет, они обладают некоторой женской грацией и прелестью, а вот телесной красотой... Не очень. У меня ощущение, что большая часть денег останется при мне. И дело, как вы понимаете, не совсем в их целомудрии.

Никколо Микиавелли, случайно попавший в эту компанию, молчавший и только слушавший до этого внимательнейшим образом с прикрытыми глазами, встрепенулся... Оно, конечно, вроде и пустяк. Не заговор. И не интрига против князя. Но... Хоть убейся — не платят! Да. Итак...

Переждав, пока сторонники высокого качества флорентиек угомонятся, он подтвердил правильность замечания гостя, при этом прибавив:

— Все это так, к сожалению. Хочу, однако, заметить, что, если бы судьба позволила тебе увидеть одну молодую женщину, жену сапожника Мазетто Лампрези, то ты бы вынужден был признать ее красоту весьма и весьма... достойной. Правда, мне представляется это почти невозможным, так как муж держит ее взаперти. Ревнивец он до патологии. Его можно понять: многие, прослышав о такой красоте, хотели бы испытать ее на деле. Но что там говорить, ее увидеть даже нельзя. Если правда то, о чем говорит ее соседка — моя кума — это — нечто. Чтобы не оставлять жену одну дома, Мазетто всюду, куда только сам идет, берет ее с собой, переодетую мужчиной. Она всегда рядом с ним.

Слыша приятный звон в кармане, Никколо повел рыцаря к лавке сапожника. Войдя, флорентиец вежливо по-

здоровался и спросил хозяина, нет ли у него пары самых лучших сапог для мессера. Миланцу принесли сапоги. Он их стал мерить. Что-то купил. Никколо получил свой процент от сапожника с подтверждением шепотом договоренности: за каждую продажу... и так далее... — и ушел. Удалившись, он оставил хозяину Адриано. Сапожник, естественно, демонстрировал свой товар, а молодой Роберти вертел головой, как птенец в гнезде, и таки углядел невероятной красоты молодую женщину. Эн-сапожница потрясла воображение, даже если она и не — эн. Адриано подмигивал ей левым, правым, двумя глазами; махал пальцами, руками. Лучше всего он махнул бы... всем... Несколькo мешало то, что нижняя половина (ноги) должна была остаться неподвижной, и ревнивый муж не должен был почувствовать или услышать, или увидеть действия верхней. Реакции визуальнo не было, но молодой Роберти тем не менее совершил главное на этом этапе: сообщил супруге сапожника, что вот...

Наконец, обувание завершилось. Добрый рыцарь заплатил двойную цену и сказал сапожнику с радостной улыбкой идиота:

— Удивительная обувь у вас, хозяин. Значит так, э-ээ... шейте мне каждый день по паре... э-ээ... а платить я буду... э-ээ... как... ладно, как сейчас... э-ээ.

Что говорить, такого балбеса не каждый день приходится видеть. Во всяком случае, радостный Мазетто пообещал сладкому клиенту, что будет ему служить, как только сможет лучше. Чем неожиданно порадовал молодого Роберти.

Новые партнеры, оба счастливые, правда, по разным причинам, расстались.

Никколо слушал приятно удивленного миланца; карман слегка отвис; видимо, нужно было продолжать. Шан-

сов было немного, но... Они долго и много пили, опять пили... и советовались, советовались — все за счет Роберти. Консультант устал. Настолько, что хотел уже на все плюнуть, но... в общем, решили подождать...

Рыцарь каждый день покупал дурацкие сапоги по той самой странной цене, а сапожник, почувствовав угрызения совести и поняв все же ценность экспортных операций с Миланом, начал даже как бы ухаживать за столь ценным заказчиком — его заигрывание простерлось до того, что он несколько раз угощал дорогого гостя за перегородкой... легеньким завтраком. Таким образом, их дружба продолжалась.

- Никколо, я — устал.
 - Мессер, или — или...
 - Или!
 - Так в чем дело? Терпите. Еще, ну... Куда вы спешите?
-

Флоренция приобрела какой-то городок. (Время от времени город то приобретал, то терял что-то такое подобное.) И дивное событие ознаменовалось торжественными празднествами в честь этой военной победы.

Рыцарь же все караулил, надеясь, что хоть на праздник бдительный муж выйдет со своей женой. Появится, покажется.

И вот... Издали он заметил дядюшку Лампрези, идущего под руку с молодым студентом.

«Ага!» — подумал рыцарь. По пути странная парочка наткнулась на кума Мазетто. Громогласный кум, естественно, спросил, кто это? На что сапожник сообщил, что это его свояк из Пизы, приехавший, чтобы повидать сестру. «А-атлично!» — подумал опять же рыцарь.

Наконец, они все добрались до миланца; поздоровались. Молодой Роберти смотрел, не отрываясь, только на студента. Студентом была... Да.

Праздники! Праздники!.. Ура праздникам.

Вся компания: сапожник, студент, кум и Адриано из Милана — устремились к центру торжеств. Любой понимает, что толпа при таком веселье собирается достаточная. И вот, пользуясь теснотой и плотностью общения, рыцарь незаметно пожал ручку новичку студенту — раз, другой... Молодая женщина ответила тем же... В общем, оба они узнали друг друга и поняли, в чем дело. Да... Тем временем под прикрытием толпы миланец начал мять и ножки, и... так далее. Таким образом, Адриано начал надеяться на удачу.

Дождавшись конца праздника, рыцарь прижал Мазетто к стенке и, дыша на него перегаром, поставил вопрос ребром:

— Ты меня ув-важаешь?

Сапожник, — а что ему оставалось с таким клиентом? — что-то стал лепетать о безмерном уважении.

— Так в-вот, я-я хочу тебя угостить... и с т-твоим приятелем вместе... д-да, с как его... с кумом! Ты и — я, да?

Эн-Мазетто просто рыдал в душе; рвал и метал — так, в обычной жизни он ревновал не то, что к людям, а и к птичкам, а тут! Водить жену по гостиницам! Опаснейшая история!!! Но!.. Но... Он отнекивался, да, но не смел огорчить милого друга, а идиотский кум пришпоривал — а как же — на халяву! — ну, не смел он, не смел...

Если молодой Роберти не жалел денег на размножающиеся сапоги... От стола просто шибало роскошью. Гостей, конечно, добавилось. Был уже и мессер Никколо. Ну, и другие. Все свои.

Дальше шло по плану, заранее подготовленному маэстро и рыцарем.

Из-за чего-то там Адриано из Милана начал бушевать. Гости кротко успокаивали его, заверяя в своей преданности ему в качестве самых верных слуг. Ну, и сапожник подмяукивал: «Да, дескать, да!».

Мессер Никколо тихо спросил Эн-Мазетто:

— А в каком качестве? — тишина наступила просто трагическая.

Бедный флорентийский гражданин Лампрези. Короче, он таки сказал, да! Сказал!!!

— Нет ли у вас какого-нибудь желания? Я клянусь мадонной, что я — ваш п-покорный с-слуга.

Да, все планировалось, но у Адриано вылетело из головы, за чем они договаривались послать неподельчивого мужа. За чем же его послать? За чем же его послать?

Макиавелли, глядя на выпученные глаза миланца, понял, что сейчас будет сюрприз; и тот — таки выдохнул:

— Хочу!.. хочу... горчицы...

Мессер Никколо успел смахнуть всю горчицу со стола до того момента, как обалдевший муж начал шарить глазами в поисках искомого.

Радостный Роберти, углядев, что горчицы... нет! вопил:

— Вы для меня — родной брат; но мне хочется хоть немножко... чуть-чуть... горчицы! без которой я не могу есть это дивное мясо, а слуги ушли на праздник, а я не могу без горчицы!..

Лампрези умолк наглухо (зачем было вообще рот открывать, не то что предлагать какие-то дурацкие услуги?! Оставить без присмотра... Мама Миа!).

Железо нужно было ковать согласно плану, поэтому мессер из Милана намекнул своему подрядчику, что вот, мол, сходил бы ты, будь же так любезен, сходи-ка за... горчицей, а?!

Несчастный муж был весьма мало обрадован, весьма, но с таким клиентом — ах как невежливо, а... а... что придумать? Что придумать... Ну, может, а? Может, кум спасет?..

Итак, безутешный супруг загадочно прошипел, проходя мимо кума:

— Прис-с-матр сматривай за с-студентом!.. — взял мисочку и отправился за горчицей...

Дождавшись, когда агент по горчице ушел совсем, дельи Роберти обратился к студенту с новой жалобой — это уже было по плану — он все вспомнил:

— У меня еще одно желание — я забыл самое главное...

— И что же вы хотите? — с приветливой улыбкой спросил представитель медицины.

— А я хочу... Да! Я хочу апельсины. И забыл, забыл сказать об этом Мазетто.

Тут же умный кум подскочил с криком:

— Так я сейчас их принесу! Я быстренько! — и он тотчас же отправился за ними.

И вот остались, по сути, молодой Роберти и молодая женщина одни. Тогда Адриано, понимая, что времени просто мало, взял ее за руку и, сказав: «А тебе, мессер медик, я расскажу по секрету про свою болезнь», поволок в соседнюю комнату. Дверь захлопнулась. Гости рассосались. Мессер Никколо стоял на страже.

Миланец подвел студента к постели, нагнул...

Услышав ритмичные хлопки, дипломат-телохранитель не удержался и интеллигентно заглянул в щелочку... Тут с апельсинами возвратился кум. Увидев уважаемого человека, который куда-то подглядывал, решил и он, отодвинув мессера Макиавелли в сторону, посмотреть, что там.

Куму жутко не понравилось это зрелище, и весь возмущенный, он вышел на улицу. Судя по всему, ему показалось, что охраняемый им студент пал жертвой постыдного порока! А тут подоспел и эн-сапожник. Кум не охранял студента, а был один.

Нервный кум, который пришел, спросил кума-охранника: — Где свояк? Медик где?

Почему-то родственник начал риторически апеллировать к небу:

— Да! Да! Я потерял веру в...

Хотел что-то сказать еще, но увидел, как меч рыцаря начал выдвигаться из ножен... Шваркнул мисочку с горчицей на стол, схватил жену за руку и со словами: «Ну, ты!.. а я еще доставал вам горчицу!» — поволок за собой.

Кум топал рядом и укорял ороговевшего супруга за его поведение:

— Такой заказчик, а ты ради какого-то... Гхм... такой клиент, а ты... что за беда? Ты что, боишься, что он забеременеет? Такой человек, а ты...

Наконец сапожник не выдержал и, весь трясясь, завопил:

— Ты! Идиот! Не видишь, что это моя жена?!..

Тот обалдел и все, что смог, спросил:

— А зачем ты водишь ее с собой в таком виде?..

Рыдал сапожник, утешал его кум... Свообразно, конечно, но, может, он и прав, говоря, что, если жене захо-

чется провести мужа, то никакая человеческая сила этому не помешает, и нужно помнить, что ты не первый и не последний, кому приходится это терпеть. Ай-яй-яй!

Итак, Макиавелли брел домой; шел дождь; монеты, полученные от славного Адриано дельи Роберти — гадкая погода и, вообще, все противно. Красивая женщина, все-таки... Никого не интересует история Флоренции — не хотят платить. Не хотят. Удивительно! Но ничего... Тогда он ответит душу на...

Перед его домом стояли пятеро брави. Чуть в стороне от них ждал его незнакомец в дорогом, но неброском наряде.

— Мессер Никколо, не будете ли так любезны уделить мне, вашему скромному слуге, несколько драгоценных минут, принадлежащих вам?.. Приношу свою искреннюю благодарность. Итак, всей Флоренции известно, что вы пишете, смело и честно, ее историю. Нам, то есть мне, понятно и ваше стремление заработать на этом. Но вряд ли... если мое непросвещенное мнение о ваших высоких достоинствах справедливо, впрочем, вы же сами понимаете все, мессер.

Макиавелли, проследив за взглядом незнакомца, уперся в здоровенных убийц... М-да... Стало еще грустнее.

— Поймите верно, уважение, которым вы заслуженно пользуетесь, безмерно, но покупать никто ничего у вас не будет. Нет денег. Для этого. Скажем так, нет желания создавать прецедент, да?.. Но есть ведь и другая сторона медали. Я прошу, смиренно и со всем возможным уважением, принять решение незамедлительно, прямо сейчас. Кстати, вероятно, вам не просто было заработать деньги миланца?..

«Что тут думать», — пришел к бесспорно однозначному выводу историк и сказал:

— Согласитесь, построение было красивым и логичным, но когда фигуры просто смахиваются с доски, такая очевидная хрупкость обескураживает, как и соответствующий подход к разрешению проблемы. Впрочем, мессер, ваши доводы безукоризненны, и примите мои уверения и прочее в том, что желание любителей истории для меня — закон.

— Тысяча извинений и моя безмерная благодарность, мессер Никколо, наслаждайтесь спокойно плодами своей деятельности на другом поприще.

Макиавелли, наконец, сел дописывать тот самый эпизод. Начало было блестящим: «...При первых же слухах о мятеже встревоженная Синьория поспешила привести дворец в состояние готовности к обороне и забаррикадировалась в нем, но затем, выяснив, в чем дело, кто начал смуту и где укрылись подстрекатели, успокоилась и повелела капитану во главе сильного вооруженного отряда захватить их».

Да, пусть будет просто. Не получилось. Не поддержал народ... Хе-хе... А зачем риск? Незачем. Что я знаю?..

— Отлично. Итак, мы обо всем договорились.

— А эти, в храме?..

— Ну-у, мессер... Лес рубят...

— Нас предали!!!..

— Нас преда...

Равномерные удары тарана... Гулкие удары о двери... Двери храма должны быть открыты и доступны... Раскрылись они от неумолимых ударов.

— Все выполнено. Тех, кто хоть что-то знали, убили при штурме.

— А остальные?

— Взяты.

— А! Ну, и их.

— А?

— По закону, милый капитан, по закону.

Макиавелли допил все, что осталось в бутылке; не пьянелось... Он взял широкий миланский нож, подаренный дельи Роберти... острое, блестящее лезвие... Он махал им, представлял себя капитаном... вонзал нож... убивал... потом устал; отложил подарок в сторону... Сел писать: «Дверь храма взломали без особого труда, часть изгнанников погибла при самозащите, остальные были взяты».

— ...А крупная игра не получается — почему — я замаху... я замахнуться не успел, а... Почему, почему же так получается? Я же чувствую в себе великие силы — кто такие эти все... и эти... нужно сохранить хотя бы то, что есть, да. Талант стоит денег, но не стоит жизни — а при чем тут?.. работа стоит... а миланец заплатил... какой риск??? зачем? И так все хорошо... я знаю, они знают — нужно подождать... подождать... А я все равно знаю... Ну, и что?..

Итак, чем он заканчивает этот кусок?.. Ага... «Во время следствия по этому делу выяснилось, что никаких иных сообщников, кроме Бароччо и Пиджьелло Кавиччули, у них не было; эти и были преданы казни вместе с изгнанниками». Да. Годится... Можно его не трогать.

Ну, и что?.. Хорошо, хорошо... «...Никаких иных сообщников...» Отлично. Оставьте этого крючковтора в покое.

Пустая площадь... Яркое солнце. Ослепительно голубое небо. Если смотреть сверху вниз: маленькие фигурки; суетятся... Если смотреть снизу вверх — огромные великаны — хозяева Земли... А если... А если...

Умерли в своей постели еще несколько почтенных граждан Флоренции. А в Ватикане... Тсс... Вот в Милане... Тихо... В Париже и Мадриде... Все отлично! Все великолепно! А я как всем доволен!!!!.. Ура!

SALTO

Серая строчка стали... Острая реальность, завершающая расчеты. Пером ставится точка. Без нового предложения. Нож не может поссориться со своей рукояткой... Ломается лезвие... раскалывается рукоятка... Тонкое длинное лезвие... угрожающая игла стилета... стилос... стиль... Изощренная тонкая смерть.

SALTO

Красно-желто-полосатые жонглеры, как мячики, взлетают в воздух: раз, два, три!

Акробаты летают в воздухе... и падают... Зачем?.. Каждый взлет завершается — зачем... Разбег... Прыжок!

Кто летал?.. Кто?..

SALTO

Елена Мухина готовится к комбинации... Прыжок.

SALTO

Чемпионка мира... Уникальная комбинация... Прыжок.

SALTO

Инвалидное кресло катится, посверкивая колесиками.

SALTO

Никколо Макиавелли бездумно смотрел на серое-серое небо: ничего, ничего, абсолютно ничего не хотелось...

SALTO

Флимнап подпрыгивал, как мячик: флим-нап, флим-нап...

SALTO

Здесь Родос — здесь прыгай...

SALTO

Вечер. Дом с башней. В нем живет доктор Гаспар Арнери. Вверху буйство южной ночи. Внизу абсолютная тишина. Никого...

Вот дом, где живет доктор Гаспар Арнери. Серебристые листья оливы.

Толстяк на толстяке — под толстяком — толстяк.

Мягкий скрипучий баритон откуда-то сверху говорит:

— Я отвечу на все ваши вопросы. Спрашивайте.

Вечер. Дом с башней. В нем живет...

SALTO

Красный бархат колета, ослепительные черные волосы, орлиный с горбинкой нос — острый — иглой — стилет — красный бархат колета... красный бархат колета... красн...

SALTO

Гремит гром, сверкают молнии: мчатся ветры по небу
в разрывах...

Карабас-Барабас открыл пасть и крикнул:

— Не верю. Не верю, маэстро. Карабас-Барабас не
обязан всему верить! Мальвина, детка, выше ножку, моя
прелесть. Да...

Что это за буря?! Бурю побурнее — быстро, быстро!

SALTO

Шут с голой головой — он старается! Думает, как раз-
веселить хозяина... и плачет... Хозяин засмеялся.

SALTO

Оружейник Просперо и гимнаст Тибул танцевали пе-
ред народом под музыку балета «Три толстяка».

— Гоп, гоп!..

— Гоп, гоп...

SALTO

Толпа — это скопище людей. Скопище может быть
стихийным, организованным, согнанным, а также разо-
гнанным...

SALTO

Карабас... Одесса... Нефть... Футбол... Отрада...

SALTO

Красным, красно, красный, красному; красн! красн!
красн!

SALTO

Пустота пустот пустых в пустом пусто...

SALTO

S... S... S...

SALTO

... ..

SALTO

Если представить время как некие пласты и прорезать их тонким острым стилетом... насквозь... Живые куски кричат под равнодушной сталью — извиваются — вонзается острая кромка и терзает эту странную плоть — никаких брызг... никаких...

Я не могу понять, почему? но я вижу сквозь разрез... сквозь этот удивительный разрез... удивленные лица... очень удивленные лица... восторг знатоков... я подчеркиваю: неторопливый восторг знатоков... Что только они не говорят?.. удивительно...

А ведь это величие... Я отсюда слышу, — как про меня говорят там... Я абсолютно уверен, что слышу... Это — правда!

Кому нужен этот крик?.. А я не кричал — это все внутри, внутри... да? Все-таки чего же я хочу: славы или богатства? И того, и другого, и того, и другого; Ах!.. А что будет потом?.. Какая-то пелена, пелена... Ничто... Ничего... Но не все ли равно, что кто-то скажет: вот это был... был!!!.. был... ничего... Какая огромная величина — я. Вот есть они — и их не нужно трогать. А есть... Я... Я...

Малюсенькие звезды и Я. Да — Я. Мир погаснет...
А он и не загорался — подумаешь... Я создал и Я ушел.
И мир... Останется?.. А я не хочу. Или нет, пусть останется.
Но тогда — рядом Я.

я я я я я я

SALTO

я я я

SALTO

... ..

SALTO

Андрей ГУЩИН

(Киев)

ГЕРОЙ БЕЗ РОМАНА

Вчера закончил читать «Героя без романа» Андрея Гущина. Имена персонажей не показались мне вычурными, я их читательски принял, так же, как и узнаваемую территорию. Начал читать, признаюсь, с лёгким скепсисом, но постепенно увлёкся, читательски «признал» и посимпатизировал божественным полубездельникам-полулитераторам, которых носит по их Terra Cognita дух честолюбия, любопытства и промискуитета. В чём-то общем они мне напомнили «Фиесту» папаши Хема — роман, которым мы в своё время увлекались и даже играли в него. У них была яркая коррида, но и у Гущина тоже есть кое-что остро сюжетное — ковид, АТО и прочие зловещие аббревиатуры. Это сильно, особенно сцена насильственного рекрутства. Конечные сцены, когда автор разделяется с остальными персонажами, тоже сильные. Утопление в пограничной Тиссе — бегло, кратко, но убедительно. А вот автокатастрофа довольно кинематографична. То, что касается литературы — с одной стороны всё слишком знакомо, но с другой стороны симпатично — ах, эти бунтарские переоценки! Ну, хорошо, что Мандельштама «простили» и оставили в Пантеоне. Хорошие литературные «мо» иногда попадают в текст, воспринимаются с одобрением. Вкрапления стихов более или менее приемлемы. Но когда я «споткнулся» о Мещерякова, это был сюрприз! Ну что ж, потрафили мне, спасибо. Между прочим, я под этим именем хотел остаться в литературе. Думал: вот как было бы «наоборот» — жить под псевдонимом, а печататься под настоящим именем. И когда посылал рукопись «Зияний» в Париж, поставил это имя на обложку. Но Наталья

самочинно переименовала... Крёстная, ничего не скажешь... Роман ли это? Да, скорее повесть, но можно считать и романом. Концовка явно не затвердевшая, потенциально готовая для переделок или продолжений. А вот идея с романом друга, оставшимся в руках у героя, очень и очень богатая. Можно много чего еще накрутить! Форму романа-повести можно сравнить и с Веничкиным шедевром — он всё ещё свеж и вполне годится в качестве ориентира и некоего камертона.

Дмитрий Бобышев

Часть III. Ухилиянт

Предисловие

Перевернута автобиографическая страничка, и мы плавно переходим в область чистого вымысла. Это приятно, так как развязывает руки. Теперь можно врать больше обычного. Не ищите автора за спинами всех этих Джорджей, Эркюлей и Фомичёвых — не найдёте.

Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.

Что нужно ещё сказать, предваряя повествование? То, что автор самопровозглашает себя наследником «южной школы». Он родился и вырос на берегу Чёрного моря, чей неумолчный голос звучит, как метроном, у него в башке в то время, как он слагает, подобно Омиру, сии скромные строки. А за гулом моря чудятся ему иные голоса — такие же чистые и прозрачные — Бабеля, Короленко, Паустовского, Горького. И даже Бунина. Хотя, не напрямую, а в переложении Катаева. Есть с Буниным и более тонкая связь — в числе первых книг, прочитанных Буниным самостоятельно, была «Одиссея». А вот катаевщину или пресловутый «мовизм» автор «решительно

отвергает на всех уровнях», так как Советского строя и его литературных ветряных мельниц больше нет, и новому Дон Кишоту (а скорее — Санчо Пансе) бороться с ними уже не нужно...

Андре Моруа писал: «Есть только одно средство стать культурным человеком — чтение». Я же переиначу высказывание — написание столь же бесполезных, сколь и душеспасительных романов и стихов.

Глава 1. Обо всем на свете

Продаются детские ботиночки, ни разу не ношенные.

Э. Хемингуэй

Наш герой родился в другой стране. Не будем его судить строго. Или будем. Он такой, какой он есть. Недостатки зашкаливают. Но он есть. Почти название романа Мещерякова. Это его апология. Ответственность разделим на всех и каждого. На читателя в том числе. Вы читаете эти строки и уже стали соучастниками — его грешного существования.

Вот он идёт по улице. Улица ему не принадлежит. Она взята им напрокат. По ней ходят другие заёмщики. За темными портьерами прячутся реальные акционеры. Но до них ему нет никакого дела. Он знает, что завтра наступит. И этому никто не сможет помешать — ни царь, ни бог и ни герой. Он не первый, не второй и не третий. Он здесь. Он сущий! Куда он направляется? Возможно, он идёт по Катю. Ну, ходят же по воду, по грибы. А он идёт по свою подругу. Она ему мать, и друг, и любовница. И пожалеет, и позаботится, и утешит. И вот он идёт по неё. Как он идёт? Походка его ещё молодецкая, хотя он не молод. Он не скопил денег, как пелось в пошлой песенке одного грузина, не приобрёл друзей... Он и ума-то не нажил. Но он идёт

вверх по улице Глубочицкой. Она ему всегда нравилась, эта улица Глубочицкая. Название происходит от ручья, известного со времён Киевской Руси. Ручей вытекал из небольшого источника в Кмитовом яру, далее бежал по глубокому урочищу (Глубочицкому яру) между Щекавицей и Кудрявцем в сторону Подола. Вот вдоль русла этого ручья и была проложена улица. И он её любил неизвестно за что. Иногда чудились ему выходцы из других эпох в кафтанах и камзолах. Они говорили на архаичных наречиях и не замечали нашего героя. А он их видел, наблюдал за ними. Он не археолог. Отнюдь. И не историк. И фамилия его не Кашпировский. Однако дана ему такая власть. И вот он поднимается по этой улочке, чтобы увидеть свою королеву. Навстречу ему спешат трамваи, охают и повизгивают на поворотах, как живые. Он любит трамваи. Из всех видов транспорта они самые неуклюжие, а значит, близкие. Они братья по несчастью. Их построили при Хрущёве, и с тех незапамятных пор они все бегают по маршруту взад-вперёд, как заведённые. Сменяются вагоновожатые. Стареют, выходят на пенсию. Приходит новое младое незнакомое племя. Но и оно обречено. Наш герой, назовём его Эркюль, никуда не спешит. Он живёт с матерью на её пенсию и скромные сбережения, оставшиеся от его прошлой трудовой деятельности. Денег в обрез. Хватает только на пропитание. Покупка новых ботинок — уже праздник. Катерина ничего не просит, не жалуется. На праздники он дарит ей украшения из обширных фамильных запасов. То позолоченную брошь, то кольцо с мельчайшими оливинами, некогда привезённое с таинственного острова Гран-Канария.

Катерина хочет ребёнка, а Эркюль не хочет. Ему и так хорошо. Можно изредка встречаться без последствий. Свобода радостно примет его у входа. Уже приняла. Эгоистично? Несомненно. Катерина плачет в подушку. Она плачет в телефонную трубку, рыдает на папином и мамин-

ном плечах. Перед зеркалом и без зеркала. Подружки укоряют её за мягкотелость, советуют пойти на уловку. Но воз и ныне там. Она не может превозмочь себя, устроить настоящий скандал, расставить точки над «и». Их роман тянется, скрипит на ухабах, как медленный чумацкий воз. Но сегодня она, наконец, поговорит с ним серьёзно. Скажет, что ей стукнуло тридцать лет, а это для женщины уже критический возраст. Нужно рожать, иначе будет поздно. Но на что жить, как растить ребёнка? Ведь Эркуль такой лентяй. Ничего. Она устроится на вторую работу. Им будут помогать её родители.

Но твёрдый настрой улетучился, как только она увидела своего героя, вдохнула запах волос, и он обнял её так, как умеет только он. Как будто она его любимая вещь. И штамп об их браке проставлен не в паспорте, а прямо у неё на лбу.

— Любимый! Я так соскучилась. Как ты?

Эркуль малоразговорчив до тех пор, пока не утолит первую страсть. А вот потом он начинает разглагольствовать. Она любит смотреть на него, слушать, не вникая в его гладкие речи. Что-что, а говорить он умеет. И, получается, что — стыдно признаться — она любит ушами. Он долго говорит о политике. Горячо и убеждённо. Он был на майдане. Но не в числе аборигенов, а так, приходил на пару часиков. Приносил чай в термосе и мамыны бутерброды. Смотрел благоговейно на обросших бородами борцов за независимость. Юношеский максимализм периодически вновь просыпается в нем, но он быстро переходит от стадии прекраснотуши к пессимизму. Эркуль — рассудочный человек и гордится этим. Но, как все рассудочные люди, он парадоксально мнителен и суеверен. Если на встречу ему попадётся бабка с пустым ведром, он нарочито остановится и переждёт, покуда кто-нибудь не пересечёт невидимую заколдованную черту. Ночью ему снятся странные сны. Он блуждает по темным переулкам, о чем-

то разговаривает с незнакомцами. В душе нет покоя. Тревога гнездится глубоко внутри, и в полночный час над зелёной водой показывается её острый акулий плавник.

Он выходит от Катерины и идёт в обратном направлении. Вдоль да по речке... Ему нужно навестить друга Джорджа. В какой они стране живут, спросите вы. В той, где запросто Васю могут назвать Питом. Джордж — поэт и тунейдец. Не сеет, не жнёт, не собирает в житницы, а мать его питает. В этом они с Эркульем схожи. И не только в этом. Также отношением к бабам и твёрдыми политическими убеждениями, достойными лучшего применения. Вот пример творчества Джорджа.

Над головой горят фонарики,
А в речку Стикс летят чинарики.
Набедокурили и сгнули,
Удавку скользкую накинули.

Эркуль восхищается Джорджем. Они вместе пьют водку, хотя это не патриотично. Водка очищает от всего преходящего, суетного. Она лучший педагог. Без мыла влезает в душу. И шерудит там, копается, выставив наружу тощий зад. Ищет смысл. Сознание расширяет лучше всякой аяуаски. Эркуль часто пускает слезу. Он вспоминает детство. Как мама вела его за ручку. Первый раз в первый класс. На девочках хрустели накрахмаленные переднички. Вся жизнь была впереди. И год казался долгим, как макаронина. Трудно проглотить за раз. Видимо, в какой-то другой жизни выпускники однажды написали на бетонной фонарной опоре «10-А. 1977». Он отчего-то запомнил эту надпись, как будто в ней было что-то важное. А сами они такой надписи не оставили. Балкон заплела глициния и светила на прохожих фиолетовым неоновым светом. Он не любил драк. Тело его напрягалось, кулаки инстинктивно сжимались, даже когда он просто смотрел на дерущихся. Это состояние объясняется выработкой адреналина и

других гормонов. Вот и любовь теперь пошла сплошь гормональная. Хорошая теория. Химизм процессов. А вот Джордж считает, что это все чушь собачья. И люди льнут друг к дружке от одиночества. Нет ничего печальнее на свете, чем встать спозаранку, выпить кофе, проверить фейсбук и, не обнаружив новых лайков, начать рыться в папке «Воспоминания».

Эркюль не читал Кафку. Слишком мрачно и лишено аполлонистического начала. На полке пылился кирпич Джойса. Паунд повергал его в уныние. Но в последнее время он стал думать, что эта модернистская белиберда наилучшим образом описывает метаморфозы и «прелести» текущего момента, тягучую, как нуга, непобедимую безысходность. Там, где Толстой, Рильке и Хемингуэй умывали руки, неудобоваримые монстры их потирали, определяя действительность в патологических терминах. Просто есть разные состояния. И там, где ещё брезжит слабый лучик надежды, вышперечисленным текстам нет места. Тени наползают в полдень.

Он зашёл в часовню Николая Мокрого. Святой, как всегда, пристально посмотрел на него из-под густых бровей, но ничего не сказал. Под полом плескался Днепр. Издревле утопающие в бурных волнах искали заступничества старца. И обретали. Возможно ли, чтобы Эркюль его не снискал? С другой стороны, ведь он не моряк и не утопающий. По крайней мере, в волнах. В трясине — пожалуй. Он никогда не слышал, чтобы Николай помогал тонущим в болоте горе-грибникам.

Что будет, если полететь к солнцу? Как в анекдоте: «А мы полетим ночью». Ночью не жарко. Зато бог Атум-Ра милостиво выслушает астронавтов, поможет разрешить неразрешимые вопросы. Первое, о чем я бы спросил солнечное божество — чем рай отличается от ада, если солнце и так раскалённое. Можно ли воскресить умерших.

Только не надо гнать про мумии и пирамиды. Можно? Если да, то воскресите, пожалуйста, Адама и Еву, и давайте писать историю с чистого листа.

На следующий день пошёл дождь. Синюшные тучи обложили полнеба. Особенно густопсово синева легла на Оболонь и окрестности. Не там ли — в хрустальных таинственных оболонках Володимир крестил Русь? По радио передали, что аномальные ливневые дожди накрыли даже далёкие долины Shawkah и Barraq в эмирате Рас-Аль-Хайма.

Дождь проливался мучительно и трудно. Так все не может сходить по-маленькому человек с запущенным простатитом. Нет, чтоб весело и быстро прогреметь грозой над зелёным лугом, охладить натруженные сердца внедорожников. Тогда над остывающими капотами завьётся лёгкий парок. Знать, сегодня придётся сидеть дома и втыкать в экран планшета. Позвонила бывшая из Нью-Йорка. Они не виделись уже лет пятнадцать. Она была замужем за богатым внуком французского импрессиониста. Но все продолжает окучивать местных богатеев, предлагая посредничество и консультации. Он вспомнил их давнюю поездку в Синегорье. Убитый поезд и её полуобнажённое молодое тело, залитое лунным светом. Что ещё вспоминать на склоне лет. Жизнь никого не щадит, и теперь она — благообразная тётенька с усталыми мешочками под все ещё жгучими очами. В любовных играх она брала инициативу в свои умелые медицинские ручки. А он, как был немного стеснительным, так им, по сути, и остаётся, несмотря на ряд занятных экспериментов, проведённых с забытыми подругами. Он передёргивает плечами. Это все лишнее, лишнее, как десерт после сытного домашнего обеда. Нужно держаться, во что бы то ни стало. Моральные ценности — не пустой звук. Они не столько розги в руках лицемеров, сколько костыли, с помощью которых можно вовремя доковылять до уборной.

Все мы в той или иной степени становимся жертвами газлайтинга. Этот модный термин означает форму психологической манипуляции, при которой тебя заставляют сомневаться в собственной адекватности. Ну, например, вы что-то чётко помните. А вам на голубом глазу говорят обратное. И при этом утешительно похлопывают по плечу, мол, ничего страшного, ну подзабыли, с кем ни бывает. И вы запутываетесь, как мушка в тенетах. А результатом становятся тревожность и апатия. И, главное, зависимость от газлайтера. Термин происходит от названия пьесы «Газовый свет» и одноименного фильма. В этой истории муж сводит жену с ума, постепенно укрупняя яркость газовых светильников, при этом отрицая то, что свет меняется. А свет меняется. И не замечать этого преступно, прежде всего, по отношению к самому себе.

Эркуль не раз испытывал на себе чудодейственные пассы манипуляторов всех мастей — доморощенных и профессиональных, старых и малых психопатов, нарциссов и просто людей себе на уме. Природой ему дано было тонко чувствовать попытки взять над ним власть, и он сопротивлялся, как мог. Не всегда получалось. Иногда, к примеру, ради хорошенько женщины можно сдаться на милость победителя и терпеть сначала невинные, а потом все более изощрённые попытки оставить тебя в дураках. Ах, обмануть меня не трудно... Катя была простая женщина, и к тому же не слишком своенравная. Такие ему подходили больше всего. С ними он мог жить-поживать. Она, конечно, тоже получала от него некие материальные и духовные выгоды. И все между ними оставалось в рамках раз навсегда заведённых порядков.

Однажды Джордж зазвал Героя на одно мероприятие в Доме Булгакова на Андреевском. Эркуль по такому случаю принарядился: надел белую рубашку и пиджак. На строгие туфли его уже не хватило. В этот вечер в музее

проходила презентация литературного альманаха со странным названием «Новый Одиссей». В начале заумно выступил главный редактор, человек с искусственными дредами и едва заметным неидентифицируемым акцентом. Присутствовавшие божьи одуванчики предпенсионного возраста слушали немногочисленных выступающих с умным видом. Ах, да. Была там ещё томная волоокая красавица с тонкими чувственными польскими губами. Из всех выступавших друзьям больше всего запомнился кругленький парень с говорящей фамилией Моцарт. В нем чувствовались удаль и озорство. В тот день он явно поздно вернулся с пирушки. В конце Эркюль уже откровенно скучал и мечтал о том, чтобы поскорей смыться и пропустить по келиху пенного в соседней пивнушке.

Они долго сидели в центре древнего города у подножия Замковой горы и впитывали его флюиды. Вот и церковь Божьей матери Пирогощи, что на Подольском торжище. *«Вьются голоса чрезъ море до Києва; Игорь Ёдетъ по Боричеву къ святой Богородицѣ Пирогощей»*. Что нужно человеку, чтобы чувствовать связь самости с другими людьми и целыми эпохами. Вот так сидеть на веранде, рассматривать женские ягодицы и обмениваться энергией с Самсоном, старейшим фонтаном Киева. Так приходит мирская слава, а вдаль уплывают по иллюзорным волнам Почайны тела конфуцианских монахов. Вертится Земля, медведи делают своё доброе дело.

Глава 2. Синяя блуза

Когда его в следующий раз позовут на подобное мероприятие, ну, например, на фестиваль «Киевские Лавры», он не наденет пиджака. Нужно быть открытым всем ветрам и веяниям времени и носить удобные кофты и блузы.

Это достойно уважения. Каждый человек стремится его заслужить не мытьём, так катаньем. Герой тоже стремился. Но вялыми были его поползновения. И был он весь как будто с ног до головы припорошён сонной меловой шебелинской пудрой. Другими порошками он не баловался, да и возможности такой не имел.

Ночь пылала черным нефтяным факелом. Подгулявшие обыватели прыгали в серебристые таксомоторы. А Эркуль, несмотря на поздний час, все не решался направлять свои стопы домой. Ему казалось, что сейчас здесь в благодатной тиши и темноте ему откроется согревающая сердце тайна. Звезды дружески подмигивали, как бы говоря: «Ну что ты раскис, нытик? Соберись! Ещё ничего не потеряно. Подумаешь, сорок пять». Золотой возраст позднего взросления души. Тело-то уже давно того-этого. А душа нет. Она только выбирается на свет из пелёнок. Так не теряйся. Пользуйся моментом. Вот он и пользовался. Бродил по жаркой городской пустыне. Чертил воображаемые магические круги на асфальте, защищаясь от нахлынувших демонических воспоминаний. Он вспомнил иное лето. Добрый голос моря. Расхристанную хибарку и девушку в дешёвом белом наряде. Они прощались у трансформаторной будки на развороте «троечки». Она говорила: «Представь, что мы поселимся в этом домике. Нам будет тесно и хорошо вдвоём». А накануне был день, полный прогулок и ласк. Поцелуев дружеских и любовных. Вся палитра чувств и страстей, как у художницы с цветочной фамилией. Приходишь к ней в мастерскую и видишь «из какого сора...». А у природы не бывает сора. Точнее, даже сор у неё благообразный, подчинённый законам золотого, серебряного и ещё какого-то неведомого сечения.

У Героя давно уже не было настоящего романа. Со времён туманной юности и не менее туманной молодости. Отношения с Катериной не в счёт. Он по-маниловски

мечтает о большем. О чем-то воздушном, сверкающем, как воздушный шар. Чтобы можно было зажечь горелку и медленно подниматься над землёй, рассматривая её в невозможных деталях. Зайчата прячутся в высоких травах, бредёт по просёлку погонщик. Он отжил свой век дважды — и биологический, и профессиональный. Теперь Макары уже не гоняют телят на дальние выпасы, а закармливают их прямо в стойлах разной быстрой химией.

И он пишет свой роман в голове. В нем все расставлено по местам. Если грусть, то грусть. А не эта осенняя морось. Если радость, то собачья. С тявканьем, слюнями, киданием на шею и преданными взглядами. Никогда не знаешь, где найдёшь. Может быть, его Героиня так же не спит, бродит под луной где-нибудь в Бирюлёво или на Осокорках. Надо больше ходить, надо больше ходить. Это полезно для здоровья. И помогает сбросить лишний вес. Если идти по Оболонской набережной, мимо недостроенного большого храма и загаженного песчаного пляжика, то выйдешь к троллейбусному кругу. Оттуда сверни направо. Обязательно направо. И попадешь в райские кущи с малопроезжими дорогами и замуравившими тропинками. Там в густой дубовой листве до сих пор скрывается Соловей. Зуб давно выбит. И изъясняется он на древнерусском наречии, ныне совершенно непонятном даже культурному мещанину. Далее следует песчаный карьер и затоны, в которых обычно удят рыбу, читают архаические газеты, вышедшие в тираж, и бесстыдно предаются древнему наслаждению ничегонеделания.

Назавтра Герой решил отправиться в гости к художнику Нивкинду. Тот жил на Подоле. Он заявился к мастеру прямо с утра, как Винни-Пух. Нивкинд, человек вынужденно непьющий, был уже на ногах и трудился. Обследовал купленные на развале окаменелые советские масляные краски. Эркуль горел идеей провести большую выставку,

предложив к обозрению фотополотна, объединённые общей идеей с мифологическими картинами Нивкинда. Глаз Нивкинда загорелся:

— С нашим украинским счастьем вряд ли что-то выйдет из этой затеи. Но можно попробовать. А где будем выставляться?

— А в «Дукате». Там же твои знакомые.

— Вот именно поэтому вряд ли получится.

Приятели не стали давать волю нахлынувшему пессимизму и отправились осматривать интересную локацию — заброшенный завод. Толстые кирпичные стены эпохи развитого социализма. Нужная атмосфера. К художественным съёмкам подключился известный нетрадиционный стилист. Его завиральные идеи пришлись товариществу по вкусу. Нужно было сшить белые полотняные балахоны, обрядить в них модели, вознеся тех на деревянные пьедесталы, затянутые материей. Помимо моделей пригласили также весёлых балерин из «Оперного». Их невероятные балетные па и прыжки на фоне достоверных картин советского упадка смотрелись так, как нужно — свирепо и нигилистично.

Съёмки продлились все лето. Было весело. Завод заволакивало разноцветными дымами. Актёры и постановщики кашляли, но мудро продолжали отчаянный труд. Центральной фигурой выставки стал «Красный Будда». Герой пригласил на съёмки натурщицу, не воротившую нос от стиля «ню». Она кланялась и припадала к стопам огромной картинной фигуры в красных шальварах, навеки замершей в величественной позе лотоса. Как выяснилось, просветление у древних гуру наступало после употребления не запрещённого в те баснословные веки галлюциногенного экстракта голубого лотоса. В разгар одухотворённых съёмок в помещение ворвался жених весталки и учинил небольшую потасовку. Нивкинд, в прошлом мастер по вольной борьбе, без труда вытеснил разгорячённого

страдальца в ветхий коридор и накрепко замкнул дверь. Выждав некоторое время, друзья наведались к Парфюмеру, квартировавшему в том же облупленном крыле здания. После прочтения известного романа Эркюль со смешанными чувствами смотрел на Парфюмера. Тот был больше похож не на коммерческого пройдоху из XXI-го века, а на средневекового шарлатана, добывающего философский камень из верблюжьих экскрементов. Но «Ландыш №6» покорила обонятельные рецепторы Эркюля. Настой был незамедлительно перелит для него в скромный заранее заготовленный флакон, упакован и перевязан трогательной дешёвой розовой ленточкой.

Джордж усовершенствовал своё стихотворение. Теперь оно звучит так:

И стоят над душой гаврики,
В синей Лете гасят чинарики.
Если спросят: что тебе, маленький?
Я отвечу — хочу валенки.
В них ногам горячо и уютно,
Головы не согреет утро.
Может, солнце зимой и ярче,
Но глядеть на него трудно.

У Джорджа большие проблемы. Он по-прежнему любит Пастернака с Заболоцким. Но сейчас это не приветствуется. Национальное строительство — строгая вещь, и если ты не вписался в предложенный паттерн, то скоро окажешься на обочине. Впрочем, Джордж с обочины никогда и не выкарабкивался на прямоезжий тракт. А что делать? А ничего. Ждать у моря погоды. Он дружит с Мещеряковым. Таким же изгоем, если не покруче. В своё время тот накостылял Нобелевскому лауреату. И торсида ему этого не простила. Стихи его прозрачны и благоуханны, как Кастаньский ключ. Но кто о них слышал? Джоржду, впрочем, это не мешает с удовольствием вникать в сложные пе-

рипетии его необычной судьбы, делать разыскания, перечитывать старое. Мещеряков благороден, доброжелателен, учтив той последней трогательной учтивостью, свойственной людям, стоящим на пороге. Джордж пишет Морковину и Мещерякову. Оба далеко-далеко. Мол, русский поэт, литератор должен бороться. В метрополии оскудевает не язык, он-то куда денется, но писательская культура. Тонет в море коммерческого барахла, детективной подёнщины и политагиток. Но такая всеохватная мессианская забота о родной речи коробит мэтров. Ответственности своей за судьбу словесности они с себя не снимают. Но и потакать наивной бездеятельной мерехлюндии не спешат. Как однажды скажет Мещеряков — «метрическими линейками литературу никак не измерить».

Джордж любит Тину. Тина похожа на актрису. Но только похожа. На самом деле она — ботаник. И работает в Ботаническом саду. Джордж часто встречается Тину после работы, и они углубляются в дикие нехоженые уголки сада. «А такие есть?» — спросите вы. Есть. Вот один из них. Кругом ещё не выгоревшая на солнце высокая трава. Воткнут по муди в горбатую землю половецкий князёк. Когда-то здесь проводились археологические раскопки. Есть ли необходимость пересказывать сухие факты из научных отчётов? Их легко найти в любом археологическом справочнике. Другое дело, понять, что это значит — жить на земле столь древней, что можно легко запутаться в ветвях могучего генеалогического древа.

Тина так же бесстыжа, как и Катерина. Она с удовольствием задирает юбку, и они предаются страсти, где придётся — на лугу, в реденьком перелеске, у яра, откуда открывается прекрасный вид на Левый берег. На этот раз их издали заметил монах Выдубицкого монастыря и стыдливо изменил маршрут. Они возвращались домой весёлые, освежённые доброй прогулкой и маленьким греховным приключением.

Когда-то давно Герой был очень набожным. Он часто ходил в храм. Потом, пережив духовный кризис среднего возраста, он стал суше, холоднее, и к прежним привычкам не вернулся. Он все ещё заученно повторял Символ веры. Нельзя сказать, что он разуверился. Но вера его стала иррациональней. Он с некоторых пор перестал терзать себя безответными вопросами. А многие противоречия старался просто не замечать. Надо поддерживать фитиль зажжённым. Такой подход ближе всего к восточным практикам. Священное — несказанно, его можно ощутить, но не выразить словами. По большим праздникам и в минуты душевных смут он отправлялся на поклон к Богородице, к её иконе «Призри на смирение». В сумраке храма, обливаясь слезами, он думал, что вот он бог — простой и близкий. Стоит только протянуть слабую руку, превратиться на час в ребёнка. Отключиться, предавшись грёзам наяву. Лучше выразить это состояние он не мог. Да и кому нужны точные формулировки? Достаточно и без него на земле пасторов и пастырей. Вера приходит в пустое сердце. Отчаялся — озлобился, поплакал — и вот опять что-то ёкает в области солнечного сплетения, сосёт под ложечкой. Жив, жив курилка. Ещё не стянуло лоб обручем окамененного нечувствия. А что касается настоятеля Петра по кличке Апостол — ну что ж, ему предстоит держать ответ перед ангелами. И Эркюлю лучше о том не знать. Цитата из «Таис Афинской» тут будет весьма кстати: «Только в начале своего существования любая религия живёт и властвует над людьми, включая самых умных и сильных. Потом вместо веры происходит толкование, вместо праведной жизни — обряды, и все кончается лицемерием жрецов в их борьбе за сытую и почётную жизнь».

На выходные решили устроить пикник. За бывшим Московским вантовым мостом между двумя спальными районами раскинулся (тоже бывший) парк «Дружбы наро-

дов». Давнее название этой местности — урочище Чертой. Ров был настолько глубок, что неграмотное население посчитало это работой нечистой силы. В советские времена здесь был разбит мемориальный сад и высажено 15 видов растений по числу республик, включая явор, иву и барбарис Тунберга. Здесь водятся гадюки и ящерицы. Труханов остров очень трудно отделить от находящегося выше по течению острова Муромец. И злоимённый мост как раз является приблизительной границей между ними. Но самое главное — здесь на бесчисленных приозёрных полянах можно развести костерок и при этом быть избавленными от назойливого присутствия соседей — никого не видеть и не слышать. Потрескивает разгорающееся полено, булькают в пруду караси и уклейки.

Тина идёт купаться. Ох, у неё и формы. Герой вполглаза наблюдает за ней и начинает нервничать. Та уплывает куда-то за зелёную стену прибрежных зарослей. Пока Жорик хлопочет над костром, а Кейт готовит бутеры, он лениво поднимается и тоже исчезает за летним пологом. Видит Тину и идёт к ней по скользкому илистому дну. Та оборачивается и сначала с улыбкой наблюдает за ним. Но вот начинает хмуриться, потом пугается:

— Что ты делаешь?

Все и так ясно без слов. Она пробует вырваться. Но злой бес уже успел вселиться в его лядвия. Увальня в таком состоянии нисколько не смущает то, что в считанных метрах отсюда переговариваются ничего не подозревающие друг и почти жена. Он только крепче обхватывает её тугие бедра. Пароксизм страсти искажает добродушное лицо. Она понимает, что это серьёзно, и обратиться все в шутку не получится. В глазах мелькает страх. Секундной слабости довольно — схватив за руку, он увлекает девушку на берег. Та уже не сопротивляется. Ему хватает пяти минут. Потом он отваливается по-свински, и они некото-

рое время лежат молча. Тина задумчиво чертит невидимые знаки на его широкой груди. Потом встаёт и идёт к костру. Он следует за ней.

«Что вы оба такие серьёзные?» — Подначивает Кейт. «Да так», — произносит Тина одними искусанными губами. На лицо падают лёгкие берёзовые тени. Эркюль, как ни в чем не бывало, присоединяется к Джорджу и нанизывает большие свиные шматки на самодельные деревянные шпажки.

Ночью Эркюль размышлял над случившимся. Угрызенный совести он не испытывал. Да и Тина как-то подозрительно быстро сдалась, как будто ожидала подобного. А как же его собственные недавние моралите? Замнём для ясности. Нравилась ли она ему? Бесспорно. Готов ли он оставить Катерину ради неё? Вряд ли. Удобство спорит с негой. А Катя удобна во всех отношениях. Да и если сравнивать их, как женщин, ещё неизвестно, кто возьмёт верх. На этом Эркюль успокоился. Но не успокоилась Тина. Она-то как раз разволновалась...

Назавтра позвонил Джордж и по телефону стал читать жалостливые вирши, навеянные пикником:

В урочище белеет кашка.
Ползёт невинная мурашка,
А бабочек ещё не видно.
Трава желтеет, что обидно.
Из сердца вон в который раз
И с глаз долой до новых вёсен.
Блестит звезды дешёвый страз,
А счастья в жизни не приносит.

Герою понравилось. В стихах было, как всегда, много невнятного, сумбурного. Но сквозила надмирная простота. Это завораживало.

— Слушай, Эрик. Я так люблю тебя, дружище. Ты один меня понимаешь!

— А как же Тина? — удивился Эркюль.

— А что Тина? Мы с ней последнее время ругаемся.

— Ну, давай, пока. Не пропадай. Заходи к нам на огонёк.

Знал бы бедняга, что это был за огонёк.

Глава 3. Сходняк поэтов

Я Хлебникова не видел. У меня такое ощущение, что я вошёл в дом и мог его увидеть, но он только что ушёл.

Ю. Олеша

Тина была моложе и объективно красивее Катерины. Особенно нравилась мужчинам её фигура. К тому же была она далеко не простушка, знала себе цену и могла добиваться поставленных целей. Отчего же она до сих пор теряет время с неудачником Джорджем, спросит читатель. Тут мы вторгаемся в загадочную сферу женской души, её нежной философии, девичьих грёз и чувственности сверх меры. Этот волшебный коктейль каждодневно опьянял в остальном крепко стоящую на земле девушку. Она видела недостатки Жорика, как она его любовно называла. Но в ней теплилась надежда на то, что однажды он возьмётся за ум. Во-вторых, те внутренние беспощадные женские чашки, которые сводили с ума Катю, тикали в голове Тины ещё не так настойчиво. Двадцать четыре — это вам не тридцатник. К тому же Джордж был отличным любовником. Но вот произошёл неожиданный инцидент, и она призадумалась. Сначала она старалась все побыстрее забыть. Но холодный взгляд прикидывающегося паинькой Эркюля крепко засел в мозгу, заставляя раз за разом прокручивать в уме произошедшее. Её тревожила собственная реакция.

Ведь стоило ей тогда только пикнуть, поднять шум и... Но нет. Она вела себя, как кролик перед удавом. Стыдно признаться, но этот его садистский взгляд будил в ней тантрического зверя. Мозг протестовал, а тело жаждало повторения. Во всем виновато её проклятое либидо. Был, впрочем, ещё один фактор, позволявший рассматривать произошедшее как приключение. Этим банальным фактором были деньги. Да, сейчас Эркюль живёт с матушкой на съёмной квартире. Но в природе существует некий крупный объект недвижимости, который, выиграв Эркюль длящиеся годами суды, сделает его миллионщиком. А вот тогда... Будем смотреть на вещи трезво. Разве такая жена нужна будет новоиспечённому нуворишу? Катька слишком проста и неуклюжа. Не умеет держаться в обществе. К тому же у ней уже есть животик, круги под глазами и обвисающая грудь. А что будет после родов? Прокрутив пару раз в голове эти соображения, Тина успокоилась и решила пока ничего не предпринимать. Утро вечера мудренее. Время покажет, кто с кем ляжет.

Герой опять у Нивкинда, но того нет дома. Всклооченная жена отвечает, что тот уехал на вокзал встречать какого-то Вагана. Герой видел его однажды. Этот Ваган — тоже художник, эксцентричный тип с кавказским замесом душевности, хитрости и наивности. Нивкинд рассказывает про него смешные истории. Эркюль решил на вокзал не ехать, а подождать их на веранде. Пока он рассматривал картины, появился расстроенный Нивкинд. Он был в костюме-тройке, несмотря на жару, с тростью (для солидности) и не в духе. Ваган умудрился отстать от поезда в Мелитополе и теперь добирался на перекладных. При этом все вещи и документы остались в купе. Слава богу, проводница их сберегла, но отдать соглашалась Вагану лично в руки. Ну что ж. Хорошее утро нужно встретить партией в нарды. Слово за слово, разговорились о выставке. Дукат

предсказуемо отказал, и теперь выставка состоится в музее Шевченко. Что ж, светлые залы, высоченные потолки. Все говорили за этот выбор. Дело было за малым — съездить на Хаджибейский лиман и запечатлеть во плоти гвоздь выставки — Красного Будду. Причём Будда должен быть в женском обличье. Это — против всех канонов. Но тем лучше. Решено было ехать на следующей неделе.

Сказано — сделано. И ровно через неделю странная артистическая компания в составе Эркюля, Нивкинда, Вагана и Будды по имени Натали выдвинулась в сторону Чёрного моря, пляжей и лучших в стране виноградников.

Вместе с зарей над морем вставал Хаджибей, блистая на солнце не хуже беломраморных Афин времён Перикла с их портиками и пропилями. Солёный ветер норовил сорвать старомодную соломенную шляпу с удлинённой головы Вагана. Он придерживал её свободной рукой. В другой он имел архаичный саквояж. Нивкинд с Эркюлем ехали на легке. Будда катила вызывающе красный большущий пластмассовый чемодан. Никто не встречал их цветами. Только часы на фасаде торжественно прозвонили для вновь прибывших регулярную осанну. Хорош утренний Хаджибей. Кроток и свеж, как румяный отрок, ещё не познавший мук любви. Можно резво вскочить в маршрутку, и она повезёт тебя вдоль станций Фонтана к самой дальней и благоуханной 16-ой. Там можно будет, наконец, сойти, вдохнуть полной грудью целебный йодированный воздух, выдаваемый без рецепта, и ощутить себя немного счастливым.

Наши путешественники, однако, направили стопы в противоположном направлении — на улицу Еврейская. Там залётных гостей всегда ждал и стол, и кров. Неля, большая растрёпанная дама неопределённого бальзаковского возраста нисколько не удивилась, увидев на пороге

Нивкинда со товарищи, и немедля предложила им чай с вареньем. Друзья обпились чаем в поезде, поэтому вежливо отклонили предложение. До съёмки было ещё целых полдня. Они решили не терять зря времени. Ходить гуськом было глупо. Засим Ваган с Нивкиндоm отправились по шампанское. А Эркюль с Натали решили начать день с ритуального омовения. Благо пляж был под боком. Бдящие силы Понта Эвксинского приняли странников в свои белопенные объятия, окатив первой же волной с ног до головы.

Джордж тем временем участвовал в крупном поэтическом фестивале. По всему городу были расклеены модернистские афиши. На них весело подпрыгивали разноцветные букочки, обещавшие зрителям различные приятности и небо в алмазах. Ну что ещё, как ни поэзия, может предложить скучающей примерно с 1970 года публике новое изысканное и недорогое блюдо? Разве что новый майдан. Значит, нужно брать руки в ноги и отправляться на заветное свидание с классиками центона, силлабики и верлибра. Ей богу, посмотреть было на кого. Все флаги к нам в гости. Мэтры всех калибров, поколений, званий и рангов. Заправила — деятель искусств, известный по обе стороны Атлантического и Индийского океанов, скромно держится в тени. Могучий дружеский и коммерческий ресурс помогает поднимать немислимые со времён стадионной поэзии веса. И он не только поднимает, но и удерживает их подобно мифическому Антею. Джордж трепетно пожимал руки не узнающим его корифеям. Вот Грицман, а вон там с неременной рюмочкой милейший Кенжеев. За несколько дней творческой вакханалии Джордж увидал весь спектр, весь рассадник новейших дантов. До положения риз он упился чарующими билингвальными звуками. Ему самому ещё только предстояло выступить на этом духовном пиру. С самого утра он бубнил про себя никак не хотевшие запоминаться строки из новой ботаничес-

кой поэмы. А по бумажке читать не приличествовало. Но он сдюжил. Вызубрил свежий, с пылу с жару текст. Выступить предстояло не в помещении, а на весёлой лужайке, что являлось одновременной отсылкой как к славянским весенним таинствам, так и к новоиспечённым звёздно-полосатым практикам. Щеки Жорика пылали. Уши тоже. Должно быть, его кто-то усиленно вспоминал. Возможно, Тина или иная неизвестная нам женщина. Скорее всего, однако, это был Эркуль, мучавшийся битый час на жаре и проклинавший пыльные марсианские ландшафты Куяльницкого лимана. Зрителей было немного. Вот мелькнули знакомые физиономии — здесь «Новый Одиссей» в полном составе — редактор, проф. Морковин, Моцарт, Эрзянская и даже та самая волоокая дама об руку с кучерявым прозаиком.

Джордж читает народу наивные стихи с метафизической прожилкой. Публика рукоплещет.

Ты пришла со мною в сад
с поволокой, с резедою.
В небе солнце молодое,
Птиц таинственный надсад.
Берег моря заревой,
Жизни свежая рубашка.
После Первой мировой
стала красною ромашка.

А в это время на далёких югах Ваган чудесным образом избегает падения штукатурки. Этот забавный и небезопасный инцидент происходит в то время, когда вся компания располагается в гостиной для послеобеденного отдыха. В руках бокалы с местным красненьким. Ваган было облюбовывает местечко на диване возле окна. Но вдруг, движимый непостижимым порывом, он внезапно пересаживается на стул. Через полчаса весомый кусок отслоившейся

дранки падает в аккурат на его диванчик. Ваган нервно смеётся и во всем винит черноглазую Нелли. Друзья же удивляются Вагановской гениальной интуиции. Будда запечатлён(а) на цифру и плёнку в лучшем виде. Образность зашкаливает. Девушка в красном коктейльном платье стоит по колена в мутной воде лимана. В руках у неё два воздушных шарика, неестественно зависших в воздухе параллельно друг другу. На такое произведение фотоискусства хочется искренне медитировать. Интересно, на каком кладбище (уж не на Ваганьковском ли) покоятся бранные останки Вагана, человека с золотым сердцем.

Скрыпит Русь, как избушка на курьих ножках. Приказывают ей разные Иваны стать к лесу задом, вот она и становится. И баба Яга уже не та. Нету в ней прежней мочи. Между навью и правью закрылась дверка. Остаётся горевать черными беззвёздными ночами, уповая на нового могучего героя. Да где ш сыщешь таво героя?

А Герой наш гуляет, купается в море, приударяет за Буддой-Натали. Ох, и огонь-девка. Кровь с молоком. А кость у ней тонкая, как он любит. Ножки стройные, точно у лани. Чувствует он, что и ей волнительно. А подобраться ближе не может. Преграда какая-то возникает невидимая в последний момент. Подпоить бы её, да не винишком, а крепкой степной бормотухой. Чтобы вылетели, как пробки из бутылки, все эти «нет», да «не сейчас». А времени-то в обрез. Скоро нужно возвращаться каждому в своё стойло. Гуляет Коблево, гуляют Болград, Арциз и Татарбунары. Ещё есть времечко. Не скоро полетят ракеты на святую Русь, запылают города, завоюют сирены. Гуляй, дитятко, пока воля. Придёт суровая година — восплачешь тогда, обольёшься горючими слезами, заплачешь, как лебедь белая, крылами! Да будет поздно...

Помимо многочисленных стихов, Джордж начал писать роман. Он сам про себя говорит: «Я совок обыкновенный». И в этом есть какой-то парадокс. Бывшие коммунисты, НКВДисты, разные профсоюзные деятели, правнуки пламенных ленинцев, троцкистов и бухаринцев, методично уничтожавшие Россию на протяжении последних сто лет, бесшовно перешли на новые экономические рельсы, и, беззастенчиво грабастая, трескают за обе щеки. А такие, как Джордж, чья семья жутко пострадала в чистках, блокадах, горячих и холодных войнах, продолжают питать тёплые чувства к своей бывшей стране-мучительнице. Разрешить это противоречие на трезвую голову никак не удаётся. И вот сидит такой Джордж, ободранный, как липка, пятью поколениями красных министров и матросов, и сочиняет роман о новом светлом будущем, в котором пошлый Питер опять становится Ленинградом. Ну, никак не вяжется у него апостольское имя с новыми управителями, дающими фору любому дикому Ивану, хоть Калите, хоть Грозному. На страницах романа, названия которому он ещё не придумал, действуют новые Советы, честно сформированные в результате многоступенчатых (начиная с микрорайонных) выборов. Неподкупные милиционеры и судьи близки к тому, чтобы искоренить воровство и коррупцию. Моральный кодекс строителей органично вбирает в себя заповеди Нового и даже Ветхого завета. Целомудренные девы ждут своих возмужавших суженых из армии нового типа. И так далее. Сам-то он в глубине души хоть понимает, насколько наивен описываемый им порядок? Возможно. И все же он продолжает упорствовать в своей блаженной маниловщине. Идеи эти находят понимание только у старенькой матушки. Это его потолок.

Ещё одним увлечением Джорджа была научная фантастика. Он с удовольствием выписал на листочек и периодически проглядывал список инопланетных артефак-

тов из повести Стругацких «Пикник на обочине». Вот «пустышка», состоящая из двух медных дисков, соединённых таинственной силой. «Браслет» выпрямляет пространство вокруг себя. «Этак» — вечная батарейка. «Шевелящийся магнит». «Смерть-лампа». «Рачьи глаза» позволяют видеть прошлое. «Зуду» чувствуют собаки. Попадающий в «чёрные брызги» пучок света выходит с задержкой. «Газированная глина», «гремучие салфетки», «сучьи погребушки» — только упоминаются.

И, наконец, знаменитый «Золотой шар», к которому шли за исполнением самых сокровенных желаний. Интересно, что бы загадал Джордж, доведись ему оказаться перед таким шаром? Бессмертие? Счастье? У каждого ведь оно разное.

«Но Солон сказал: “После Телла самые счастливые — Клеобис и Битон”. Родом из Аргоса, они не только были людьми зажиточными, но и отличались большой телесной силой. Оба были победителями атлетических состязаний. На их родине одним из самых популярных праздников является праздник Геры Аргосской. Их мать, жрицу Геры, полагалось привезти на повозке в святилище богини. Однако быки братьев не успели вернуться с поля. Медлить было нельзя, начинались торжества, и юноши сами впряглись в ярмо и потащили повозку, в которой ехала их мать. 45 стадий пробежали они и вовремя прибыли в святилище. После этого подвига, совершенного на глазах у всех собравшихся, им суждена была прекрасная кончина. Так великая Богиня дала понять, что смерть иной раз бывает лучше, чем жизнь. А произошло это так: аргосцы, обступив юношей, восхваляли их силу, а женщины — их мать за счастье иметь таких сыновей. Мать, возрадовавшись подвигу сыновей и сладким речам народа, стала молить Богиню даровать её сыновьям Клеобису и Битону, оказавшим столь великий почёт Гере, высшее благо, доступное людям. И Гера ответила на эту мольбу весьма свое-

образно. После жертвоприношений и пиршеств юноши заснули в святилище и уже никогда больше не встали. Ибо именно там нашли свою кончину. Тогда аргосцы велели воздвигнуть юношам статуи и посвятить эту статую Дельфийскому Храму за то, что последние проявили высшую доблесть».

(Геродот «Истории»)

Вспоминал ли Герой Тину на юге? Нет. Но вот он вернулся. И сразу вспомнил. Летний Киев обдал его асфальтовым сладострастным паром. Есть отношения и отношения. Бывает, что любят, бывает, что женятся, а то и просто совокупаются. Эркюль не решил ещё, какую модель поведения выбрать. Да и Тина — не резиновая женщина, имеет право голоса. И все же с ней он чувствовал себя абсолютным королём положения. Часто с женщинами он бывал робок. Мы уже об этом говорили. С иными играл роль интеллигента. И в этой роли он был убедителен. В данном случае он чувствовал своё психологическое превосходство и мечтал этим поскорее воспользоваться. Из маменькиного сынка с Тиной он превращался в опасного блистательного хлюста.

— Алло, узнала? Хочу встретиться. Не можешь сегодня? Отказов не принимаю. А вечером? Хорошо, заеду за тобой в восемь. Напомни адрес.

Они отправились в «Арену» — известное злачное место довоенного Киева. Сидели допоздна на открытой веранде, пили коктейли. Тина была хороша — короткое платье подчёркивало фигуру, лёгкий летний макияж, лучистый флёр молодости. Разговор о том о сем тек непринуждённо. И то, что начиналось, как фейерверк страсти, на глазах переходил в иную, более дружелюбную плоскость. Голова у Героя кружилась, ему было весело.

— Пошли танцевать!

Он накинул ей на плечи свой фиолетовый бархатный пиджак. Они поднялись на лифте на третий этаж и окунулись в атмосферу дорогого ночного заведения. Эркюль не стушевался. Он умел себя вести в таких местах, да и бюджет позволял не считать копейки. Ещё по коктейлю. Пульсирующий ритм вводил в транс. Тина прекрасно двигалась. Мужчины смотрели на неё масляными глазами, но она не давала ни малейшего повода ревновать. Вечер запомнился. Наутро он с удовольствием перебирал в памяти яркие моменты их ночных походов. Завязывающийся роман грозил поглотить их с головой.

Глава 4. Век-кабысдох

Впрочем, шпак не один прибежал, выкатилась целая орава дворняжек, все эти трезорки, бутоны, кабысдохи, милки и ремзочки, и та, что вовсе без имени.

(Г. Н. Владимов, «Верный Руслан»)

Джордж записывал стихи в мятую тетрадь.

Сумятица в расхристанных полях.
Жуки и бабочки, как заполошные,
Летают, ползают в нечёсанных ветвях,
Ничуть не думая о прошлом.
Им, глупеньким, конечно, невдомёк,
Что значит осень, синяя пороша,
Тулуп овчинный, кирзовый сапог —
Точнее, его твёрдая подошва.

Пока у Тины намечался бурный роман с его другом, он занимался тем, что изредка пописывал, а в основном, бил баклуши. Il dolce far niente, как говорят итальянцы. Искусство осознанного пребывания в настоящем, получения удовольствия. А по-русски — просто лень. Нивкиндродировал его, сочиняя забавные короткие рассказы о неко-

ем поэте-недотёпе, который, впрочем, был «повсеградно оэкранен и повсесердно утверждён» в отличие от самого Джорджа.

Катерина чувствовала нарастающее отчуждение. Но сделать ничего не могла. Эркюль не отзывался на ласки, почти не звонил. Она была полной противоположностью так называемым стервам и старалась в первую очередь искать соринку в своём глазу. Бедная детка. Иногда лучше прямо посмотреть правде в глаза. А правда заключалась в том, что Герой никогда не любил свою героиню.

И вот она записалась на приём к психологу. Психолог с порога заявила, что у Катерины наличествует синдром виктимного (жертвенного) поведения. Учёные рассматривают «подчинённость» и «нарушенные отношения» как проявление болезненной зависимости и дисфункциональной модели семьи. Звучало мудро и наукообразно, но Катерина поняла, о чем идёт речь.

Психолог стала расспрашивать, не поднимает ли Эркюль на неё руку, и сказала, что домашнее насилие может принимать формы физического, сексуального, экономического и психологического унижения. Мужчина не редко опускается до дискриминации, угроз и репрессий. На самом деле домашнее насилие — это механизмы власти и контроля.

Затем психолог упомянула Эрика Берна, который ещё в 60-е годы показал, что все многообразие ролей, лежащее в основе «игр, в которые играют люди», может быть сведено к трём основным — Спасателя, Преследователя и Жертвы. Треугольник, в который объединяются эти роли, символизирует их связь, постоянную смену. Для женщины характерна идентификация себя с позицией Жертвы, в

данной роли легче не брать на себя ответственность за свои поступки и решения. Преследователь считает, что во всем виновата Жертва, о чем он и сообщает либо ей, либо Спасателю. Жертва испытывает страх быть брошенной, страх, что случится самое худшее. В своих проблемах она винит Преследователя, который «заставляет» её страдать и искать Спасателя. Если удаётся найти такового, то Жертва сама превращается в Преследователя. Жертвы домашнего насилия склонны испытывать чувство вины и одиночества. У них низкая самооценка.

Беседа длилась больше часа. Но она того стоила. Катерина отказалась от дальнейших консультаций, курсов аутотренинга и помощи волонтеров. Из беседы она сделала два вывода. Во-первых, бывают отношения намного более абьюзивные и страшные, чем у них с Эркюлем. На фоне домашних монстров он сущий ангел. Во-вторых, она не готова, несмотря на всю свою мягкотелость, играть роль жертвы. И ей срочно нужен был Спасатель!

Редактору Фомичёву нравилась писательница Элла Эзрянская. Элла была тонкая понимающая натура. Добавим эти чисто платонические отношения в нашу копилку архетипов. В последнее предковидное греховодное лето они подолгу бродили по Подолу, засиживались в английском кафе, где подают Эрл Грей и пудинг, обсуждали альманах, последние новости. Взгляд её больших, всегда как будто немного удивлённых глаз подолгу задерживался на нем. Ему становилось неловко, и он начинал приглаживать вихры, одёргивать футболку. В её глазах читался вопрос: «Почему мы ещё не в постели?» Ответа, как и на большинство других вопросов, у него не было. *C'est la vie.*

В глубинах подсознания плавают рыбка большая и маленькая, ускользя от прожекторов психоанализа. Синие киты выбрасывают в небеса хрустальные фонтаны, ко-

люшка сбивается в серебристые косяки. Дельфины играют на волне, щелкают и клеочут, будто смеются. Просто у них сегодня хорошее настроение.

Альманах жил своей жизнью. По мысли Бродского сам язык диктует поэту, что и как писать. Так и альманах брал бразды правления в свои невидимые руки, отфутболивал тексты, определял редакционную политику: «Принимайте эпические тексты. Даже детский стишок может быть двоюродным братом бессмертного гекзаметра». Редактор прислушивался к внутреннему голосу, не всегда совпадавшему с голосом разума.

Джордж тоже подпал под магнетическое обаяние Эзрянской и бессонной ночью накропал что-то вроде:

Твоих плеч сюрреален изгиб.
Миру — мир! Дезертиру — гип-гип!
Морю — мор! Корабельный причал
Мою жизнь, как дитя, укачал.

Про дезертиров вышло пророчески.

Друзья собрались пожарить шашлыки на Замковой горе (древнее название Хоревица). Здесь, видимо, имел свой посад один из трёх легендарных братьев с неславянским именем Хорив. Накануне соляных праздников тут можно встретить одиноких неоязычников, справляющих свои скромные требы на импровизированном капище. В остальном гора пустынна и, как бы это лучше выразиться — неприветлива. Возможно, ещё одно её былое название — Лысая. В Киеве таких множество.

Делать шашлыки, естественно, поручили Вагану, как человеку восточному. Однако Ваган, к несчастью, шашлык делать не умел, но все-таки взялся за это ответственное

дело, от которого зависел успех всего мероприятия. Нарезать помидоры он поручил Нивкинду. Но когда последний стал крошить помидоры в мясо, Ваган взвился и со словами «это тебе не борщ» взял все хлопоты на себя. Шашлык получился отменный. Потом компания долго гуляла по Подолу. Завидев церковь (а их на Подоле немало), он бухался на колени и начинал истово креститься, невзирая на прохожих.

Повествование в конце запутывается. Герой, Джордж, Катерина, Тина, Нивкинд, Ваган, проф. Морковин и даже волоокая дама с тонкими чувственными губами уже вышли на авансцену. Недавно нашего полку прибыло. Активизировался редактор Фомичёв. Что же их ждёт дальше? Подобно плодовым мушкам-дрозофилам, которые живут пару месяцев, наши страдальцы радуются и горюют, жарят шашлыки на Лысой горе и делятся сокровенным. Что же их объединяет? Будущая война. Она никого не щадит и грозно, неумолимо надвигается. Но актёры этой оперетты о ней ещё не слыхивали. Годами дымит Донецк, рвутся бомбы, снаряды. Однако все это остаётся где-то там за горизонтом, за гранью добра и зла. Кто мог помыслить, что однажды ракеты будут бить по центру Киева? Сочли бы за сумасшедшего, и дело с концом.

Герой увлёкся автоспортом. Несколько лет назад он познакомился с Шумахером, автогонщиком на пенсии. Он давал частные уроки экстремальной езды. По выходным они встречались на маленьком автодроме в районе Теремков. Сначала Шумахер заставлял Эркюля просто крутить руль на скорость. Оказывается, в аварийных ситуациях, на скользкой дороге этот навык может ох, как пригодиться. И действительно, позже умение выходить из заноса спасло Эркюля, чуть было не съехавшего в кювет на обледеневшей Николаевской трассе. Пока же он крутил баранку, пытался вписаться в траектории, обозна-

ченые оранжевыми пластмассовыми кеглями, учился плавно переключать скорость и учитывать динамическую массу автомобиля.

Джордж смотрит старое кино.

По заснеженным улицам в трамвае едет драматург. Он спешит в театр, волнуясь о своей новой пьесе «Понтий Пилат». Как её воспримет театральное руководство? Возможно, мысли драматурга о помощи были услышаны — в трамвае ниоткуда возникает пожилой господин с тростью, увенчанной головой демона.

Так встречаются Мастер (У. Тоньяцци) и Воланд (А. Кюни) в картине А.Петровича «Мастер и Маргарита». Конечно же, не все поклонники М. Булгакова могут принять эту самую раннюю киноверсию романа. Но необходимо учесть, что картина была поставлена в начале 70-х годов по сокращённой версии романа, опубликованной в журнале «Москва», где не было, например, сцен на балу у Сатаны.

Режиссёр А. Петрович достаточно вольно обращается с текстом Булгакова, соединяя воедино «Театральный роман» и «Мастера и Маргариту». Поэтому главный герой фильма не безымянный Мастер, а театральный драматург Николай Максудов. В исполнении Уго Тоньяцци он предстаёт человеком измученным, усталым, но храбрым и не сдающимся, смело противостоящем системе. Драматург входит в театр. За ним в вестибюль проникает изящная женщина с цветами, влюблённо смотрящая вслед талантливому Мастеру. Это Маргарита. В великолепном исполнении Мимси Фармер это преданная, самоотверженная женщина, любящая и готовая на все ради любви. За один только взгляд, полный теплоты и нежности, брошенный вслед Мастеру, актрисе можно было бы дать приз. Одна

из удач фильма — образ Воланда, сыгранный знаменитым актёром Аленом Кюни, игравшем у Феллини, Бунюэля, Антониони, Годара.

В фильме звучит чудесная музыка Эннио Морриконе, а также отрывки из сочинений советских композиторов разных лет (можно услышать даже марш И.Дунаевского). В финале Максудов умирает в сумасшедшем доме.

Фильм понравился. Он далёк от российских эталонных экранизаций. И все же он хорош. Он другой. Ну, очень большие, но вчера. Тебя ни на миг не покидает чувство, что, несмотря на кадры заснеженной Москвы и православные храмы, сейчас герои выйдут к фонтану Треви, и Анита Экберг начнёт своё омовение.

А что же любовный треугольник? Джордж пребывает в счастливом неведении. А Герой и Тина встречаются слишком открыто, и за его предупредительным поведением сквозит неподдельное чувство. Теперь Эркуль, а не Жоржик встречает Тину после работы, и они бродят по дорожкам Эдемского ботанического сада, слушают колокольные звоны Ионинского монастыря, любуются хризантемами, кормят приبلудного кабысдоха, поселившегося возле храма. Морда его полностью заросла плотной шерстью, и, кажется, он живёт теперь одним нюхом.

Уходят к югу эшелоны,
Стучат по комсомольским рельсам.
Все глуше голос монотонный.
Жара по Кельвину и Цельсию.

Жил да был на свете один писатель (не слишком ли много для одного повествования?). Друзья прозвали его «добрым волшебником» за немного сказочную внешность

и тягу к собиранию сувениров и прочих меморабиллий. Его дом в Берегово напоминал одновременно музей и жилище современного алхимика. Джордж любил потолковать с Волшебником о том, о сем, посудачить, обсудить последние новости и общие вопросы устройства мироздания. Волшебник любил Булгакова, и Джордж с удовольствием делился впечатлениями о недавно просмотренном фильме 1972 года.

Зашёл как-то у них разговор о «Золотом Телёнке». Волшебник и говорит, мол, не писали его Ильф и Петров. И «12 стульев» не писали. «А кто ж тогда? — вопрошает Джордж, — Неужто Катаев?». «Нет, — говорит Волшебник, — Булгаков». Да, Джордж уже встречал где-то эту малоубедительную версию. Ну и Шолохова тогда давай вспоминать. А как насчёт Пастернака?

Сомнения в авторстве Пастернака якобы появились сразу после публикации романа «Доктор Живаго» в Италии. Прошёл слух, что Пастернак получил рукопись неоконченного романа, изъятую при аресте Юрия Юркуна. Роман написан под впечатлением от «Жизни Климса Самгина». Авторство стихов из романа Мулата, впрочем, никогда не оспаривалось.

Юркун примыкал к возглавляемой Кузминым группе эмоционалистов, дружил с Бенедиктом Лившицем, Леонидом Каннегисером. Часто бывал с Кузминым в кафе «Бродячая собака» и «Привал комедиантов».

Нежная дружба с Кузминым не помешала Юркуну оформить отношения с Ольгой Арбениной, за сердце которой спорили также Гумилёв и Мандельштам. Мандельштам посвятил ей цикл любовных стихотворений: «Мне жалко, что теперь зима», «Возьми на радость». В

1918 году Юркун привлекался к следствию по делу об убийстве Урицкого. Кузмин упоминает о его аресте и долгом заточении в «казармах на затонном взморье». В 1931 году после очередного обыска Юркун становится осведомителем ГПУ. Кузмин встречался с В. Менжинским, давним знакомым по литературной молодости и просил, чтобы с Юркуна сняли обязанности осведомителя. За него также хлопотала Лиля Брик. Но заведённые дела, как известно, не горят.

Он был вновь арестован в 1938 году по «ленинградскому писательскому делу». Ранее были арестованы также Бенедикт Лившиц, Стенич и Зоргенфрей. Все четверо были приговорены к расстрелу. Весь архив Юркуна таинственным образом исчез.

Нужно просто идти. Как Джонни Уолкер. Раньше он ходил вверх-вниз по Глубочицкой, когда посещал Катерину. Теперь путь усложнился. Герой тащится, как крымско-татарская арба, по Межигорской, обливаясь потом. Минует теннисные корты, станцию метро. Ему нужно свернуть на Электриков. Дальше предстоит пересечь железнодорожные пути по пешеходному мосту. И вот он уже на Петровке. А теперь все время вверх до Героев Сталинграда. Как, его ещё не переименовали? И вот Оболонская набережная. Мэр разбил в старом урочище новые сады. Он ещё помнил времена, когда здесь вместо новостроек белел речной песок. Затон с июня затягивает зелёная ряска. По ночам по железнодорожному мосту гулко грохочут товарные поезда. Старый киевлянин долго глядит в потолок, мучимый бессонницей. Слушает ночные скрежеты и стоны. Выходит покурить на веранду. Сереет предрассветное небо. В заводах квакает лягушенция. Бычок летит вниз, разбрасывая на лету последние искорки.

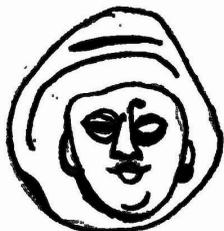
Тина теперь любит Героя. Или ей это кажется. Она гладит его по жёсткой вихрастой шевелюре. Что будет с ними дальше?

- Нужно все рассказать Джорджу.
- Думаешь, он до сих пор не догадывается?
- Нет. Вижу по глазам.
- Телёнок.
- Ласковое теля двух маток сосёт.
- Ничего он не сосёт.

Оба хохочут. Тяжёлые мысли покидают дурные головы. Любовники начинают целоваться.

Город будущего прекрасен:
Белопенные блюда-стены.
Безупречные люди в сером
И заржавленные баркасы.
Может быть, это ад крошечный,
И романтики не осталось.
Мы бесполы, вольны, безгрешны.
Ты всем телом ко мне прижалась.

(Продолжение в сл. номере)



ЭССЕИСТИКА



Дмитрий БОБЫШЕВ

(Шампейн, Иллинойс)

ЭЗРА ПАУНД¹

О справедливости,
переходящей в несправедливость

Меня давно интересовала призрачная, даже как бы несуществующая фигура гения англоязычной поэзии XX века Эзры Паунда. Долгое время это имя зияло отсутствием в славном перечне корифеев своей эпохи, но его фантом всё же отбрасывал тень, от которой несколько меркли сияющие ореолы классиков и лауреатов. Это лишь разогревало моё любопытство, но мои собственные попытки разгадать истинное положение дел были безуспешными. Казалось бы — возьми в библиотеке подлинный текст и читай, но не тут-то было. Нет, читать по-английски я как-никак научился ещё со школы (тогда, впрочем, со словарём), да ещё проживая полжизни в англоязычном окружении, выступая с лекциями перед американскими студентами или переводя на русский стихи здешних поэтов,

¹ Мы решили разместить в 6-м номере «Нового Гильгамеша» эссе Дмитрия Бобышева о поэзии Эзры Паунда, несмотря на то что оно уже было сравнительно недавно опубликовано на страницах одного известного журнала. На то есть веские причины. Замысел «Нового Гильгамеша» рождался в начале 2010-х. Рождался постепенно, не в родовых муках, конечно, но и не без некоторых колебаний. Если же существует сторонний текст, максимально проникнутый «гильгамешевским» духом и не имеющий притом никакого к нему прямого отношения, то это несомненно данный опус Дмитрия Васильевича. Автор настолько глубоко проникает в эфемерные материи, что только диву даешься. *А. Гущин*

но... Признаюсь, что красоту слога во всех нюансах я не улавливал и она меня, наверное, уже никогда не проймёт, так что умильной читательской слезы я не пролью на страницу с латинским шрифтом. Правда, высшую красу (а она и есть поэзия) я пытался по-своему додумывать и до-вообразать, и это порой удавалось.

Конечно, основную помощь оказывали переводы и переводчики, но не просто «почтовые лошади просвещения», каковыми их считал А.С. Пушкин, а истинные артисты словесности, — и не только Пастернак и Цветаева, а и такие, как, например, С. Петров (переводы из Рильке) или А. Сергеев (переводы из Фроста и Элиота). Но насчёт Паунда всё было иначе, — из-за пугающей репутации его долго обходили вниманием, издатели осторожничали, и я впервые познакомился с большой порцией переводов из «Кантос» в рукописи, любезно присланной мне Яном Пробштейном. И всё-таки это чтение не открыло мне глаза на таинственное явление. Нет, Ян оказался хорошим переводчиком, но моим путеводителем по Паунду он не стал.

И вдруг по почте мне пришёл пакет размером и весом с кирпич. Там оказалась 940-страничная книга Эзры Паунда «Кантос» в переводах Андрея Бронникова с его же вступлением, комментариями и примечаниями, изданная в издательстве «Наука» (СПб, 2018). Это был истинный сюрприз, подарок от незнакомца. В том же пакете находилась и гораздо более тонкая книга стихов Андрея Бронникова «Исчезающий вид», изящно изданная во «Владимире Дале» там же в Петербурге в 2016-м. Я открыл её первой:

Любимая, мы сплетаем объятия,
как ветви в садах Эдема.
Травы нас укрывают. Птицы в кронах наших деревьев.
День, как храм золотой, — посредине реки.
Наверху, незаметный, как ангел, самолетик спешит,

за собой оставляя крест Св. Андрея в полнеба.
Облака проплывают, словно время уносит их.
Жизнь струится в нас тёплой тайной.
Мир поет нам дивную песню.
Освещенные солнцем, боги смотрят на нас,
улыбаясь нам сквозь облака.

И я исполнился доверием к перу этого автора — поэта и переводчика. И когда открыл том «Кантос», это уже был Паунд, и я окунулся в его поэтическую безбрежность, о которой давно мечтал. И...

И мы спустились к кораблю,
Столкнули его в пену вод, в божественное море,
И мачту подняли, и парус на чернобоком этом корабле,
Баранов затащили и тела свои, тяжёлые от горя,
И парус наш раздул и подхватил,
И вынес наш корабль в море
Попутный ветер, дар Цирцеи, богини златокудрой.
Уселись там, а ветер заправлял кормилом,
И с парусом тугим так шли, пока не кончился наш день.

Некоторые из моих немых вопрошаний о том, что такое красота и сила поэзии Эзры Паунда, стали получать ответы. Первый ответ — это живая, как часть современности, древность. Второй — это свежесть образов, словно тот самый тысячелетней давности ветер плеснул мне в лицо брызгами с Эгейского моря. Третий — времени нет, есть вечность, колеблемая, как море, где все времена существуют в огромном — на века и тысячелетия — СЕЙЧАС.

Перебранки эллинских богинь, походы brave италийского предводителя Сиджизмондо Малатесты переданы так живо, что становятся зримыми в актуальном времени, а реестры солдатских и финансовых ресурсов, «не подлежащих изъятию», изложены так веско и убедительно, как если бы они требовали от читателя финансовых

поборов сейчас и незамедлительно! При этом поступь свободного стиха, исполненного достоинства и благородства, превращает эту прозу в поэзию.

Венеция платила мне
7000 флоринов, раз в месяц, florini di Camera,
и было там 2000 лошадей, четыреста солдат,
и дождь как из ведра.
И выкопали новый ров мы
за три или четыре дня,
установили там бомбарды.

И перья, пух, раскрашенная вата
с балконов вниз летели,
полотнища из окон всех свисали,
на них — узоры из ветвей и листьев,
и гобелены на оградах. Из пыли появились вдруг
лошадки белые с фазаньими хвостами,
вплетёнными в их холки,
двенадцать юных всадниц в зелёных кринолинах из атласа,
под балдахином серебром расшитым —
сам Сфорца с Бьянкою Висконти —
сын крестьянки с герцогиней.
Отправились они на юг, войной на Римини,
стащили корабли с песка, в устье реки подняли паруса
и пару дней там прятались и предавались
всем удовольствиям рыбалки, «la pesca»,
Godeva molto для Франческо,
пока война была на юге.

В этом отрывке итальянские вкрапления в текст органичны, их и переводить не надо, только произносить, но они не единственны. Латинские, французские, греческие изречения, китайские иероглифы пестрят в других главах, и они так же органичны содержанию эпоса. Батальные эпизоды, энергичные жесты, порой незатейливые шутки и возгласы героев различных эпох и цивилиза-

ций сменяются столь же детальными натуралистическими сценами, — это уже Ад мирового зла с описаниями похлеще дантовских, я даже не рискну их здесь продемонстрировать. Алчные английские банки чередуются с мудрыми китайскими императорами, а конфуцианские поучения — с лозунгами великих революций, Американской и Русской, и чего только нет в этом шуме земной жизни: чествования и казни, политэкономия и статистика, идиллия и сатира... Как могла такая гремучая смесь помещаться в одной, пусть даже сверхгениальной голове, и при этом не повредить каких-то основ, вроде здравого смысла и категорических императивов?

Поэт — это певец, и он тоже начинается с голоса, как оперные баритон или тенор, но это не только акустика. Голос поэта — это свежесть, новизна словаря, своя интонация, крупность и смелость мысли. И всё-таки звучание тоже. И — вот что я даже скажу: когда слушаешь «Американский час» — запись пропагандистских выступлений Эзры Паунда 40-х годов по фашистскому Radio Rome, содержание отступает на второй план. Первое, что слышишь — это голос, это красота речи с необычно твёрдым для английского языка рокочущим «R», его волнующие вибрации, сдержанная сила слов и почти неопровержимая «правота» поэта и гения. Но как раз в этот миг у слушателя включается собственный голос разума, и он опоминается: какая же это правота? Весь мир воюет с фашизмом, Америка помогает Англии и России в страшной схватке с Германией и ведёт ещё одну войну с Японией, а он убеждает родную страну не вмешиваться! В Европе-де вся вина за кровь лежит на финансовых спекулянтах-процентщиках, а в Москве находится другое кровавое гнездо. Можно предположить, что эта пропаганда находила единомышленников среди слушателей, очарованных — если не самим ораторством, то поэтическим авторитетом Эзры.

УЗУРА: грех против природы.
С УЗУРОЙ не будет ни гор из зерна, ни помола,
хлеб станет твёрже, чем камень
и суше бумаги,
а линия станет жирной и грубой,
и ничего ей уже не разделишь,
и человек не найдет себе места —
каменотёса не допустят до камня,
ткача не допустят к станку.
С УЗУРОЙ шерсть не свезут на рынок,
с УЗУРОЙ овца не приносит дохода,
и скот вымирает, и замирает игла в руках девы,
и прялка не крутится больше,
ни Пьетро Ломбардо, ни Дуччо,
ни Пьеро делла Франческа
не встретишь ты там, где УЗУРА
(Джованни Беллини там не бывает тоже)...
Резец ржавеет с УЗУРОЙ. Уменье ржавеет,
и навык теряет умелец.
УЗУРА сгрызает нить в ткацком станке,
с УЗУРОЙ швея забывает, как золотом шить,
лазурь покрывается язвами там, где УЗУРА,
кармазинная ткань остаётся без глади,
а цвет изумрудный тоскует по Мемлингу.
УЗУРА умерщвляет дитя в утробе,
УЗУРА отвращает влюблённого,
УЗУРА укладывает в постель безразличие
и ложится сама меж женихом и невестой
CONTRA NATURAM.

Первопричина мирового зла живописуется как мифический образ, зовомый зловещим именем УЗУРА (под таким неологизмом подразумеваются *проценты*, барыши с денежных махинаций), и поэт стоит на стороне тех, кто с этим чудовищем сражается. Гений и злодейство, гений и безумие оказываются очень даже «совместны». Возможно, УЗУРА и есть точка их совмещения в его сознании. Но

не остаётся ли в этом диком сочетании какая-то надмирная логика? Может быть, это и есть то самое «величие замысла», которое когда-то провозглашал как «главное» один из моих былых приятелей, достигший в своей краткой жизни великих почестей? Почему же тогда он отказался встретиться в Венеции с Ольгой Радж, *alter ego* умершего поэта, с которым ему в дальнейшем предстояло коротать вечность рядом, на кладбище Сан-Микеле? Догадываюсь, что для него она была лишь *alter ego* фашиста...

Но политическая и моральная справедливость (в кавычках и без) в случае Паунда стала причиной несправедливости по отношению к его литературной судьбе. В связи с этим я припоминаю знаменательный разговор, который случился у меня где-то в начале 80-х с Алексисом Раннитом в Филадельфии, в кулуарах конференции славистов. Раннит, эстонско-русский поэт и эмигрант второй волны, однажды выдвинутый на Нобелевскую премию, был признанным арбитром в поэзии, хотя той премии и не получил. Он поделился со мной своими представлениями о современной мировой поэзии, об идейных и вкусовых смещениях, в ней произошедших. Способ его мышления был поэтический, образный и при этом очень общий, даже всеохватный. В этой картине он видел два противоборствующих музыкальных ключа, или две разных тональности, образующих с одной стороны ВЛАЖНУЮ поэзию (то есть горячую, устремлённо-патетическую, красочную), а с другой — СУХУЮ, холодно-ироническую, аналитическую поэзию. Сейчас бы сказали — два тренда. Первый был представлен Эзрой Паундом, второй — Томасом Элиотом, а за ними подразумевались, конечно, целые орды поэтов, тяготеющих к тому или другому образцу. Но после Второй Мировой войны в литературу вмешалась справедливость победителей, один основоположник был посажен в клетку, а другой стал лауреатом, в результате чего СУХАЯ ПО-

ЭЗИЯ односторонне превалировала, став основным принципом, и на 50 лет, как считал мой собеседник, в ней воцарилась этическая справедливость в ущерб эстетической.

Подход по одному лишь признаку к такому явлению, как ВСЯ ПОЭЗИЯ европейского мира — да ещё за целое столетие — был явно субъективным и узким, но я понял, что имел в виду Раннит. Действительно, вкусовые предпочтения наших современников тяготели к эстетике «Бесплодной земли», главному произведению лауреата, при этом они с предубеждением (явно внелитературным) отворачивались от эпоса «Кантос». В сущности, всё сводилось к конфликту между этикой и эстетикой — что важнее в искусстве?

Интересно заметить, что смолоду оба мастера были дружны, и особо знаменательно было то, что Элиот посвятил свою поэму Паунду как «более высокому мастеру». Более того, оба шедевра имеют схожую поэтику — свободный стих, эклектическую образность, контрастное сочетание высокого и низкого, вторжение иноязычных цитат. Но тональность отличалась разительно.

Образы разрушения, одичания, заброшенности и опустошения в шедевре Элиота как нельзя лучше соответствовали шоковому состоянию Европы и европейцев после Первой Мировой войны. Прежний быт оказался взорван, современность перемешалась с мифологией. Кладбищенские образы, безрадостные сюжеты и пейзажи поэмы отражали, по-видимому, внутренний мир автора, пейзаж его души, и это находило отклик у современников.

Образы Паунда полны движения, они в борьбе, в пути, в устремлённости. Единый заряд энергии единит все разнородные эпизоды из, казалось бы, несоединимых эпох и культур в целостный эпос, в мощный поток сил, поход, или Quest, направленный к достижению великой це-

ли... Но — какой именно цели? Отчасти это гомерическое возвращение Одиссея домой, отчасти — дантовское погружение в Ад и Чистилище с последующими порывами к Свету. Нет, это явно не христианские устремления к свету божественной Истины, не поиски Святого Грааля, но, разумеется, и не визит Родиона Раскольникова с топором к *процентщице*... Впрочем, почему «разумеется»? Поэма осталась незакончена, и — кто знает, что имел в виду разбушевавшийся поэт? И какие намерения были у исследователя и переводчика Андрея Бронникова, взявшегося за такую огромную работу? Вот что он написал в ответ:

«...Хотелось бы сказать о появлении на русском языке этого центрального текста литературного модернизма, сравнимого разве что с “Улиссом” Джойса, но опоздавшего к русскому читателю на добрых полвека... У Паунда было ощущение того, что он сделал огромное открытие и ему не терпится поделиться этим. Его целью, и он сам открыто говорит об этом, было написать современный эпос и сделать это для того, чтобы эта книга оказалась буквально в каждом доме, как новая Библия, и чтобы, прочитав её, люди изменили своё отношение к жизни, к общественным и экономическим отношениям, и изменили сами эти отношения. Читая Паунда, нельзя забывать, что это XX век, время социальных экспериментов. Но Паунд — не политик... Он действует через художественную форму. Он цитирует сотни голосов, рассуждающих на волнующие его темы. В этом смысле “Кантос”... не романтическое произведение. В определенном смысле здесь нет автора. Вся поэма представляет собой огромную цитату. Автор выступает здесь, скорее, в роли редактора. Он направляет звучание этого мира по своей воле, но он, как правило, ничего не меняет в словах своих персонажей — исторических личностей, будь то его приятели, соседи или императоры древнего Китая».

Бронников сослался также на сборник своих философских статей «Третье бытие» (СПб, изд-во «Владимир Даль», 2020), где он анализирует сущность идей, заложенных в эпосе Эзры Паунда. Он пишет:

«История у Паунда — это история этических ценностей, история культуры. Разум, прекрасное, чувствительность, щедрость, альтруизм выстраиваются по одну сторону. Невежество, низость, алчность, обман, нажива — по другую. За подтверждением своих мыслей Паунд обращается к Аристотелю и Конфуцию, к средневековым поэтам и теологам. В «Кантос» осуществлён невиданный в европейской поэзии после Данте синтез философских учений, духовных и религиозных практик и идеологий».

Конечно, сочетания столь разных источников, да ещё и переосмысленных по-новому, создают напряжение внутри текста, вибрацию мыслей, образы оживают, и автор их гонит дальше, дальше... куда? Однозначного ответа нет, можно только изумлённо рассматривать грандиозный монумент из слов, переходящий частично в руины, дивясь ему с восхищением и ужасом.

Судьба гениев плачевна, жизнь коротка, наследие их противоречиво.

Апрель 2021, Champaign, IL

Борис МАРКОВСКИЙ

(Бремен)

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

(Заметки о поэзии, дневниковые записи)

Не повинуется мне перо: оно расщепилось
и разбрызгало свою черную кровь.

О. Мандельштам

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ

К полуночи я наконец добрался домой...

Стоял холодный бесснежный январь.

Я шел по спящему городу, упрямо повторяя врезавшуюся в память строку: «Я развернул пальто, как парус»¹...

Именно этой зимой я начал писать заметки о Мандельштаме. Даже название придумал: «Чёрное солнце Мандельштама». Не солнце Эреба, не образ, отсылающий к Нервалю², которого обожала Ахматова, а, по словам Надежды Яковлевны, — *черный бархат всемирной пустоты, черный лед стигийского воспоминания, черная Нева и черные сугробы революционного Петербурга...*

Этот образ («черное солнце») встречается также в стихах Виктора Гюго: «Un affreux soleil noir d'où rayonne la nuit» («Ужасное черное солнце, излучающее ночь...»).

¹ Стихотворение Ю. Боброва.

² «Моя звезда мертва, над лютиною моей//Знак *Меланхолии* пылает солнцем черным». Ж. де Нерваль. «El Desdichado», Перевод И. Кузнецовой.

«БРЕД СОБАЧИЙ!»

В «Дневнике одного гения» Сальвадор Дали без особого почтения отзывается о своих соотечественниках, у которых завелась «дурацкая <...> мода, когда все кому не лень воображают, будто гении <...> это человеческие существа, более или менее похожие на всех остальных простых смертных. Всё это чушь».

Мандельштам (если верить Кузину) тоже любил повторять: «Чушь! Бред собачий!»

В мемуарах, помеченных октябрём 1970 г., Б. Кузин вспоминает, как Мандельштам, прощаясь, кричал ему, высунувшись из пролётки: «Борис Сергеевич, не носите крахмальные воротнички. Их нельзя носить. Они вас погубят»¹.

Не погубили! Кузин, несмотря на три года лагерей и шестнадцать — ссылки, всего десять лет не дожил до перестройки.

ИТАЛИЯ

Новый год встречал у Левита-Броуна.

В Вероне шёл дождь. Мы сидели на кухне, говорили о погоде, потом — о стихах.

— Я не большой поклонник Блока, — несколько агрессивно заметил Броун.

Меня это удивило. А как же:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух...

¹ Ср.: «Не носите эту шляпу, — говорил О.М. Борису Кузину, — нельзя выделяться — это плохо кончится». *Мандельштам Н. Я., Воспоминания.*

— Красиво... — процедил Броун, после чего неожиданно замолчал.

В это время небольшая черная кошка с уродливо торчащим животом, не спеша, прошла по балкону.

Я налил себе чаю.

Ну что ж, Бунин тоже не любил Блока.

И Арсений Тарковский под конец жизни с горечью произнёс: «Я не люблю Блока. Знаете, разлюбил... Почувствовал ужас перед “И перья страуса склоненные / В моем качаются мозгу...”»¹.

«ДОМАШНЕЕ БЕССМЕРТИЕ»

«Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье, — пишет Мандельштам в статье “Слово и культура”. — Воду в глиняных кувшинах пьем как вино».

Интересно, что и в его стихах (самых разных лет) постоянно возникают образы, так или иначе связанные с водой: «Прозрачный стакан с ледяною водою...», «Словно темную воду, я пью помутившийся воздух...», «Хорошая, колючая, сухая / И самая правдивая вода...», «кривой воды напьюсь...» Вплоть до: «Скольжу к обледенелой водокачке / И, спотыкаясь, мертвый воздух ем».

А вот цитата из «Египетской марки» (1928):

«Семья моя, я предлагаю тебе герб: стакан с кипяченой водой. В резиновом привкусе петербургской отварной воды я пью неудавшееся домашнее бессмертие».

Пушкин в отличие от Мандельштама пил другие напитки: «Я воды Леты пью...»²

¹ Тарковский А. Пунктир. 1982.

² Пушкин А. Домик в Коломне.

«ДИКОЕ МЯСО»

В статье «Преодолевшие символизм» Жирмунский называет Мандельштама «фантастом слов».

У Гоголя (если я ничего не путаю) есть рассуждение о природе фантастического, где он утверждает (цитирую по памяти), что на грушевом дереве могут расти золотые плоды — груши, но никогда — яблоки.

Меня всегда поражала, несмотря на чудовищные семантические (читай: тектонические) сдвиги в стихах и, особенно, в прозе Мандельштама («В ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост»¹) невероятная, абсолютная, беспощадная точность его метафор. Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить хотя бы «мраморную плаху умывальника» из «Египетской марки».

«ВЕТЕР ЛЕТАРГИИ»

По просьбе дам,
хвостом помазав губы,
я заговорил на свежем-рыбьем языке!

А. Кручёных

Перечитываю Алексея Кручёных. Какая прелесть! Цитирую наугад:

«Очевидно, с каждым веком подрастает некая сила, подобная ветру, которая все упорнее мешает поэтам стрелять прямо в цель и требует изощренной баллистики».

(Терентьев)

«...Поскольку мистика символистов кончилась трагично, к ним применимы слова поэта А. Чачикова:

¹ Мандельштам О. Четвертая проза.

Проезжий фокусник увез мою жену,
Влюбленную в египетские тайны...»

«...Р. Якобсон поэтому имел полное право писать:
“по существу всякое слово поэтического языка в сопос-
тавлении с языком практическим — как фонетически,
так и семантически — деформировано!”»

«Вокруг земли <...> дует ветер летаргии».
(Терентьев)¹

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Еще об Италии...

В полтретьего ночи мы с Борисом встречаемся на кухне. Этакое *броуновское* движение. Броун, не торопясь, ополаскивает заварочный чайник. Меня, честно говоря, уже воротит от чая. Но... мы не можем разойтись по комнатам, поскольку продолжаем говорить о Георгии Иванове. Каждый спешит произнести вслух любимые строки.

Я:

...Зимний день. Петербург. С Гумилёвым вдвоём,
Вдоль замёрзшей Невы, как по берегу Леты,
Мы спокойно, классически просто идём,
Как попарно когда-то ходили поэты.

Левит-Броун:

Мне весна ничего не сказала —
Не могла. Может быть — не нашлась.
Только в мутном пролёте вокзала
Мимолётная люстра зажглась.

¹ Кручёных А. Кукиш пошлякам.

Только кто-то кому-то с перрона
Поклонился в ночной синеве,
Только слабо блеснула корона
На несчастной моей голове.

Засаеваем, так сказать, *пшеницей* ледяной новогодний *эфир*. Кстати, «эфир» — одно из любимейших слов Г. Иванова.

«ЗВУКОВЫЕ ПОВТОРЫ»

Осип Брик в статье «Звуковые повторы», опубликованной в 1917 году, писал:

«Разбирая звуковую структуру поэтической речи, преимущественно по стихотворным произведениям Пушкина и Лермонтова, я обнаружил звуковое явление, которое назвал повтором.

Сущность повтора заключается в том, что некоторые группы согласных повторяются один или несколько раз, в той же или измененной последовательности, с различным составом сопутствующих гласных».

Он приводит множество примеров:

и кровь широкими струями
на чепраке его видна.
(Лермонтов, «Демон»)

Или:

как взор грузинки молодой.
(Лермонтов, «Демон») и т.д.

Перечитывая статью, вспомнил пушкинские строки:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд...
(«Во глубине сибирских руд...»)

А также — вторую строфу из стихотворения Мандельштама «Декабрист»:

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

И у Пушкина, и у Мандельштама эпитет «скорбный» произрастает из «фонетической» Сибири, отчего воздействие его усиливается многократно.

«ТОСКА ПО МНОГОСЛОВИЮ»

«Карамзина спрашивали, откуда у него такой дивный слог. Из камина, батюшка, сказал он. “Напишу, и в огонь, напишу снова и снова — в огонь”», — я обнаружил эти слова в 8-м томе Собрания сочинений Бориса Хазанова, которое готовил к печати для издательства «Алетейя» на протяжении двух последних лет. В эссе «Тоска по многословию».

В позапрошлом году я приезжал к Хазанову в Мюнхен. Поезд пришел с опозданием. Я почему-то ожидал увидеть гиганта. Увидел человека небольшого роста (казалось, он никуда не спешил), с любопытством разглядывающего толпу.

«ВЛАДЕЛЕЦ ШАРМАНКИ»

Из книги Цыбулевского «Владелец шарманки»:

« — Я верю в сны как в художественные произведения.

— Сон как рукой сняло, и во сне сняло рукой — это что — все одна и та же рука?

Хозяин сладко зевнул, гость вышел и стал прогуливаться по саду меж двух рядов цветущих деревьев. За оградой — луг с пасущимся конем.

— Что может прийти в голову в такое утро при виде полоски воды, обрамленной лугом?

Я видел озеро, стоящее отвесно (Мандельштам). И еще: Круглый луг, неживая вода (Ахматова). Вспомнил — как сотворил. Природа не может и шелохнуться без строки поэта.

Я ухо приложил к земле (Блок) — какая прекрасная буквальность! И он приложил ухо к земле — и сердце — терапия такая — тут в саду дор. мастера с переносными на балконе дорожными знаками: идут работы — объезд.

Дом. Сад. Пчелы. Цветенье. Низкорослые деревья. Деловое жужжание пчел. А горький запах откуда? Оттуда — от ореховых листьев — настой в воздухе.

И дождь перед дождем — яблоневого цвета — ураганый.

Капли первые в лоб, как в окно.

Женщина-Дон-Кихот ждет Росинанта в поле — она далеко — он еще дальше — белый на зеленом — она — оранжевая. И озеро, стоящее отвесно.

Гром. Гром покатыл. С чем его сравнивали до колесниц, до телег? — ведь не с чем! И колесо выдумали, и колесницу изобрели благодаря грому.

Поле опустело.

Не забыть бы, что трава в тот день была осыпана белыми лепестками».

«Сон как рукой сняло...» О чем это я? Да всё о том же: «вспомнил — как сотворил».

«В РОСКОШНОЙ БЕДНОСТИ...»¹

Гвоздь вечера — Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме.

Дневник А. Блока

«Если бы залы Эрмитажа вдруг сошли с ума, если бы картины всех школ и мастеров вдруг сорвались с гвоздей...» — так начинает Мандельштам один из своих пассажей в «Разговоре о Данте». Чуть дальше он вспоминает о «неизносимых швейцарских башмаках с гвоздями».

О гвоздях говорит в «Шуме времени»: «...держали большую лавку финских товаров <...>, где пахло и смолой, и кожами <...> и много было гвоздей» и в «Четвертой прозе»: «Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, а моя шуба висела бы на золотом гвозде».

И еще:

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.
(«Квартира тиха как бумага...»)

А вот знаменитые стихи 36-го года:

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
.....
Там, где огненными щами
Угощается Кащей,

¹ Мандельштам О. «Ещё не умер ты, ещё ты не один...» <15–16 января 1937>.

.....

Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.
(«Оттого все неудачи...»)

Откуда столько гвоздей?

Разгадка в «Шуме времени»: «Я тогда собирал гвозди: нелепейшая коллекционерская причуда. Я пересыпал кучи гвоздей, как скупой рыцарь, и радовался, как растет мое колючее богатство».

ВЫБОР

Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено.

О. Мандельштам. Скрябин и христианство

Телефонный разговор, состоявшийся между Сталиным и Пастернаком, прерывается на самом интересном:

Пастернак. Хотелось бы встретиться с вами, поговорить.

Сталин. О чем?

Пастернак. О жизни и смерти...

Именно об этом всю свою жизнь говорил Мандельштам. О жизни и смерти! Ни о чем другом. В конце концов он швырнул в лицо злодею отлитые из бронзы слова: «Власть отвратительна, как руки брадобрея...» («инстинкт самосохранения давно отступил перед эстетикой»¹) и совершенно сознательно выбрал для себя «жизнь, полную смерти»², набросил ее себе на плечи, как гоголевскую шинель.

¹ Бродский И. «Сын цивилизации».

² Аннинский Л. Осип Мандельштам: «...но люблю мою бедную землю...».

ДУЭЛЬ

27 ноября 1913 г. в «Бродячей собаке» Мандельштам вызвал Хлебникова на дуэль. «Я как еврей и русский поэт считаю себя оскорбленным...» и т.д.

Дуэли входили в моду.

Незадолго до этого на Черной речке стрелялись Гумилёв с Волошиным. Никто никого не застрелил, однако поссорились на всю жизнь.

Виктору Шкловскому и Павлу Филонову (секундантам Хлебникова и Мандельштама) удалось дуэль предотвратить.

...Много лет спустя уже в Москве Мандельштам пытался выхлопотать для Хлебникова комнату (как всегда, безуспешно), а однажды, случайно встретившись с ним в Госиздате, потащил обедать к знакомой уборщице, работавшей в Доме Герцена.

«Уборщице кто-то сказал, что Хлебников — странник, и она почтительно называла его батюшкой. Хлебникову это понравилось»¹.

О несостоявшейся дуэли Мандельштама с А. Толстым ходили легенды.

«...Осип Эмильевич искренне был поражен, как это Толстой не вызывает его на поединок, хотя бы на рапирах, которые наш прирожденный дуэлянт свое временно раздобыл в бутафорской Камерного театра. Ожидая секундантов, Мандельштам рьяно тренировался...»²

¹ Старкина С. Велимир Хлебников.

² Мариенгоф А. Бессмертная трилогия.

Перефразируя дневниковую запись Жюль Ренара («Дуэль всегда немного похожа на репетицию дуэли»), возьму на себя смелость предположить, что и человеческая жизнь со всеми её надеждами и разочарованиями порой напоминает репетицию спектакля, который вот-вот должны отменить из-за невежества публики, финансовых неурядиц и бесконечных актёрских склок.

«ВТОРАЯ РЕЧКА»

27 января 1837 года в районе Чёрной речки состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.

27 декабря 1938 года в лагере «Вторая речка» умер Осип Мандельштам.

I

Церковная хрупкая свечка
горит и горит, не сгорая...
Зловещая Черная речка
и черная речка Вторая.

Монету — орел или решка —
подбросил, со смертью играя...
Зловещая Черная речка
и черная речка Вторая.

Плохая, должно быть, примета —
играть рукояткой узорной
упавшего в снег пистолета
на речке январской и черной.

Нечаянный выстрел, осечка,
и эхо вороньего грая.
Зловещая Черная речка
и черная речка Вторая...

II

Не чужа огромной страны,
он бредил ключом Ипокрены
и видел кровавые сны —
грядущие казни, измены.

Он был собеседник ничей.
И вот отыскалось местечко —
болотистый мутный ручей,
Вторая, декабрьская, речка.

ДЕТСКИЕ СТИХИ

Я совсем маленький. Мама кормит меня из ложки
манной кашей и, чтобы ускорить процесс, нараспев (с вы-
ражением) читает стихи:

— Ты куда попала, муха?
— В молоко, в молоко.

— Хорошо тебе, старуха?
— Нелегко, нелегко.

— Ты бы вылезла немножко.
— Не могу, не могу.

— Я тебе столовой ложкой
Помогу, помогу.

— Лучше ты меня, бедняжку,
Пожалей, пожалей,

Молоко в другую чашку
Перелей, перелей.

Много позже (уже в зрелом возрасте) я узнал, что это стихи Манделъштама. Оказывается, впервые я познакомился с его поэзией почти 60 лет назад в далеком 1954 году, пяти лет от роду.

«Я НЕ УВИЖУ ЗНАМЕНИТОЙ ФЕДРЫ...»

Читал ли Манделъштам «Федру» Расина? Аверинцев не придавал этому особого значения:

«Одни интерпретаторы склонны априорно ожидать от поэта в каждой строке чудес эрудиции, другие, напротив, ссылаются на отложившиеся в анекдоты отголоски пересудов о пробелах в его познаниях, задают провокационные вопросы, вроде такого, например: а дочитал ли он до конца хоть “Федру” Расина, ту знаменитую “Федру”<...> — которую возвел в ранг одного из абсолютных ориентиров вкуса и нескончаемыми аллюзиями на которую в таком изобилии насыщал свои стихи и прозу?»¹

А вот Жирмунский, по свидетельству Л. Гинзбург, был почти уверен, «что Манделъштам не читал “Федру”; по крайней мере, экземпляр, который Виктор Максимович лично выдал ему из библиотеки романо-германского семинария, у Манделъштама пропал, и скоро его нашли на Александровском рынке»².

Он же впервые обратил ее внимание на странность стихов:

И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне...

«Какие могут быть у оссиановских дружинников шарфы?» — недоумевал он.

¹ Аверинцев С. Судьба и весть Осипа Манделъштама.

² Гинзбург Л. Записи 1920–1930-х годов.

КРЫША НАД ГОЛОВОЙ

...кто осмелится сказать, что человеческое жилище, свободный дом человека не должен стоять на земле как лучшее ее украшение и самое прочное из всего, что существует?

О.Мандельштам. Гуманизм и современность

Перелистывая книгу Рюрика Ивнева «Богема», наткнулся на замечательный диалог:

«— Осип Эмильевич, куда вы?

— Милый Рюрик, если б у меня был дом, я сказал бы, что иду домой. <...>

— Но вы же где-то ночуете?

Мандельштам:

— Иметь крышу над головой не означает, что ты имеешь дом».

Как известно, Мандельштам никогда не имел ни постоянной крыши над головой, ни, тем более, дома (квартира в Нащокинском не в счёт)...

Вполне возможно, что страсть к перемене мест Мандельштам унаследовал от матери, которая была одержима почти маниакальной страстью к переездам. «Причины были самые неожиданные, но выяснились они обычно только к весне, после очередного осеннего переезда. То ее не устраивал этаж, то детям было далеко ездить в школу на Моховую, то мало было солнечных комнат, то неудобной оказывалась кухня...» — вспоминал брат поэта, Евгений. О мандельштамовской «детской тоске по дому, от которого всегда бежал...» рассказывает Марина Цветаева в мемуарном очерке «История одного посвящения». Да и сам он постоянно говорит об этом.

В стихотворении «Паденье — неизменный спутник страха...» (1912) Мандельштам восклицает:

Твой жребий страшен и твой дом непрочен!..

В другом стихотворении («1 января 1924») пишет:

Мне хочется бежать от своего порога.

Наконец, в широко цитируемом восьмистишии, написанном в 1937 году «Я скажу это начерно, шепотом...», он как бы подводит итог всему ранее сказанному:

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

И все-таки, напоследок — строка из стихотворения «Мне скучно здесь...» (1916):

Нас дома ждет Эдем...

...Перед самой гибелью (в 1938 г.), прощаясь с Ахматовой на Московском вокзале, Мандельштам произносит удивительные слова: «...всегда помните, что мой дом — ваш»¹.

РАЗЛУКА

— Сколько времени ты мог бы любить женщину, которая тебя не любит?

— Которая не любит? всю жизнь...

Оскар Уайльд

После долгого отсутствия вернулся домой в пустую неприбранную квартиру. Зашел в ванную. Из-под полотенца выпорхнула моль. «Ну вот, хоть кто-то живой есть в доме». Как ни странно, почувствовал себя не так одиноко.

¹ Ахматова А. Листки из дневника. Воспоминания об О.Э. Мандельштаме.

Из письма:

«...вдруг остро ощутил абсолютную бессмысленность всего происходящего, всей моей жизни, включая наш, если так можно выразиться, брак, всех этих бесконечных потуг, направленных на достижение цели...»

Вспомнил строку Мандельштама: «Нет стройных слов для жалоб и признаний»¹ и слова Ахматовой, обращенные к нему: «Никто не жалуется — только вы и Овидий жалуетесь»².

Отдернул занавеску, посмотрел в окно, потом — на календарь. Если верить тому, что написано — суббота, 3-е августа, год 2013-й.

СЕНТЯБРЬ

В хорошую я попал компанию: профессор Секундо, доктор Шульц, медсестра Фатима и одноглазый карлик Густав в очках, с бородой и усами, напоминающий одновременно Солженицына и Достоевского.

Карлик с важным видом расхаживает по палате, на нем зелёная майка и синие трусы. У него крепкий торс, мощные волосатые руки. С утра, нахлобучив на голову непомерно большие наушники, он садится за стол и целый день слушает классическую музыку. Перед ним гора компакт-дисков, он их перекладывает с места на место, как карты Таро...

Я в Марбурге. В глазной клинике, где мне сделали операцию по удалению катаракты, после чего глаз ослеп.

¹ Мандельштам О. «Змей» (1910).

² Гинзбург Л. Записи 1920–1930-х годов.

Теперь врачи пытаются восстановить зрение. Была вторая операция. Потом третья... Я уже немного вижу. У меня ноутбук. На нем — Хичкок, Балабанов, Бергман.

Больница напоминает сумасшедший дом или (что нагляднее) один из кругов ада. Мимо проносятся ангелы в белых халатах, похожие на оперных злодеев (может, все-таки черти?).

...Внезапно двери распахиваются, и в коридор на электрическом (чуть не написал: стуле) самокате въезжает огромный и очень важный немец, чем-то похожий на режиссёра Хотиненко. Правой рукой он сгребает со стеллажа кучу окровавленных пробирок и уносится прочь...

СЕНТЯБРЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вчера сделали укол (прямо в глаз), после чего в течение дня ужасное черное пятно («черное солнце») болталось в левом глазу, приводя меня в ужас — вдруг оно останется там навсегда. Оказалось, это всего лишь пузырёк воздуха. Со временем пятно исчезло.

...Пожилой турок лопочет что-то невнятное на своем ужасном немецком, что-то связанное с «урологией», где он провел последние три дня, тычет пальцем себе в пах, рассказывает какие-то пикантные подробности...

У Балабанова (в «Кочегаре») и у Бергмана (в «Молчании») обнаружил один и тот же приём. Герои в схожих обстоятельствах (почти слово в слово) говорят одну и ту же фразу: «Здесь невыносимо жарко».

Балабанов умер как-то внезапно, нелепо, ему и 55 не было. Успел сыграть в своём последнем фильме, где его персонаж предсказывает собственную смерть.

Посмотрел еще раз «Фанни и Александр» Бергмана. В память врезались слова из пьесы Стриндберга, прозвучавшие в конце фильма:

«Всё может быть, всё возможно и вероятно, времени и пространства не существует, на тонкой канве действительности воображение плетёт и вяжет новые узоры».

«СЛИШКОМ МНОГО ЦИТАТ!..»

Есть свирель у меня из семи тростинок цикуты...

Публий Вергилий Марон. Эклога II

Немногочисленные друзья, которым я давал читать эти заметки, в один голос убеждали меня: «Слишком много цитат!..» Я сокрушенно кивал головой, но изменить ничего не мог.

«Откуда эта потребность подбирать чужие слова? Свои слова никогда не могут удовлетворить; требования, к ним предъявляемые, равны бесконечности. Чужие слова всегда находка — их берут такими, какие они есть; их все равно нельзя улучшить и переделать. Чужие слова, хотя бы отдаленно и неточно выражающие нашу мысль, действуют, как откровение или как давно искомая и обретенная формула. Отсюда обаяние эпиграфов и цитат».

(Из дневников Лидии Гинзбург)

Цитата — цикада¹ — цикута.

¹ «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает. Эрудиция далеко не тождественна упоминательной клавиатуре, которая и составляет самую сущность образования».

Мандельштам О. Разговор о Данте.

Из письма:

«...Для того чтобы добиться признания в эпоху заката эры Гуттенберга, одного участия в литературной поножовщине явно недостаточно. Надо либо научиться извлекать выгоду (в том числе материальную) из политических междоусобиц, либо потакать читающей комиксы толпе («Это солнце ночное хоронит возбужденная играми чернь...»¹), либо... обладать «гениальной способностью быть бесконечно скучным», как сказал по другому поводу Вадим Шершеневич (не путать с Виктором Шендеровичем)».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В конце октября вернулся в Киев. Поселился на улице Бассейной рядом с магазином «Феллини» (торговля обувью), в трех шагах от Бессарабского рынка.

Возле подъезда печальный чёрт с осыпавшейся с плеч позолотой сидит на корточках в позе роденовского мыслителя. На мемориальной доске надпись: «В этом доме жила Голда Меир».

Льет дождь.

Редкие прохожие прячутся под зонтами...

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ

Когда-то, очень давно, написал стихотворение, посвященное Мандельштаму, эпиграфом к которому послужила строка И. Анненского.

¹ Мандельштам О. «Когда в теплой ночи замирает...»

ПАМЯТИ О.М.

Желтый пар петербургской зимы...

И. Анненский

О, эта каменная желтая бравада!
Широких улиц темный разговор...
Из проруби времен, из третьей песни «Ада»
он выбрался — с трудом — на гибельный простор...
Над Петроградом медленные ночи,
и волосы Невы по каменным плечам
разбросаны...

И только совсем недавно из книги Олега Лекманова «Осип Манделъштам: Жизнь поэта» узнал, что с вырванным из «Аполлона» листком, где было напечатано стихотворение Анненского «Петербург», Манделъштам не расставался на протяжении всей своей жизни.

ПЕТЕРБУРГ

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где *вы* и где *мы*,
Только знаю, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, —
Завтра станет ребячьей забавой.

Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...
Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки.
Даже в мае, когда разлиты
Белой ночи над волнами тени,
Там не чары весенней мечты,
Там отравы бесплодных хотений.
(И. Анненский)

ЧЕРНОВИКИ

Чрезвычайно любопытны черновики Пастернака: между первыми набросками и конечным результатом разница примерно такая же, как между каракулями трёхлетнего ребёнка и рисунками позднего Леонардо.

О чем бы я ни думал, мысли постоянно возвращаются к Мандельштаму.

Кто-то (не помню кто, чуть ли не Вознесенский) заметил, что у Пастернака нет слабых строчек. Конечно, есть. Например:

Забором крался конокрад,
Загаром крылся виноград...
(«Цыганских красок достигал...»)

«...поэзия Пастернака <...> безвкусна потому, что бессмертна»¹, — так, несколько путано, выразился Мандельштам.

¹ Мандельштам О. «Заметки о поэзии» (1923).

«ВЫСОКОЕ КОСНОЯЗЫЧИЕ»

Георгий Адамович в статье «Несколько слов о Мандельштаме» вспоминает строку Блока (он считал Блока «гением интонации»), которая, по его мнению, «вернее всего определяет сущность мандельштамовской поэзии, хотя у Блока она относится к женщине: “Бормотаний твоих жемчуга...”». Далее Адамович приводит несколько строк Мандельштама:

Декабрь торжественный струит свое дыхание.
Как будто в комнате тяжелая Нева,
Нет, не Соломинка, — Лигейя, умиранье —
Я научился вам, блаженные слова...

И в заключение пишет:

«Это действительно — “высокое косноязычие”, по Гумилеву, да и можно ли было бы косноязычие это прояснить?»

НОЯБРЬ

Из письма:

...Ты обижаешься, что я редко пишу. Причина проста: вот уже пятнадцать лет я вынужден ежедневно просматривать десятки (а то и сотни) страниц чужих текстов (вместо того чтобы писать свои!). Кроме того, приходится заниматься версткой. Таким образом, выработалась устойчивая идиосинкразия к печатным знакам.

Как нитки ожерелья, строки рвутся,
и буквы катятся куда хотят...¹

¹ Рильке Р.-М. «За книгой». Перевод Б. Пастернака.

Да и никаких особенных новостей у меня нет.

В конце ноября два дня провел в Петербурге. Ночевал в огромном сером здании, в котором когда-то жил Довлатов.

Вспомнил Коктебель (по дороге мы с тобой поругались). Я занес чемоданы и пошел к морю, на набережную. Едва присел на скамейку, появился Андриевский (как чёрт из табакерки) и ни с того ни с сего процитировал Довлатова: «Лежу совершенно один, с женой...»

Я долго смеялся.

Говорят, Виктор Некрасов в последние годы жизни обронил: «Я могу читать только двух писателей: Бунина и Довлатова».

Пиши...

P.S. Мне так не хватает тебя, особенно когда ты рядом.

БЕНЕДИКТ ЛИВШИЦ

Уже кипит в сердцах обида...

Б. Лившиц. Эсхил

«Я учусь у всех — говорил Мандельштам, зорко поглядывая по сторонам, — даже у Бенедикта Лившица»¹. С Лившицем он сдружился настолько, что тот в своих мемуарах назвал его «товарищем по оружию».

Именно Лившиц весной, когда Мандельштамы перебирались из Киева в Москву, ходил с ними в ЗАГС и присутствовал при регистрации их брака.

«Бритый, с римским профилем, сдержанный, сухой и величественный, Лившиц в Киеве держал себя как “мэтр”»: молодые поэты с трепетом знакомились

¹ Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М., 1999.

с ним, его реплики и приговоры падали, как нож гильотины: “Гумилев — бездарность”, “Брюсов — выдохся”, “Вячеслав Иванов — философ в стихах”. Он восхищался Блоком и не любил Есенина. Лившиц пропагандировал в Киеве “стихи киевлянки Анны Горенко” — Ахматовой и Осипа Мандельштама. Ему же киевская молодежь была обязана открытием поэзии Иннокентия Анненского»¹.

Скорее, товарищем по несчастью был ему Мандельштам: 21 сентября 1938 года Бенедикта Лившица вместе с Юрием Юркуном и Валентином Стеничем расстреляли по ленинградскому «писательскому делу».

...Плыви, плыви, родная феорида,
Свой черный парус напрягай!²

КЛОЧЬЯ ДЫМА

Безнадежно. Читаешь все, и ничего не запоминаешь. Как ни напрягаешься, все ускользает. Только кое-где остается несколько клочьев, едва различимых, как клочья дыма, указывающие, что поезд прошел.

Жюль Ренар. Дневники

Начать с Лаокоона, затем плавно перейти к Гессе, не забыть Бурлюка, вспомнить о Феллини и лишь затем, вдохнув полной грудью, произнести:

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда...³

¹ *Терапиано Ю. К.* Встречи: 1919–1971. М., 2002.

² *Лившиц Б.* «Эсхил».

³ *Мандельштам О.* «Сохрани мою речь навсегда...»

Или — совсем уж невозможное:

Пою, когда гортань сыра, душа — суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознание:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?¹

Nihil reputare actum...²

Последняя цитата:

«...перечитывать себя без тени нежности, без чувства отцовства, с холодной и критической остротой, в жестоко творческом ожидании смешного и уничижительного, с полным безучастием, с рассудительным взглядом, — значит, переделать свой труд или предчувствовать, что можно переделать его совсем наново»³.

¹ *Мандельштам О.* «Пою, когда гортань сыра, душа — суха...»

² Ничто не считать законченным (*лат.*)

³ *Валери П.* Об искусстве.



IN MEMORIAM

Денис НОВИКОВ

(1967–2004)

«СЛЕПОК С ДОЖДЯ»

В одной моей недавней повести главный герой рассуждает о сложившихся литературных иерархиях и по пьяной лавочке с жаром требует (неизвестно от кого) пересмотреть консенсус, водрузить, так сказать, на гранитные пьедесталы Губанова, Аронсона и Новикова. Конечно, эти рассуждения граничат с фарсом. Но замысел все же не лишен изящества. Денис Новиков — действительно значительнейшая фигура современной русской поэзии, можно сказать — ее гордость. Сразу оговорюсь, что данное предисловие — это «взгляд с обочины». Ну, не был я с ним знаком лично и не мог быть. И друзей-товарищей не интервьюировал, и ученых штудий не производил. В общем, не специалист. Но «роман» я все-таки читал, поэтому скажу: «Роль, отведённая ему судьбой, как ни странно, еще не сыграна до конца. Во втором акте ожидается рост значимости и широкое признание в узких кругах. Уверен, что по творчеству Новикова скоро начнут защищать диссертации, если уже не начали». «Хора древнего обломок» — так в стихотворении «Травиата» характеризовал свой поэтический голос сам Новиков. Он также не отказался бы и от звания последнего совкового поэта. Брань, как говорят англичане, на воротнике не виснет. Ностальгию по ушедшей натуре он никогда не скрывал. Однако мы остановимся на другом характерном, пускай и не столь очевидном аспекте его исканий. Новиков — поэт-метафизик. Он кидал взгляды со звезды на звезду уже в самых ранних своих стихах. За эту тонкую философскую меланхолию мы особенно любим блаженного страдальца, мусажета, Орфея московских хрущевок. Мастеру присуща

филигранная рифмовка, напевность, ностальгические нотки, тонкий лиризм. А также доброта и человечность — то, что несколько заезженно зовётся в народе любовью. В одном из своих стихотворений поэт берётся «сделать слепок с дождя на память», признаваясь, однако, что это задача не из лёгких. «Сноровки нет, а мозг горяч и размягчен». Но мы-то с вами знаем: Денису Новикову все по плечу, все под силу! Его бесхитростные стихи — и есть этот благословенный слепок.

Андрей Гуцин

* * *

Его хоронили всего —
всего полтора человека:
Володя Шувалов — калека
и бывший начальник его.

Он умер от сердца, хотя
при жизни о сердце не думал.
Он был вообще, как дитя,
а стало быть, рано он умер.

1985

* * *

Есть иной, прекрасный мир,
где никто тебя не спросит
«сколько время, командир»,
забуревший глаз не скосит.

Как тебе, оригинал,
образец родных традиций?
Неужели знать не знал,
многоокой, многолицей

представляя жизнь из книг,
из полночных разговоров?
Да одно лицо у них.
Что ни город — дикий норов.

Кто, играя в города,
затмевал зубрил из класса,
крепко выучит Беда —
всё названье, дальше трасса.

Дальше больше — тишина.
И опять Беда, и снова
громыханье полотна,
дребезжанье остального.

Хочешь корки ледяной,
вечноцарской рюмку, хочешь?
Что же голову морочишь:
«мир прекрасный, мир иной»...

1987

* * *

Где я вычитал это призванье
и с какого я взял потолка,
что небесно моё дарованье,
что ведома оттуда рука,

что я вижу и, главное, слышу
Космос сквозь оболочку Земли.
Мне сказали: «Займи эту нишу», —
двое в белом. И быстро ушли.

Детский сон мой, придуманный позже,
впрочем, как и всё детство моё,
в оправдание строчки... О боже,
никогда мне не вспомнить её,

первой строчки, начала обмана,
жертвой коего стал и стою
перед вами я, папа и мама.
Пропустите урода в семью.

<сентябрь 1987>

* * *

Не путём — так бульваром Страстным
прошагай, покури и припомни:
это было с тобой или с ним,
это кроны, а может быть, корни?

В отдаленье — разрушенный храм.
Отдаление — много ли это?
Кто ты, предок? Сиятельный хам.
Кто потомок? Не слышно ответа.

Параллель. Сто веков. Пара лет.
«Здесь сидел...» На скамейке отметка.
Наступаю в свой собственный след,
плоский след то потомка, то предка.

Не бульваром Страстным — так путём.
Нету разницы принципиальной.
Кто не знает, что будет потом, —
обладает великою тайной.

<сентябрь 1987>

* * *

Июнь. Испарина и мрак.
Давно надумал сделать слепок
с дождя на память... Только как?
Сноровки нет, приём не крепок,
А мозг горяч и размягчён,
Как воск свечи в разгаре бала,
Он схож со спущенным мячом,
С пустою пачкою «Опала»,
Что ливнем в Лету снесена...
Вот и верни потом обратно
Дух, исчезающий в парадном,
Пух, пролетевший вдоль окна...

<октябрь 1987>

* * *

М. К.

В городе негде нам кофе попить.
В городе негде нам вместе побыть.
В городе странном с языческим именем,
рядом с Советом министров и Пименом.
Рядом с Кузнецким мостом и Беяево.
Не обижайся. Не я выбирал его
для отношений каких бы то ни было.
Мне не позволили этого выбора.
Для отношений интимных и дружеских
тысяча комнат и тысяча Пушкинских
необходимы бывают по поводу
жизни моей... Что до этого городу?

<сентябрь 1987>

* * *

Слов на строчку и денег на тачку
ночью майской, на улице N,
как подарок, потом как подачку,
а потом — предлагая взамен

безусловно бессмертную душу
и условно здоровую плоть —
я прошу, обращаясь наружу,
чтобы мог ты меня расколоть,

смять, как мнёт сигаретную пачку
от бессонницы вспухший хирург...
Слов на строчку и денег на тачку —
и хоть финским ножом, демиург.

Но внезапно проходит, проходит,
отпускает, играет отбой.
Так порою бывает: находит.
Мы не будем меняться с тобой.

Хитрых знаков, горящего взгляда
в обрамлении звёзд водяных
мне, блаженному, больше не надо,
я, блаженный, свободен от них.

<сентябрь 1987>

* * *

Задумаешься вдруг: какая жуть.
Но прочь виденья и воспоминанья.
Там листья жгут и обнажают суть,
но то уже за гранью пониманья,

и зреет там, за изгородью, звук,
предощутим и, кажется, прекрасен.
Затянешься. Задумаешься вдруг
в кругу хлебнувших космоса орясин —

высотки, в просторечии твоём.
Так третье поколение по праву
своим считает Фрунзенский район,
и первое — район, но не державу.

Я в зоне пешеходной — пешеход,
в зелёной зоне — божия коровка.
И битый час, и чудом целый год
моё существованье — тренировка

для нашей встречи где-то, где дома
населены консьержками глухими,
сошедшими от гордости с ума
на перекличке в Осовиахиме.

Какая жуть: ни слова в простоте.
Я неимуц к назначенному часу.
Консьержка со звездой на хвосте
крылом высоким машет ишиасу.

<сентябрь 1987>

ЯНВАРСКИЕ СТИХИ

1

Видишь, наша Родина в снегу.
Напрочь одичалые дворы
и автобус жёлтый на кругу —
наши новогодние дары.

Поднеси грошовую свечу,
купленную в Риге в том году, —
как сумею сердце раскручу,
в белый свет, прицелясь, попаду.

В белый свет, как в мелкую деньгу,
медный неразменный талисман.
И в автобус жёлтый на кругу
попаду и выверну карман.

Родина моя галантерей,
в реках отразившихся лесов,
часовые гирьки снегирей
подтяни да отопри засов,

едут, едут, фары, бубенцы.
Что за диво — не пошла по шву.
Льдом свела, как берега, концы.
Снегом занесла разрыв-траву.

1988

2

И в минус тридцать, от конфорок
не отводя ладоней, мы —
«спасибо, что не минус сорок» —
отбреем панику зимы.

Мы видим чёрные береты,
мы слышим шутки дембелей,
и наши белые билеты
становятся ещё белей.

Ты не рассчитывал на вечность,
души приبلудной инженер,
в соблазн вводящую конечность
по-человечески жалел.

Ты головой стучался в бубен.
Но из игольного ушка
корабль пустыни «все там будем» —
шепнул тебе исподтишка.

Восславим жизнь — иной предтечу!
И, с вербной веточкой в зубах,
военной технике навстречу
отважимся на двух горбах.

Восславим розыгрыш, обманку,
странноприимный этот дом.
И честертонову шарманку
во все регистры заведём.

1990

3

Ф. Николаеву

Рождение. Школа. Больница.
Столица на липком снегу.
И вот за окном заграница,
похожа на фóльгу-фольгú,

цветную, из комнаты детской,
столовой и спальной сиречь,
из прошлой навеки, советской,
которую будем беречь

всю жизнь. И в музее поп-арта
пресыщенной черни шаги
нет-нет да замедлит грин-карта
с приставшим кусочком фольги.

И голубь, от холода сизый,
взметнётся над лондонским дном,
над телом с просроченной визой
в кармане плаща накладном.

И призрачно вспыхнет держава
над еврокаким-нибудь дном,
и бобби смутят и ажана
корявые нэйм и преном.

А в небе, похлеще пожара,
и молот, и венчик тугой
колосьев, и серп, и держава
со всею пенькой и фольгой.

1992



ИЗО

Давид ДЕКТОР

(Иерусалим)

НЕБА КРУГ

В 80-х годах в Иерусалиме я, Данька Консон и взрослый Лёва Меламид пошли ночью в Старый город. В те времена, ещё до видеокамер повсюду, это было вполне себе приключение, там в переулках, случалось, грабили и среди бела дня. Короче, мы бродили по пустым каменным улочкам и заходили во дворы, где было слышно дыхание спящих, а в одном месте под стеной дома сидел человек и будто играл в забытии на гитаре, только без инструмента, но музыка была явственна.

Будь я один, я сел бы с ним рядом, а так мы пошли дальше и наткнулись на команду местной шпаны, поздешнему — шабаб. Их главный, противная рожа, стал выяснять, хули мы тут ночью делаем, но мы были духовитые ребята, ещё у Даньки был козырь — пистолет, так что мы спокойно послали их, дескать — не ваше дело. Тогда ихний главарь перевёл всё в русло братания, рассказал, как сидел в Ливанской тюрьме (врал, конечно), и показал нам наколки вроде советских, а на прощание позвал через неделю на хафлю, или ужин с выпивкой. «Вы что любите? — спрашивал он, — виски? Джонивогер?» На что я твёрдо ответил, что выпивка за нами, мы принесём, и договорились о встрече. Данька на стрелку не пошёл, может, он тогда офицерил в армии или просто не захотел, Меламид тоже соскочил, и пошли я, Дэйдо и Лиечка.

Надо ли говорить, что эти кунаки не явились, но мы не сильно обломались, сели у Шхемских ворот, бухло у нас было с собой, плюс чувство юности. Лия теперь профессор в Сорбонне, Дэйдо, он был орнитолог, уехал в Эйлат за перелётными птицами, Лёвушка Меламид здравствует (ад меа веэсрим), а Данька умер лет двадцать назад, как жаль. Кстати, про нашу ночную прогулку он потом сказал, что самое интересное был тот чувак с невидимой гитарой.



Фотографии автора

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СТОЯЛ НАВЕРХУ НА ДВУХ УКАЗАТЕЛЯХ

Стоял над толпой в дурацком комбинезоне босиком, лицо вымазано белым, с завязанными глазами, типа клоун.

Стоял так неподвижно, что старуха рядом со мной спросила: «Это человек или статуя?» — «Человек», — сказал я. «Человек или статуя?» — повторила старуха. Я ушёл в книжный, а когда вышел, он был все так же над головами,

ощутимый фонтан энергии бил из него прямо в сухое небо, отойти было невозможно. Будто бы он работал за деньги, внизу под столбом валялась коробка с мелочью,



будто такое вообще возможно за деньги. Толпа внизу, она ела за столиками, ходила и прикалывалась. Они не понимали, кто тут клоун. Один кинул свой медяк погромче и был недоволен, он хотел, чтоб тот наверху что-нибудь сделал за этот звук, исполнил там на столбе. Есть такая практика «кибадатчи» — стоять полтора часа на согнутых ногах, не двигаясь. Попробуйте, у вас

не получится. Он делал примерно это же, только на высоте и с завязанными глазами. Я не видел ни как он влез, ни как сошёл оттуда. Я видел его там.

Сегодня он опять там стоял, верней, это я опять был в городе. Он стоял на этих своих указателях, молча, как и раньше, а внизу бегал псих в чёрном с микрофоном и фотоаппаратом. Микрофон был никуда не подключен, а фотоаппарат — цифровая зеркалка. Он орал в свой пустой микрофон и снимал сам себя, крича, что тот наверху — преступник, и что его надо снять немедленно, а то он упадёт (запросто) и убьёт ребёнка (это вряд ли), и что вооб-

ще он не клоун (тот верхний), а член преступного синдиката и ещё чего-то, всё это по-английски. Потом нижний стал бросаться и трясти столб, а верхний трясся и не падал с завязанными глазами, потом чёрный пытался шнуром от микрофона захлестнуть петлю на ноге у преступного клоуна, выглядело это жутковато. Потом подъехали менты на мотоцикле, мощные менты специального назначения, и этот в чёрном потребовал от них действий. Передний мент слез и велел зрителям отойти подальше, будто тот и впрямь сейчас упадёт, подошел к столбу и начал повторять действия чёрного — кричать и трясти столб. Потом даже влез на что-то и схватил человека на столбе за ногу. Тот продолжал стоять неподвижно, а мент, видимо, испугался скидывать живого человека при стольких свидетелях, подумал и врубил сирену у мотоцикла, но тот всё равно не упал. Тогда менты уехали, «обосранные» чёрным, который насккивал на них и кричал, что пускай стреляют в него из своих автоматов, раз они боятся связываться с опасным клоуном. Пожалуй, я впервые видел, чтоб такие менты чего-то там не добились. Потом чёрный разбросал монеты, кинутые для клоуна. Работали они вместе или порознь, но много так не заработаешь, это точно. Ещё было всякое, а потом верхний наклонился после трёх часов на столбе и перевернулся вверх ногами, постоял так на голове и слез. Сразу пошел и попил водички, потом вернулся. Милое молодое лицо белокурого юноши с довольно мелкими чертами, такие лица не предполагают силы, скорее наоборот. Я сказал ему, что это лучшее представление, которое я видел, и мы пожали друг другу руки.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Меир.

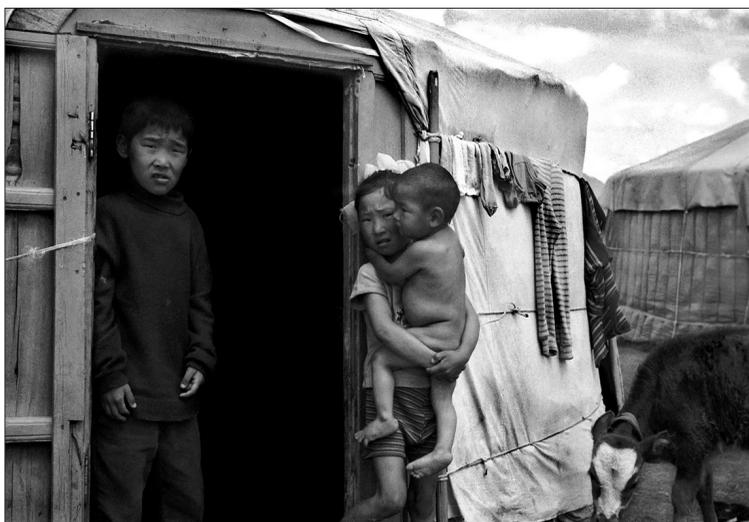
— А фамилия?

На это он покачал головой и улыбнулся.

КРАСАВИЦА

Чтобы попасть в город Ындырхан, надо сесть на автобус. Вот этот автобус мы и штурмовали, я с другом Чулумбатом. Сначала кассу на станции в Улан-Баторе, где безучастные монголы плотно стоят с пачками тугриков наготове. Я вообще многое понял о монголах, и как они однажды, будучи, в общем, небольшим народом, завоевали полмира. Потом ждали. Потом лезли внутрь. Я лез, а Чулумбат провожал и смотрел, чтоб получилось. Потом всех высадили и была вторая посадка. Что у меня в Ындырхане? — а записка от Чулумбата к его приятелю. Найдя себя второй раз в автобусе и даже сидя на каком-то поперечном сидении, я успокоился и обнаружил, что рядом сидит красавица. Знаете, о чём я говорю? Иногда, очень редко, вы вдруг видите женщину безусловной красоты. Это ошеломляет. Она была с ребёнком и с каким-то парнем, который до неё не дотягивал. Так мы ехали, асфальт скоро кончился, и нас затряхало по суглинку. Въехали на перевал, там все вылезли, добавили камушков к священной куче, постояли под облачным небом и полезли опять в жёлтый советский горбатый наш автобус.

Потом мы с ней разговаривали, английского она не знала и русского тоже, а знала чуть-чуть немецкий. Зато у нас было много времени. Мужичок-спутник на наши отношения смотрел просто, никак не смотрел. Ребёнок сидел уже у меня на коленях, причём она сказала, что это не её сын, а допустим, брат или родственник. Мы лепили слова и предложения, иногда с помощью рисунков на листе бумаги. В Ындырхан она ехала к родне на праздник, а я ехал по записке. Мы много о чем поговорили, даже о том, что она хочет попасть в Германию. «Почему в Германию?» — «Это мое дело», — так она сказала. Короче, мы ехали и приехали, и обменялись телефонами, чтобы найти друг друга в Улан-Баторе, если что.



Найденный чулумбатов друг или родич записку прочёл, расстроился, но в дом пустил, а потом мы подружились и назавтра ковыляли на лошадях по степи куда-то на праздник. Он был городской человек, и эта езда его тоже доставала, так что мы, переглянувшись, иногда слезали и вели лошадей в поводу. Ночевали в юртах, потом добрались до гулянья, где скачки, кумыс и борьба, ну и водка. Там упившийся друг или родич сказал, что он, может, не самый хороший человек, но чего обещал, сделает. Так и было. А потом обратный автобус на Улан-Батор не приехал, и я удачно заступился за какую-то девку, обижаемую местной молодежью, а потом сел в газик или джип — они везли шерсть в столицу и подобрали меня на дороге. Только у них все ломалось, и хотя мы подружились и ночевали в странном доме посреди холмов, но назавтра я с их помощью остановил пассажирский грузовик, их главный даже спросил — есть ли у меня деньги на дорогу, деньги были, и я благополучно дотрясся до хороших людей в Улан-Баторе. Потом я еще куда-то ездил и путешествовал по Монголии с помощью записок от Чулумбата, потом мне удалось сде-

лать российскую визу (я до конца всё не знал, куда еду, в Россию или в Китай), до поезда оставалось три часа времени, и тут она позвонила.

Я же говорил, что русского она не знала, а рисунки по телефону не очень-то порисуешь, поэтому от трудности разговора я принял ее за чулумбатову родню из худона, чего-то наговорил, передал приветы, и лишь повесив трубку, понял, кто она и с кем разговаривал.

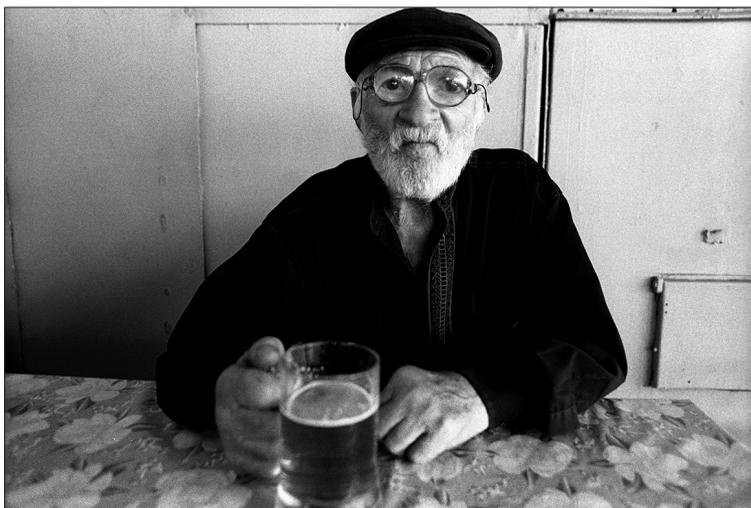
Я перезвонил и стал говорить заново. Я говорил прощальные слова, что уезжаю сегодня, вот прямо сейчас. Говорил, что если попаду опять в Монголию, то мы, конечно, встретимся. Ну и всё такое. Кстати, в Москве меня ждала тоже любимая. Но позвони она на день раньше, вся моя жизнь бы перевернулась. Наверное. Так мне кажется.

РЕКА РИОНИ

Четыре года назад я был в Кутаиси, гулял и искал место для ночлега. «Туда не смотри, там Шанхай», — сказали мне. Туда я и пошёл, и нашёл «вписку» у пожилой пары — Бахвы и Маквалы. Потом пришёл их сын, молодой крепкий Георгий. Договорились за пять лар в сутки, это не деньги, но это был Кутаиси. Уезжая, я дал им вдвое больше, тогда старая Маквала принесла сдачу и сказала — эти свои деньги ты забери, я с трудом уговорил её, что все в порядке. Она была сванка. Попав сейчас в Кутаиси, я пошёл сразу к ним. Дверь была заперта, я нашёл соседку, которая рассказала, что их сына Георгия недавно похоронили. Пол-Сванети тут было, сказала соседка Нана. Назавтра я встретил Бахву на мосту, и вдвоём мы пошли к Маквале, она уже вышла на работу и стояла в торговых рядах. Увидев её, я понял, что четыре года и Кутаиси, это не важно, в её мире я, как и все, пришел поклониться её горю, пускай с опозданием, из Иерусалима. Она была как икона — сожжённое лицо без единой лишней мысли. Фотографи-

ровать её я не стал. Зато я снял Бахву, когда мы сели выпить пива, это был мой долг, тогда он меня угостил, и сейчас была моя очередь. Пиво он так и не допил, потом я проводил его домой, мы сели за пустым столом, еще посидели. Было три души, стало две, — сказал Бахва.

лето 2011



* * *

В Токио я нашёл главный клуб Шотокан, сидел там и присматривался. Это было не совсем моё карате, но что поделаешь, и вдруг я услышал, как женщина говорит с мальчиком по-русски после тренировки. Женщина не японка, а мальчик вполне себе местный. Я подошёл и заговорил с ними. «А откуда вы русский знаете?» — спросила она ошарашенно, год был 1988 или 1989. «А я русский», — сказал я, отвыкнув от реальности за время моих странствий по Азии. «Да что-то вы не похожи», — покачала она головой с сомнением. Потом она позвонила мужу, и

мы поехали к ним. Её звали Тамара, мальчика Тамаки, а мужа — Такао. Он был средним начальником в знаменитом японском концерне, а Тамару встретил в Москве, куда ездил от фирмы. Короче, мы подружились, и я стал ходить к ним в гости. Такао сдержанно изучал меня, пока однажды не зашел разговор, чем мне не подходит это место, куда ходит Тамаки. Я стал объяснять про различие в школах карате, ну покажи что-нибудь, — сказал он, и я сделал кату Тэки Шодан в их маленькой квартире. «Да, я понял, у тебя даже лицо изменилось, когда ты это делал», — сказал он. Потом мы сидели втроем на полу и показывали друг другу смешные фотографии в наших паспортах. Раз я засиделся у них и торопился успеть на транспорт в мою неблизкую ночлежку, Тамара вышла за мной к лифту и стала совать мне деньги. «На такси», — сказала она. Наверно, я испугался, потому что она тоже испугалась и быстро заговорила: «Давид, мне от вас ничего не нужно». Так я проехался на такси через Токио, стоило это, примерно, как неделя жизни в Таиланде. Тамара говорила со мной про Москву, которую я покинул подростком, и как мне казалось, навсегда. Она болела за Ельцина, опального секретаря чего-то там, а я в ихнюю перестройку не верил и считал её очередным лицедейством советской власти. Про японцев она говорила, что им всё до жопы, так она переводила местное «дайдзёбу», что значит — всё путём или ок. Ещё она рассказывала о себе, очень просто и искренне, её истории были чудовищны, и я их пропущу. А однажды мне приснилось, что я выпал из Японии, ничего толком не повидав, кроме Токио, и я решил ехать по стране Ямато автостопом. Тамара уговаривала меня остаться, но меня удерживал только мальчик Тамаки, единственная близкая душа в этом мегаполисе, и тогда Такао нашёл мне подработку, переводить текст договора с английского на русский для каких-то монголов. Я старался, а Такао на мои правки и уточнения говорил: «Да ладно, дайдзёбу». Сейчас я даже

думаю, что весь этот перевод был просто, чтоб удержать меня от поездки. Случалось, что Тамара при мне срывала злобу на сыне, и я не умел скрыть, что мне это не нравится. «Ты в мою семью не лезь!» — сказала она потом, да я и не собирался. Я знал, что больше их не увижу, потому что, когда я окажусь обратно в Токио, они будут уже в Москве. Мы гуляли по парку Уэно, Тамара, мальчик и я, настало время прощаться. Тамаки стоял с потерянным лицом. «Щас заплачет», — сказала Тамара, и он отвернулся. Я и сам мог заплакать и обнял его, а теперь ему, должно быть, лет сорок, не меньше.

* * *

Володя Гусаров, мы с матерью ласково звали его за глаза Гусарчик, он пришёл к нам на Врубеля, постучался и сказал: «Здравствуйте, я друг Тома, нет ли у вас сигаретки?» Моему младшему брату Тому было шесть лет, так Володя Гусаров вошёл в нашу жизнь. Это такая личность, что я даже не знаю, с чего начать. Он был известный на Соколе алкоголик, стихийный диссидент и писатель. Ко всяким советским праздникам Москву подчищали — и таких как он, сажали в психушку «для профилактики». Потом это упростили, его просто вызывали куда надо и интересовались, не пора ли ему подлечиться, на что он давал расписку, что эксцессов производить не будет, и шёл с миром. «Надоело по психушкам валяться», — объяснял он свой конформизм. На Соколе у нас было полдома и участок, а другую половину занимал старый коммунист Лев Карпович Таракьян с семейством, я видел, как он сажает у себя клубнику, так вот, одно время Володя был женат по любви на его дочке. Как он сам пишет, во время принудительного лечения кто-то из страдальцев спросил его: «Володя! Зачем ты на армянке женился, они же все бляди!» Это красиво перекликается с историей, как молодого Битова хотели женить в Армении, и жена друга говорила ему: «Анд-

рей! Вам хотелось бы знать, что жена вам никогда не изменит?» Наверно, из этих двух максимум и состоит всё главное, что нужно знать об армянках. Но вернемся к Гусарову. Он рос тем, что потом называли «мальчиком-мажором», его отец был первым секретарём ЦК Белоруссии и хозяином республики. На войне юный красивый Володя в форме по спецпошиву (есть история, как он подрался с Ворошиловым, бывшим у них в гостях, а что, выпили и подрались), значит, Володя нетрудно воевал в штабе дивизии, а уже после победы сидел в ресторане в Москве и почему-то запел «Интернационал» по-немецки. А за соседним столиком какая-то блядь (не армянка), стала говорить: «Хорошо поёт, только произношение ужасное» (наверное, хотела познакомиться).

Ну, Гусарчик пел себе дальше, а та опять стала пенять на произношение. Тогда он встал и сказал: «Не вам, сталинским выблядкам, учить меня петь “Интернационал”». Всё. Такое не то что сказать, слышать было нельзя, его компания отпала в момент, вызвали милицию, официанты вязали его полотенцами, а он не давался. В протоколе было написано: «Напившись, обзывал окружающих с. в.». Потом какой-то знакомый говорил: «Эх ты! Ну и сказал бы, что назвал спальными вагонами». Но Гусарчик на допросе, говоря современным образным языком, полез в залупу: «Вы что, думаете, скажу, пьян был, не помню? Могу повторить!» И повторил. На этом интересная жизнь юного студента театрального института закончилась — и началась тоже интересная, но другая. Из-под следствия он попал в психушку, как ему потом объяснили — это его отца кто-то спасал. Там Володю лечили до расстрела Берии (великий мингрел погорел), и выпустили уже при Хрущёве. Работал он по специальности — актёром, играл в захолустье Ленина и не только, женился на красивой Эде Таракьян и дружил с такими же отщепенцами. Однажды он привёл к нам домой Володю Гершуни ещё с каким-то алкоголиком. Маленький небритый Гершуни был племянник знаменитого

эсера, мастер палиндрома и тоже ветеран психушек, естественно. Теперь перехожу к главному. Гусаров написал книгу «Мой папа убил Михоэлса», название для образности. Как он сам говорил — раз убийство гения состоялось в Минске во время правления моего отца, то и он виновен. Тут Володя, конечно, ошибся, убивала бригада из Москвы под управлением самого Берии, местным кадрам такое дело не доверили.



Но главное, что эта книга, мемуар или автобиография — замечательная литература. Когда моя мать уезжала с нами, детьми, в Израиль, она вывезла рукопись книги через голландское посольство, потом редактировала её и довела до печати, а Гусарчик прислал письмо, в котором была газетная вырезка с песней Людмилы Зыкиной: «Мне бы только суметь, мне бы только успеть о народе моём полным голосом спеть».

Успел — книга была издана в «Посеве» во Франкфурте-на-Майне в 78-м году. Есть апокриф, что Довлатов, прочтя её, говорил: «Вот как надо писать!» Ещё Володя Гусаров был шахматистом большого разряда, не помню точно, какого, общался с Солженицыным и дружил с моим братом Томом. У нас был магнитофон «Комета», и в лето до нашего отъезда Гусарчик наговорил на бобину всю «Москву-Петушки», я любил слушать это его чтение, и ещё долго потом образ Венички мешался у меня с самим Володицей, таким же прекрасным неприкаянным алкоголиком.

Однажды я застрял в оазисе посреди Ливийской пустыни. Я не был лётчиком, потерпевшим крушение, и со мной не было маленького принца, зато был высоченный Дерек из голландского города Утрехта, хороший товарищ. Мы познакомились в Асуане и вместе плыли три дня до Луксора на фалюке под парусом, поездом добрались до города Кус (и по-арабски и на иврите это значит одно и то же — пи@да), а оттуда до Асьюта, где опоздали на автобус и ночевали в студенческом общежитии. Это было в 83-м году, после недавнего убийства Садата, и я спросил одного из студентов, кто ему больше нравится, Садат или Мубарак? Он поднялся из кресла и, стоя, сказал, что ему больше нравится президент Гамаль Абд эль-Насер. Из этого Асьюта автобус-развалюха повёз нас по дороге в пустыню прочь от Нильской долины. В каком-то безымянном месте автобус встал на починку, и пока я бродил меж глиняными домами, девушка позвала меня в дом. А твой отец что скажет? — спросил я. Мой отец умер, — ответила она просто. Я не пошёл, боясь упустить автобус, а то бы, наверное, писал теперь совсем другую книгу. Мы добрались до оазиса Дахла, где за мной в ночлежку пришёл человек и отвёл в полицейский участок. Там меня посадили на стул, а начальник звонил в центр и кричал в трубку: «Тут израильтянин! Один! Уахад исраили!» Заодно попало и водителю автобуса — ты кого привёз! А мне почём знать, кто он? — оправдывался тот. Меня ещё спросили о том, о чём и отпустили. Оттуда мы стали искать транспорт в сердце пустыни. На вопрос — будет ли автобус? — местные отвечали непонятным «мумкин». По-арабски я объяснялся плохо, но такого слова не знал. Оказалось, что это значит «возможно». Или будет или нет. Мумкин. Там мы с Дерекком застряли и, встретив на улице весёлых медсестричек, шли с ними до больницы и попали внутрь. Советские кро-

вати с железными спинками, и на одной из них лежал старик, говоривший по-итальянски. Он вцепился в меня и долго что-то рассказывал, а я кивал и говорил — си. Он ужасно не хотел меня отпускать и просил, чтоб я пришёл ещё завтра. Я отвечал уклончиво — иншалла. Нет, скажи, что придёшь! — просил он. Иншалла, — повторил я, зная, что больше его не увижу. Потом Дерек вернулся обратно к Нильской долине, у него был билет в Бомбей из Каира, и он не мог рисковать, а я остался ждать транспорта в Фарафру. Из ночлежки я ушёл и жил на чьей-то зелёной лужайке с быком и колодцем. Красавец бык ходил по кругу и вращал колесо, которое поднимало кувшины с водой для орошения окрестных канав. Днём я сидел на трассе и всё-таки дождался, меня взяли в кузов грузовика, доверху набитого людьми и вещами. До этого компания мальчишек молча пялилась на меня, пока один не сказал мне громко — осёл! Папа твой осёл, — ответил я по-арабски, и мальчишки были потрясены.

ПРО НАНУ

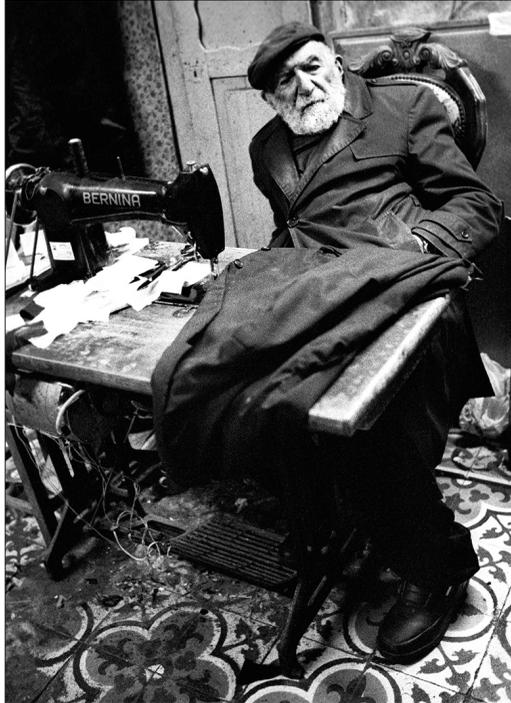
В начале 90-х, когда было пиздец трудно, она с мужем уехала в Америку, оставили детей у бабушки и вкалывали на картонной фабрике, заработали и вернулись с деньгами. И вот она лежала в Тбилиси и плакала днями напролет, оплакивая всё сразу. От такой безысходности Нана взяла и поступила на отделение фотографии, где оказалось, что она талант и фотограф от бога, просто так. На факультете Нана дружила с Дато, через него мы с ней и познакомились, однажды в Эфиопии я подружился с чуваком из Москвы, и у нас на фейсбуке оказался один общий френд — Дато Мехи! Значит, я жил у Дато, и Нана повела меня фотографировать какие-то грузинские ебенья. Чутьё у нее было как у целого агенства Магнум, и своим даром она делилась со всеми, кто того заслуживал. У Наны был муж Каха и дом, и бизнес, но всё висело на жёрдочке над ямой банкротства,

так было в Грузии и не только там. Мы покупали в Тбилиси пакет дешёвых гостинцев и ездили по всяким местам, ну и фотографировали. Нана шла на людскую беду как птица летит на юг — безошибочно. Однажды она обманом пролезла в интернат для дефективных детей, сказав, что она подруга жены кого-то главного, и так всех напугала, что её час держали снаружи, пока они там прибирались и искали простыни. Не пустить её не посмели, смазали детей зелёной и дали им кукол, и самые сильные кадры, что я видел из такого места — это её, Наны Бунтури, фотографии. В следующий мой приезд дом был уже продан, а потом мы потеряли друг друга, а когда нашлись, у неё была ферма с коровами в часе езды от города, куда мы поехали с Никой. Его Нана тоже любила, а про прочих Нана легко могла сказать то, чего они и заслуживали. Среди тушинов я узнал слово «ахвари», вот про таких ахвари у неё было чего сказать. В юности она была спортсменом-пловчихой и осталась по жизни пловцом на длинную дистанцию с правилами, которые всегда нужно узнавать заново. Это была первая половина истории про самую талантливую и не всегда везучую Нану.



* * *

Лет двадцать назад я бродил вечером по Меа Шеарим, это, кто не знает, район ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме, такое государство внутри государства со своими законами и отношениями. Там в помещении ниже тротуара сидел портной и работал. Я зашёл и спросил разрешения его сфотографировать. Он не сказал «нет», что было удачей, обычно там не любят фотографироваться. В помещении было темновато, да и плёнка была не совсем подходящая, но я всё равно поснимал, а потом спросил — как тебя зовут? Тогда мне казалось важным знать имена тех, кого я фотографировал. На что он ответил мне: «Ма еш леха бэшем шели», что в переводе с иврита значит «Что в имени тебе моём», примерно то, что ангел сказал Иакову. В Танахе в оригинале сказано: «Ляма зе тиш'аль лешми», то есть «почему ты спрашиваешь о моём имени». Этот портной, уж коли ему захотелось ответить стихом из Танаха, который он, конечно, знал, мог бы процитировать



как есть. Кстати, одет он был тоже не как ортодоксы, а скорее как персонаж из местечка. Я вернулся туда днём и с нужной плёнкой, чтобы сфотографировать его как надо, я ещё не проявил плёнку и не знал, что у меня и так всё получилось. Я ходил по этой улочке туда-сюда, но не нашёл ни подвала с мастерской, ни самого человека.

НОВЫЙ ГИЛЬГАМЕШ

**Литературно-художественный
альманах**

№6

Главный редактор

А. Г. Гущин

Оригинал-макет

Б. Н. Марковский

Подписано в печать 27.01.2026. Формат 60x84 ^{1/16}

Усл.-печ. л. 25,3. Печать офсетная. Заказ 114



«В каждом из нас есть что-то от Одиссея, когда мы ищем самих себя, надеемся дойти до цели и вновь обрести родину, свой очаг. Но, как в лабиринте, в каждых скитаниях существует риск заблудиться. Если же тебе удастся выйти из лабиринта, добраться до своего очага, тогда ты становишься другим».

Мирча Элиаде



9 781326 121297